

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

57

декабрь 1987-январь 1988



*издание общественного культурного фонда
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством израильского комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 4 ЭД ШУХМИН. Красная звезда (повесть)
47 БОРИС ФАЛЬКОВ. Трувер (главы из романа)
82 ГЕРМАН ГЕССЕ. Путь мудрости (повесть)

ИЗРАИЛЬСКИЙ ОЧЕРК

- 104 ДМИТРИЙ СЛИВНЯК. Новый-новый репатриант

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 109 АЛЕКСАНДР ГОРДОН. Легенды и мифы Ближнего Востока
125 МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ. Национальный вопрос и еврейские националисты
140 ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ. Наш союзник – арабский национализм

СУДЬБЫ ИДЕЙ

- 146 МИХАИЛ ВАРТБУРГ. Плата за сионизм (окончание)

РУССКИЙ ВОПРОС

- 162 МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Ставропольская эпоха русской истории
170 РИЧАРД ПАЙПС. Попытка прогноза (интервью для журнала "22")

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

- 176 ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. Я весь там...

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 183 НЕЛЛИ ГУТИНА. Магия плохой литературы
201 ИЛАНА ГОМЕЛЬ. Супермен в массовой культуре

В МАСТЕРСКОЙ

- 213 МИХАИЛ ЗАБОРОВ. Семейный альбом (к выставке Иосифа Капеляна)

ПО ПОВОДУ...

- 215 ... статей И. Либлера и В. Браиловского в "22", № 56

ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ

- 219 На пленум ЦК (из кругов общества "Память" в Москве)

На последней странице обложки – работа художника Иосифа Капеляна; фотография Григория Винницкого.



Песенка

Совесть, благополучие и достояние —
вот око светлое наше величество.

Братиями ему свою любовь,
за него не страшно и в бою

Лишь его высок и удивительен,
посвяти ему свой крашкый век.
Сможем, и не станем победимы,
но зато умирим как человек.

Б. Окуджавы

Стихотворение, подаренное Булатом Окуджавой журналу "22" в память о встрече с редколлегией. (На снимке — И. Чаплина, Н. Воронель и Р. Нудельман в гостях у Б. Окуджавы.)

Сапожный подмастерье Лейба Страшун взял новую пару, отрезал голенища и продал за два рубля. Сапоги с напуском, голенища длинные мягкие, на совесть сработанные хозяином Вольфом Гоберманом. Но походи выручи настоящую цену, когда время — три часа ночи, а всех покупателей — стукальщик с колодушкой.

Сонный кассир лягнул компостером, и лязг этот показался Лейбе звоном отпираемого замка, — двери сейчас распахнутся. А кассир выбросил билет, но не до города Н., а до узловой станции, удаленной от Н. на расстояние сорока трех копеек.

Протопав указанное расстояние и узнав, таким образом, почем российская верста, Лейба достиг городской окраины и задал вопрос — цель путешествия: где еврейский учительский институт?

— В городе. Прямо. За железным мостом.

И он пошел все прямо и прямо, радуясь ориентиров, столь несомненному.

Мост был высокий, и Лейба крепко вцепился в поручни. Внизу — блестящие, накатан-

Эд. Шухмин

ные, как жиром политые, рельсы. Поезда из Петербурга и Варшавы, из Либавы, из Киева.

На Островоротной улице, у старых городских ворот — весьма обшарпанного сооружения XII века, — Лейба увидел новенькую полицейскую будку. И остановился. И двинулся вперед не раньше, чем из будки выскочил полицейский и помчался на середину мостовой.

Там извозчик под № 88 задерживал все движение, ибо вздумал разворачиваться возле самых ворот, где проезжая часть суживалась до двух саженей.

— Ты что, — кричал полицейский, крепко ухватив извозчичью лошадь, — ты что, восемьдесят восьмой, первый раз замужем?

И Лейба прошмыгнул под арку ворот.

Он читал все вывески подряд, потому что недавно овладел русской грамотой, — “Женщина-врач Е. Гомолицкая”, “Сыркин. Книжная торговля” — и возмущался отсутствием знаков препинания.

В магазине Сыркина — стеклянная витрина. На лестнице, прислоненной к полкам, — легкий сухой человек. В каждой руке — по толстому тому.

Когда Лейба спросил об институте, человек не оборачиваясь спокойно ответил:

— Здесь торгуют русскими книгами.

Лейба не понял и повторил вопрос. Человек вздохнул, отложил книги, легко прыгнул с лестницы и сказал, выделяя слова паузами:

— Здесь торгуют исключительно русскими книгами.

И Лейба пошел дальше, опять-таки прямо, по Большой улице, которая была не длинная и не широкая, а именно Большая, то есть центральная.

По правой ее стороне располагались всякого рода торговые заведения, иногда весьма древние, отчего правая сторона называлась Инбарь — от тех амбаров, что стояли здесь уже в XII веке.

Левая сторона была казенная, и само это слово часто попадалось на вывесках: казенная палата, казенное училище, казначейство.

Так и глядели друг другу в глаза дом архиерея и ресторан Нарушевича, отделение Государственного банка и баня Хржицкого: “Опрятность, чистота, исправная прислуга, вода из источника, общая баня — двадцать копеек, номер — один рубль”.

Потому ли, что каждая из сторон стремилась к самостоятельности, или просто в силу рельефа местности, но только правая сторона Инбарь все время забирала вправо, а левая, казенная, с той же последовательностью уклонялась влево. Мостовая уширилась настолько, что образовалась площадь, которая и разъединила Большую улицу на два рукава. А так как Лейбе велено было идти прямо, то он и не знал куда — прямо ли по Ратушной или прямо по Скоповке.

Он раздумывал довольно долго, словно выбирал не улицу, а путь, связывая с решением этого простого и достаточно мелкого вопроса, если не судьбу свою, то нечто важное и даже роковое. Ничего бы не изменилось, сверни он на Ратушную, в конце которой и находился искомый институт, но он предпочел Скоповку, ибо, на его взгляд, именно она являлась прямым продолжением Большой улицы.

Скоповка, узкая и тесная, была казенной уже с обеих сторон и отличалась скоплением чиновников и просителей. Очень скоро Лейба очутился возле дома, на фасаде которого сияло:

Н-СКИЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГ

II

Дом, в подъезде которого стоит Лейба Страшун, переживал торжественные, одновременно страшные и счастливые минуты.

Высочайшим указом, данным Правительствующему Сенату в шестнадцатый день июня, попечитель Н-ского учебного округа тайный советник Остроумов был уволен со службы, согласно прошению, по болезни, и таковым же указом, данным Правительствующему Сенату в двадцать третий день августа, попечителем округа назначен был доктор чистой математики действительный статский советник Алексеев.

И каждое утро, с целью представиться новому попечителю, являлись на Скоповку чиновники в парадной форме.

Всех этих разряженных господ Лейба назвал про себя, по общему впечатлению, "золотыми". Ибо не знал слова "треуголка", и слова "шпага", и слова "полукафтан". Заказчики носили "пиджак", хозяин — "сюрдут", а отец, Меер Страшун, — "капоту".

Тощий старик — "золотой" — никак не решался войти в подъезд. Он то горбился, то распрямлялся, то снимал перчатки и шевелил

тощими белыми пальцами, будто они затекли, то натягивал перчатку и шарил сзади, у карманных клапанов, ощупывая пуговицы. Одна все время ускользала от него, и с каждым новым напрасным усилием лицо старика приобретало выражение растерянности.

— Мальчик, сколько у меня пуговиц сзади?

Лейба оторвался от созерцания его сапог.

— Четыре.

Старик в последний раз выпрямился, перекрестился и спешно, пока еще храбрый, отправился представляться.

Вышел возбужденно-радостный. По внешнему виду и совокупности иных признаков он умозаключает, что молодой человек жаждет поступить в воспитанники ведомства народного просвещения. Свидетельства при себе?

Но Лейба не слышал ни о каких свидетельствах.

Старик благодушно пояснил: чтобы попасть в число воспитанников ведомства народного просвещения, то есть быть принятым в казенный учительский институт, надобно подать, на простой бумаге, прошение директору одного института с приложением свидетельств — о происхождении и об успехах и одобрительном поведении. Только и всего.

— Я думал... — Лейба запнулся. — Встану около института и буду просить бесплатного урока.

Старик засмеялся и пожелал познакомиться. Услыжав имя, укоризненно заметил:

— Инородец и столь устрашающе прозываешься — Лев да еще Страшун. — Помолчал. — Я дворянин, статский советник, правитель канцелярии, а имя мое — Фома Бельдюгин. — И уже молчал до самой Георгиевской площади. — Вон твой институт. Ступай.

И Лейба побежал к трехэтажному желтому зданию, но на пути обернулся и закричал:

— А мой хозяин Вольф Гоберман может сшить сапоги лучше ваших! — И припустился.

III

Днем в сквере на Георгиевской площади всегда народ: реалисты, ксендзы из Духовной семинарии, студенты учительского института, гимназистки. Сверх того, часовня посреди сквера посещается солдатами, старухами, петербургским и местным началь-

ством. Часовня историческая: мраморные плиты, золотом — имена воинов, почивших при усмирении последнего мятежа.

Ночью в сквере ни души. Только постовой третьего участка, бляха № 59, да инвалид — часовенный служитель, такой старый, что едва не угодил в Петербург, пред царские очи, как ветеран Бородинского сражения.

Ночь. Лейба Страшун спит на скамейке, а бляха № 59 тормозит его.

— Опять гости к тебе? — спрашивает инвалид.

— Идут, — подтверждает пятьдесят девятый. — Другой сто верст прошлепает, босой... в институт!.. А денек покрутится — и пропал. Тогда следующий опять идет, как по расписанию.

Инвалид ковыляет к скамейке, неся запах ладана и махорки.

— Я по рекрутскому набору взятый, все их местечки прошел. Придем в местечко, сразу всех — в храм. И чиновник им подписные листы дает. Один лист — желаем сдавать своих детей в казенное училище, другой — не желаем сдавать.

Инвалид на минуту смолкает, закуривая.

— Хорошо, зимой не ходят, — говорит пятьдесят девятый, — замерзнет — отвечай за него. А мне на тот год прибавка следует за беспорочную службу.

Пятьдесят девятый тоже закуривает, а инвалид продолжает:

— И такой шум подымется: "Знать не знаем, школес не желаем!" Который в уголок забьется, который — тягу... А у дверей уж стоят! — Инвалид победно топает. — Ну, делать нечего. Выберут самых своих бедняков и велют им детей сдать. А те тоже не дураки. Раз, говорят, мы работника лишаемся, пускай нам общество предоставит корову.

Инвалид смеется, а пятьдесят девятый улыбается.

— Вставай! — трясет Лейбу. — Ночлежка на Трокской.

— И ведь купили! Представили! — смеется инвалид. — Вот как в старину было.

— Дяденьки, — говорит Лейба, — у вас хлеба нету?

Глава вторая

1

Когда Фома Бельдюгин был журналистом-архивариусом (существовала такая должность в канцелярии попечителя), то ду-

мал: "Это временно. Вот только обстоятельства поправятся..." И мечтал об ученой карьере.

Сделался помощником столоначальника. "За прошлый год — исходящих 36 тысяч, а переписчиков — одиннадцать душ. Вот дослужусь до седьмого класса... сам себе хозяин... вот тогда..."

Усевшись в кресло столоначальника, Бельдюгин обнаружил, что человек он немолодой, жизнь меняя поздно. И взял в оборот сына. Он создаст Федору благоприятные обстоятельства, разбудит любовь... Федя начнет там, где я кончил. Федя пойдет дальше...

Но сын увлекся науками прикладными и, с точки зрения отца, неосновательными, — не желал сворачивать на тропинку, которую отец протоптал для него.

И Фома Бельдюгин, уже статский советник, уже правитель канцелярии, строил все новые и новые планы, как бы переменить сына.

Он привел в свой дом чужого долгоносого паренька, который изо дня в день, голодный и битый, стоял возле учительского института и хватал за локти мимо шедших студентов. Пареньку он сказал, что подготовит его в институт, а себе — что таким путем завоюет, наконец, сына.

Именно этот чужой паренек своим наивным картавым усердием разбередит Федора, и станет ему стыдно, как уступил в чужие руки и Пушкина, и Тургенева...

Нет, он не останется равнодушным! Не глухой же он!

II

Но день протек; и нет ответа.
Другой настал: все нет, как нет.
Бледна как тень, с утра одета,
Татьяна ждет...

— Лева! — прерывает Бельдюгин. — Сколько раз было говорено: всякую порядочную книгу должно читать медленно. Особенно Пушкина. Особенно "Евгения Онегина".

За дверью тонко звякает стекло. Слышно, как проскакивает пламя в горелке.

— Позавчера, — повышает голос Бельдюгин, — мы совершили прогулку на Железную Хатку: мы с тобой, Лева, — пешком, Федор — на велосипеде. Он объехал весь сад в пять раз быстрее, чем

мы обошли. Но видел в десять раз меньше. — Молчание, как тишина перед грозой. Ну, гром и молния! — Пушкин не терпит велосипеда! Пройдемся пешком по Пушкину — какие чудесные цветы у дороги! “Бледна как тень, с утра одета...” Неужели “с утра одета” ничего не говорит тебе?

Лева Страшун молчит.

— Неужели “с утра одета” ничего не говорит тебе?! — в самую дверь кричит Фома Бельдюгин.

И слышит спокойный голос:

— Кажется, ты заново учишь его читать? По-моему, для этого существуют буквари.

Бельдюгин закладывает руки за спину.

— Греки, мой сын, учились по Гомеру, а ты — по букварю. И вот мы видим, что из этого получилось. — И толкает дверь.

Комната превращена в лабораторию. Графитные тигли. Бюретки. Пол, растравленный щелочью.

— Он химик, он ботаник, князь Федор, мой племянник!

Сын ставит опыт по перегонке: наблюдает, что делается в колбе Вюрца, и проверяет себя по справочнику.

Фома Бельдюгин берет у него книгу и листает страницы кончиками пальцев.

— При сгущении раствора он становится пересыщенным и иногда может долгое время оставаться в таком виде, особенно если... — Брезгливо захлопывает книгу. — Даже расписаться не умеешь!

Он попрекает сына, что имя свое тот пишет через ферт. А должно через фиту! Ибо “Федор” греческого происхождения. Как Фома, Фирс, Федот... И поелику грамматика позволяет двойственное написание, Фома Бельдюгин нападает на грамматику:

— Всякий царапает, как в голову взбрдет! Сегодня — “Федора” через ферт, завтра — “Бога” со строчной буквы!.. Государственная ошибка! Роковая ошибка!

Федор Бельдюгин смеется.

III

А тот, другой?

Лейба Страшун, ныне названный Левой, а впоследствии Львом, медленно читает Пушкина. Он и без того запинается, а тут еще новая напасть: Татьяна “с утра одета”. Значит, раньше она не одевалась по утрам, так, что ли? Поздно спала?

Фома Бельдюгин вспоминает пензенскую свою бабу — триста душ крепостных... Но кого узнает Лева Страшун?

И страх перед Бельдюгиным подымает его ночью и склоняет над столом тем ниже, чем беднее огонь коптилки. Пальцы листают учебник.. Русская деревня прошлого века. Поместное дворянство и аристократия. Прически, причуды, привычки...

Ему страшно. Слова грозят тайным, непознанным смыслом. Строчка из хрестоматии, самая обыкновенная:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна, —

а он проверяет ее, слово за словом, по толковому словарю, даже "сквозь" проверяет, даже пятнадцать употреблений предлога "на", — ни одного примера не пропустит...

А утром — туман. Не из Пушкина. Настоящий, на улице. И Лева Страшун видит: он волнистый. Пушкин правильно написал — волнистый!

А ночью — луна. Именно та луна, что бывает раз в месяц, когда евреи встречают ее молитвой. Они тянутся к ней руками, словно хотят украсть, и молятся:

— Подобно тому, как я прыгаю перед тобой и не достигаю тебя, так пусть враги мои не достигнут меня в своем стремлении причинить мне зло.

И, запрокинув голову, Лева подскакивает вместе с седобородыми старцами.

— Она пробирается! — кричит он по-русски. — Пробирается! Пробирается!

Глава третья

I

Первоначально его зачислили кандидатом в воспитанники. Никаких официальных прав или преимуществ это звание не давало, однако с его помощью он заполучил рублевые уроки на Рудницкой, Торговой, Квасной улицах, где сочетание "кандидат в воспитанники" внушало даже больший трепет, нежели голое "воспитанник".

Ибо "кандидат", слово звучное и яркое, как медная труба, украшало убогие домишки, подобно свежеекрашенным наличникам или подновленному крыльцу.

Затем наступил день, когда его вызвали в канцелярию, отобрали подписку, что восемь лет по окончании института прослужит он там, куда пошлет начальство, и Лейба, Мееров сын, Страшун стал полноправным студентом с казенной стипендией и казенной квартирой.

О таком воспитаннике начальство мечтало с основания института, еще с прошлого века, когда институт был раввинским училищем. Старательный. Усидчивый. Исполнительный. Но главное достоинство — не лезет в политику. Да-да, Лева Страшун — единственный серьезный человек из всей этой оравы горлопанов, которых мы прочим в наставники нашему пятимиллионному еврейству.

Мы долбим с ними русский язык и славянское чтение, арифметику, алгебру, историю, географию, учим рисовать и чертить, объясняем библейскую историю и закон веры, а они ерзают на своих скамейках и ждут не дождутся звонка.

А у себя в интернате? Полагаете, упражняются в чистописании? Составляют планы уроков, которые каждый из них дает для практики в двухклассном училище при институте?

Они обсуждают судьбы России. Им, видите ли, дороги судьбы России. "Серпы"* делают бомбы, потому что Россию спасет террор. Члены Союза равноправия и двух слов не скажут без того, что еще среди участников декабристского восстания было двое евреев. Наша борьба в рядах российского освободительного движения... Эсдеки распространяют отчет о третьем съезде своей партии с предисловием некоего Н. Ленина "К еврейским рабочим".

Но Лева Страшун... О, Лева Страшун!.. Самое серьезное, самое пристальное внимание должно на него обратить. Воспитать. Направить. Он интересуется русской литературой, Пушкиным. Прекрасно. А известно ли ему, какая надпись вырезана на любимом перстне Александра Сергеевича? О, эти слова многое скажут сердцу: "Симха, сын почтенного рабби Иосифа-старца, да будет его память благословенна".

Любопытно, не правда ли? Пушкин — и надпись по-древнееврейски. Вы чувствуете, что при всей вашей любви к нашему великому поэту теперь любите его иначе, уже как человека близкого. А не возьметесь ли выяснить, откуда у Пушкина сей перстень?

* "СЕРП" — социалистическая еврейская рабочая партия (то же, что эсеры).

Ваши товарищи отвратили взор от истинной образованности. Проза политической экономики влечет их сильнее, нежели поэзия религии. Знамение времени!.. Пушкин тоже был передовой человек, однако не кто-нибудь, а именно он прозорливо, пророчески писал:

Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные... Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный.

Ваш долг (если бы вы были христианин, я бы сказал: ваш христианский долг) напомнить товарищам вещие слова великого поэта.

II

Надворный советник Гец, "ученый еврей" при генерал-губернаторе, приглашал Леву в гости. Лично директор института Емелиан Елисеевич Правосудович хлопотал о допущении в Н-ский архив. Наконец, при содействии попечителя учебного округа (самого попечителя!.. слыханное ли дело?) местные "Педагогические записки" опубликовали первую работу Л. Страшуна.

Это было вполне ученическое сочинение. С левой стороны листа — столбиком — отрывки из статьи Батюшкова "Прогулка в Академию Художеств", справа — вступление к "Медному всаднику".

...что было на этом месте до построения Петербурга? Сосновая роща, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом; ближе к берегу — лачуга рыбака. Сюда с трудом пробирался какой-нибудь длинновласый финн. Все было безмолвно.

И воображение мое представило мне Петра, который первый раз обзревал берега дикой Невы. Еще гремели шведские пушки... Здесь будет город, сказал он, чудо света.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн

По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен.

В конце, после многочисленных сопоставлений, следовал вывод, по форме весьма неожиданный. Пользуясь терминологией из учебника химии, Л. Страшун уподоблял Батюшкова пересыщенному раствору, который находится накануне кристаллизации. Однако вследствие ряда причин, прежде всего чистоты окружающего воздуха, кристаллизация не наступает. И далее, отбросив всякие опасения в непонятности, Л. Страшун прямо цитировал учебник.

Прикосновение ничтожных следов вещества, которое может выпасть из раствора, вызывает энергичный процесс такого выпадения в виде кристаллов.

Это — Пушкин.

Шел между тем год 1914-й. Германия объявила войну России.

Глава четвертая

I

В городе только и разговоров — Кира Башилова. Вы ее знали? А я видел. Скромная такая девчурка, моя Зоя с ней училась... И вот — на всю Россию! Кавалерист-девица!.. Такого общественного подъема мы сто лет не переживали. Девушка, институтка, бросает родителей, родной город, выдает себя за какого-то Николая Попова, поступает в действующую армию рядовым. Год — с конными разведчиками! За ночную схватку представлена к Георгию!.. Это что-то легендарное, историческое! Россия подымается во весь рост!

Пятого августа оставлена Варшава.

Двадцатого, после недельного сопротивления, сдался гарнизон Новогеоргиевска — 85 тысяч офицеров и нижних чинов.

Двадцать второго генерал Григорьев бежал из Ковно.

Двадцать восьмого пал Брест-Литовск.

Ставка из Барановичей переехала в Могилев-на-Днепре. Его императорское величество Николай II лично возглавил армию. В городе Н. объявили эвакуацию.

II

Укладываясь, Фома Бельдюгин честит предателей, пораженцев и прочих врагов престола-отечества, к числу коих, по причине вечного своего недовольства, принадлежат и евреи. Что, сигнала немцам, они поджигают собственные дома — это, положим, сомнительно, но вот департамент неокладных сборов разослал циркуляр, где документально, фактически...

— Опилкок маловато, — бормочет Федор, упаковывая стекло. — Значит, вы с департаментом нашли корень зла?

— А по-твоему, кто виноват? — вопрошает Бельдюгин. — Ты? Я? Кира Башилова?

— У нас два дня на сборы, а не на споры, — рассудительно напоминает Федор. — Надо еще книги отобрать.

— Какие книги?

Фома Бельдюгин полагал целиком вывезти библиотеку. И в мыслях не держал что-то оставить.

Но практический Федор был иного, практического мнения. Зачем таскать за собой полторы тысячи томов? Ну, были бы хоть книги редкие, которые больших денег стоят, а то Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев... И издания-то самые заурядные, ничего антикварного. В любом городе бери — не хочу. Пять раз продадим, пять раз купим. Вот он, Федор, возьмет всего-то десяток справочников, да и то немецких. Им сейчас, из-за войны, цены нет, днем согнем не сыщешь. А Пушкин, Лермонтов...

— Молчать! — кричит Фома Бельдюгин. — Оставить Пушкина немцам!.. Молчать, предатель!

И призывает Леву Страшуна.

И Лева идет на улицу Субочь, которая "сбоку" вползает в Инбарь — местный Невский проспект. По случаю эвакуации много забитых витрин, и все же Инбарь яркий, нарядный, веселый. Гуляет с офицерами Кира Башилова, и, глядя на нее, Лева думает: "Бросить все, уйти добровольцем в армию... или украсть много-много денег!"

У него уже усики. И он читает Шекспира. Нет, не "Ромео и

Джюльетту". Ибо по рождению принадлежит к тому разряду людей, для которых первая пьеса Шекспира — "Венецианский купец". А Ромео, Гамлет, Отелло — это все после... Вот, сам того не сознавая, идет он за Кирой Башиловой, но не пылкий монолог Ромео у него на уме. "Разве еврей — не человек?" — думает он, как Шейлок, венецианский купец.

Бельдюгин выдвигает нижний ящик стола.

— Здесь, Лева, некоторые мысли, планы... Сперва для себя писал, после для него. — Старик кивает на колбы-пробирки. — А он глухой. — И шепотом: — Не слышит Пушкина.

Это была их последняя встреча.

Управление округа обосновалось во Пскове, а учительский институт — на тысячу верст южнее.

...И тысяча гремящих военных верст — их едва хватило на то, чтобы добраться до пятого акта "Венецианского купца". И выйдя из поезда в городе НН, где его товарищи, по тогдашней моде, восхищались мостом через Днепр, а не самим Днепром и глазели на трамвай, которого прежде ни разу не видели, Лева Страшун шептал, беззвучно шевеля губами:

Тот, у кого нет музыки в душе,
Способен на грабеж, измену, хитрость,
Темны, как ночь, души его движенья
И чувства все угрюмы...
Не верь такому.

Глава пятая

I

В городе НН., на углу Проспекта и Короткой улицы, установлен был памятник Пушкину — чугунный бюст работы академика Гинцбурга.

И всякий раз проходя мимо, Лев Страшун испытывал чувство ревности. Он ревновал, как ревнуют женщину, — по какому-то праву Гинцбург посягнул на Пушкина! Он завидовал (что опять-таки ревность), почему Гинцбург, а не он автор бюста. Ревность завладевала им. Она была сродни рвению, которое тем сильнее, чем чаще приходит на ум простая мысль: если один человек по фамилии Гинцбург изваял Пушкина, значит и другой человек по фамилии Страшун... И эта третья равенство-рвение гнала его на улицу Упорную в библиотеку учителей-евреев.

Возможно, учредители библиотеки и не без умысла избрали ее местопребыванием именно Упорную улицу, однако Лева Страшун никакого символа здесь не видел, ибо не умел еще смотреть на себя со стороны.

Институт давно прикрыли. В 1916 году временно — по мало-численности студентов, а в 1917-м окончательно — по случаю революции. Жил Лева тем, что замещал в местной гимназии Эльяс-Абрама Шморгонера — преподавателя закона веры.

Однажды старик пришел к нему на урок. Уши его заросли волосами, которые затыкали отверстия наглухо. Старик и был глуховат. Желтая, мочалкой, борода набивалась в рот, и звуки, казалось, вряд ли сквозь нее продерутся.

Он сидел на передней парте, терзая левое свое ухо, ибо никак не мог поверить, что опять слышит. Ухо словно продули, и теперь по ничтожному, ниточному желобочку текла речь, произносимая Страшунном:

— ...переводят "руах элохим", как "дух Божий". Но "руах" — ветер, а не дух. А "Божий" выражает лишь удивление перед величиной, мощью. В писании высочайшие горы — божьи горы, огромные кедры — божьи кедры. Значит, сынами божьими древние называли не праведников и святых, а просто людей высоких, могучих...

Волосы зашевелились в ушах Шморгонера. Он вдруг уразумел, что же здесь происходит: всевышний испытывает его. Да! Он сотворил чудо, возвратив ему слух, дабы его, Эльяс-Абрама, душа возмущилась богопротивными речами и дабы защитил он юношество от заразы неверия.

Старик вскочил, втянул воздух, проглотил половину желтой своей бороды, потом выплюнул ее и закричал, путая грозные раскаты древнееврейского и скороговорку жаргона. Борода развевалась, а из ушей торчали волосы, как пучки редиски.

— Перед священными книгами Торы с 613-ю предписаниям мы проклинаем тебя проклятием, которым Иисус Навин проклял Иерихон, которое Елисей изрек над строками, которым Глезий... Вероотступник, гниль, падаль!.. Лучше я умру на учительской кафедре, но не отдам тебе юные души на поругание... Толковать священное писание, как какой-нибудь роман... боговдохновенную книгу!.. Вон, голота!

И Лева Страшун покинул гимназию, о чем нимало не сожалел,

ибо накануне сдал экстерном последний экзамен на аттестат зрелости. А с аттестатом — ого-го! Другая песня!

Он отправил документы в Харьков, в университет, и получил сразу два ответа: от красных и от белых, которые последовательно занимали город. Красные отказывали ему в приеме потому, что, по документам, он служитель культа — законоучитель; белые — потому что еврей.

Он устроился на службу, которая солидно именовалась “Бюро по розыску грузов, пропавших в пути”. Его приняли для вывески — очень доброе лицо. Главный ведь доход — не маклаки, у которых пять вагонов сахара угнали... а вот спасалась дамочка от бандитов, а сын-то и потерялся. Очень нужен человек с добрым лицом! А тем более, диплом у него. Раз гимназию преодолел, и древние языки, и новые, — язык, значит, подвешен.

И в дальнейшем Лева Страшун избегал работодателей, интересовавшихся дипломом. Так из помощника нотариуса превратился он в корректора, из корректора — в фотографа, из фотографа — в грузчика...

Тут уж никто диплома не спрашивал.

II

С октября 1917 года по январь 1920-го власть в городе менялась ровным счетом двадцать пять раз, то есть каждый месяц.

Эх, если бы в этом деле был какой-нибудь порядок! Ну, случилось так, что город один, а властей много. Ну, сговоритесь вы меж собой чинно-благородно и меняйтесь, пожалуйста, на доброе здоровье, каждое первое число.

Да где там! То большевики четыре месяца кряду сидят, и ты уж приноровился, и уж поверил, что положение их твердое, до мировой революции рукой подать, а красные полки спешат на помощь Красной Венгрии... А утром проснулся — не большевики в городе голова, а какой-то Григорьев. И уж атаман его Максюта в Потемкинском парке скрипача-мадьяра повесил.

Ну, ладно, мы — не мадьяре. Мы — коренное население. И под Григорьевым проживем... Только где уже тот Григорьев!

Лева Страшун стоит за спиной чугунного Пушкина.

С улицы Короткой наступают большевики, а с Проспекта — махновцы. И те, и другие — равно белесые, курносые, голубо-

глазые. На Проспекте орут: “Ура, Махно!” – а на Короткой просто: “Ура!” И стреляют друг в друга.

Пули звонко отскакивают от постамента.

Новая власть празднует победу сообразно своим о торжестве понятиям.

Вступив в город, Петлюра пустил трамвай, от которого жители уже успели отвыкнуть. Они высыпали на улицы подивиться этакому чуду.

Была весна. На Проспекте цвела акация и американский клен. И через весь город, от вокзала до кладбища, тяжело, неслаженно громыхая, двигались грузовые платформы.

Не уголь везли и не хлеб. Мертвые и полумертвые, в кровавых одеждах, разметались по платформе большевики – защитники города. И салютом были им искры, падавшие с проводов.

За кладбищем гайдамаки вырыли яму и свалили всех разом, “потому у большевиков все общее”.

Овладев городом, красные похоронили своих товарищей, как они того достойны, – с музыкой, и речами, и воинскими почестями. Они соорудили на могилах временные надгробия, для чего местами оголили Проспект, частично вырубив клен и акацию.

Две офицерские дивизии, снятые Деникиным из-под Орла, 28 июня, предводительствуемые генералом Шкуро, вошли в город.

И люди, преимущественно интеллигентные, которые при большевиках с возмущением отбывали трудовую повинность, вполне добровольно взяли кирки-лопаты и крушили возведенные большевиками надгробия.

Руководил работами прапорщик Федор Бельдюгин.

Некий гражданин, в прошлом толстый, – костюм висит и пузырится – жаловался Федору на большевиков. Обложили контрибуцией. Уплотнили. Торговли никакой. А это варварство с зелеными насаждениями!.. Еще немного – и Совет издаст указ: для полного равноправия все должны ходить на четвереньках.

– Один пишет ферт, другой фиту... – тихо сказал Федор.

– Что-что? – не расслышал бывший толстяк.

– Я говорю, колебания у каждого свои, но когда частота биений совпадает... – Федор вынул из рук толстяка лопату и ударил по надгробию, отколов несколько белых, с красными прожилками щепок. – Пока мы с вами занимались наукой, искус-

ством... колебались!.. они все это готовили. И кончилось тем, что мой отец умер от голода... Больше всего на свете ненавижу химию.

Он снял фуражку и отвернулся. У него были уже седые волосы.

III

А на другой день шли по Первозвановской улице женщины и кошелками разбивали стекла в нижних этажах. Пели: "Спаси, Господи, люди Твоя и благосостояние Твое!"

Пьяный стоял на стремянке и, раскачиваясь, колотил молотком по вывеске: "Гольман, Боярский. Готовое платье". И тоже пел.

С верхних этажей бросали вещи — без разбора, что под рукой. Тяжелые скатки ковров стучались о мостовую и подпрыгивали, испуская дух. Брюки падали, растопырив штанины, и корчились, как бумажные чертики. Казаки ловили их на штыки и пики и швыряли в толпу.

А легкие кружева и ночные рубашки плавно, как облака, спускались с этажа на этаж, медленно оседая. Задрав головы, люди ходили по мостовой, слепо вытянув вперед шарящие руки. Потом кидались к месту падения и в давке раздергивали кружева на клочки.

Патруль стоял только у одного магазина — "Израиль Блох. Золотые и серебряные сервизы".

Население Первозвановской и прилегающих улиц побежало за Днепр, но катерок-перевоз догнали на лодках, остановили посередине реки — и ночью в Потемкинском парке Лева Страшун артельно с другими грузчиками занимался особого рода работой.

Ночь была лунная. Они ходили, высоко засучив штанины, по волнистому теплomu песку дна и вылавливали то, что искали.

В парке играла музыка. Там гастролировал (как оповещала афиша) единственный на всю Россию вокально-балетный ансамбль в составе десяти черкесов, под управлением артиста Варшавских правительственных театров господина Денисова.

Плеск воды, пляска черкесов...

Лева и его товарищи механически и довольно-таки равнодушно делали свое дело, радуясь, что ночь теплая и вода теплая, и прислушиваясь к черкесским песням. Когда особенно гортанное, дикое слово настигало их, они старались повторить его и смеялись своему произношению. А чтоб было еще смешнее, подзуживали

вали один другого: а ну-ка, ты попробуй!.. А между тем сноровисто и спокойно исполняли свою работу, вытаскивая то, что искали.

— Стой! Что за люди?

Они как раз тащили свою ношу. От неожиданности выронили ее, и раздался сильный всплеск.

— Стой! Стрелять буду!

Патрульные решили — по всплеску, — что они убегают, но они даже из воды не вышли.

Командир патруля включил фонарик, и так как держал его стеклом вниз, то сразу осветил лежащих на берегу людей. Они лежали стройной шеренгой (любое офицерское сердце возликовало бы, как подровнялись!), один только, последний, нарушал порядок, плюхнувшись затылком в воду, и вода заливала конец его желтой, мочалкой, бороды, трепала ее туда-обратно, а из ушей торчали какие-то водоросли... нет, волосы.

— Те, с катера, — пояснил солдат.

Фонарик взметнулся и побежал по другим лицам, и командиру патруля почудилось, что они такие же, как и у тех, лежащих (только эти стоят, и не шеренгой, а вразброд), — такие же точно зеленые, мертвенные лица... Рыская фонариком, он уперся вдруг в очень знакомое лицо.

Лева Страшун стоял над телом старика Шморгонера. Со стороны казалось, он очень горюет: наверное, старик этот — близкий его родственник, может быть даже, отец. Так казалось потому, что он думал о своем отце. Не лежит ли он, как Шморгонер? А мать? А сестра Слава?

И в ином свете представилась ему собственная жизнь. Прежде он полагал, что идет прямой, восходящей дорогой, а теперь возник перед ним путь действительный — от сапожного подмастерья до грузчика.

Вот чего он добился. А еще мечтает об университете... Несбыточным, фантастически далеким увидел он университет.

И глядя на горящего Страшуна, командир патруля прапорщик Федор Бельдюгин думал о своем отце.

Милое довоенное прошлое было для него за стеной, куда он ни разу не заглядывал. Он словно родился два года назад, когда попрощался с отцом и уехал в деревню — мешочником.

Мужики не брали чиновных мундиров и студенческих тужурок, и он принужден был распродавать лабораторное свое стекло, употребляемое ими вместо стаканов. Они по-хозяйски любопыт-

ствовали, к чему вся эта посуда, и он показал им несколько простейших опытов. Тогда его накормили и щедро наполнили мешок.

Соседняя деревня прислала за ним делегатов, и, содрогаясь от брезгливости, он читал их мандат... А в той деревне его тоже накормили и тоже наполнили мешок. И снабдили мандатом, дабы заградительный отряд пропустил его.

Фома Бельдюгин бежал по улицам, стремясь украсть для обогрева доску забора и зычно, на весь Псков, рассуждая перед конкурентами-мальчишками, что, уничтожив понятие "подзаборник", революция ввела новое — просто "заборник"; он кланчил объедки по красноармейским столовым, заворачивая их в большой, стародавний, с вензелями платок; тем же "заборникам" на смех носил виц-мундир с четырьмя пуговицами у карманных клапанов, всерьез уверяя, что стоячий воротник предохраняет от насекомых — переносчиков тифа.

И Федор Бельдюгин сидел на своих запасах, не смея оставить отца, и ждал его смерти. И топил железную печку Пушкиным и Лермонтовым... А когда, наконец, дождался и шел за гробом, провожали его мальчишки-"заборники". И никто не вспомнил, что совершается погребение статского советника, почти генерала, который всю жизнь отдал канцелярии и просвещению народному...

— Кого хоронят?

— Так, старика одного... дурачка городского.

Федор Бельдюгин плачет.

IV

Он раздобыл справку, что Страшун Л. М. служит братом милосердия в санитарном отряде при Добровольческой армии, и документы были вновь отосланы по назначению.

Но Харьков заняли красные. И город НН.тоже.

Некий товарищ Серебряков, новая власть, беседует слевой. Он говорит громко (так докладывают о победах), что в губернии 40 процентов населения неграмотно, что государство задолжало учителям миллиард и триста миллионов, что школы используются посторонним элементом — в классах ночуют банды.

— Короче, товарищ Страшун, поедешь учителем в Губихин-

ские Хутора... И вот что: на станции непременно дождись милиционера.

Еще он говорит, что по распоряжению наробраза, в связи с топливным кризисом, разрешается, коль скоро возникнет такая необходимость, переносить летние каникулы на зиму, а летом проводить занятия.

И вдруг, ни с того ни с сего, обнимает Леву.

И вот он в Губихинских Хуторах — столице волости с населением 1336 душ. Раз в году — ярмарка.

Походным порядком идет на польский фронт Первая Конная. Уже забылся и истлел день, когда проскакал мимо школы головной всадник, а она все идет, тащит за собой пушки, обозы. Несутся по степным дорогам тачанки, и, не поспевая, пыхтит следом автобронепоезд. На железной дороге перекликаются бронепоезда, приданные каждой из четырех дивизий. В селах оборудуют аэродромы, потому что Первую Конную сопровождает и авиация.

И вся эта сила идет на Федора Бельдюгина.

— В муку смелют, — говорят Губихинские Хутора.

И Л. М. Страшун навсегда прощается с Федором. Или расщепит его казачья шашка. Или прошьет очередь с тачанки. Или раздавит броневый автомобиль. Или разорвет на куски снаряд бронепоезда. Или накроет бомба, брошенная аэропланом... Безвозвратно погиб Федор Бельдюгин.

Под окном, гремя оружием и подковами, идет Первая Конная. Дашь Варшаву!

Глава шестая

I

Когда красные войска, смяв собственные обозы, отступали от Варшавы, а Львовское кольцо было прорвано, к Мееру Страшуну пришел незнакомый человек.

Меер жил под горой, держал лавку, где торговал ржавым железом, — ему нравилось, как оно гремит, — и пускал на ночь постояльцев. Но в нынешние времена это было небезопасно: каждый стук в дверь мог оказаться последним.

— Кто там? — спросил Меер.

— Чужие.

Что чужие, он определил на слух, — знал, как стучат свои.

— Открой, — сказала Цыпа. — Может, то от Лейбы...

Человек был костлявый, высокий (шапка еще больше высила его), в шинели просторной и длинной, засученные обшлага которой обнажали лоснящуюся подкладку. У него ничего не было. Никаких вещей. Только деревянный футляр внушительных размеров. Он сел за стол и начал его расстегивать.

Откроется футляр, а там — бриллианты. Спрячьте меня, скажет человек, все это ваше... А потом женится на Славе.

Жадные глаза подгоняли солдата. Он рванул футляр, застежка отскочила — и Меер увидел совсем не бриллианты, а нечто очень для себя неожиданное: стекло, а под стеклом — картина... генеалогическое дерево нарисовано!

— Больше у пана ничего нет? — спросил по-русски, что выражало крайнюю степень ехидства и негодования.

— И откуда у одного человека столько родственников... — сказал солдат.

И Цыпа подумала тогда, каким нужно быть одиноким, чтобы из всех странствий по фронтам и войнам принести футляр с чужими родственниками, снять где-нибудь в польском замке и таскать за собой, как самое дорогое... Нужно быть сиротой на этом свете.

— Ты голодный, сынок, — сказала Цыпа. — Хочешь гомулков?

— Да, мама.

Он снял высокую шапку со звездой (их еще не называли буденновками), и голова его без шапки была совсем маленькая — детская наголо стриженная головка.

— А такой человек, Лейба Страшун, не встречался тебе?

— Нет, не встречался.

Он ел гомулки — творог, превращенный в камень, — расстегивал крючки на шинели. Потом скинул шинель, и Слава, дочь Меера и Цыпы, — белокурая, восемнадцати лет, — оттащила шинель на вешалку. Туда же, на вешалку, отправилась краснозвездная шапка. Футляр с графской родословной был подарен Мееру.

Солдата звали Исая Тарло.

Вскоре фамилию эту приняла Слава.

Будущий муж не сразу глянулся ей: какой-то весь желтый, худющий... Она вышла за него, когда у Исая отросли волосы.

Рано утром ее послали за водой, и она увидела: на дворе стоит мужчина в синем галифе и растирается снегом. И кожа нежно-розовая, хотя и твердая. И кудрявые волосы. И сильные руки с очень большими ладонями, которые загребают снег и кидают его на спину.

Слава стояла и смотрела. Мужчина обернулся, но она не узнала его. А он подошел, взял ведра и, как был, полуголый, в казачьем с красным кантом галифе, принес из колодца воду.

И не зная почему, Слава шла за ним в двух шагах. До колодца и от колодца... Спина. Жилы, набрякшие под тяжестью ведер... Очень жарко.

II

Исай поступил работать в кино. Перед каждым сеансом выходил на маленькую эстраду. Сапоги, галифе, гимнастерка, перепоясанная широким солдатским ремнем, — он стоял, широко раздвинув ноги, и пел:

Митька, слесарь на заводе,
Полюбил глаза одни...

Гимнастерка царская, с воротником стоймя. Летом подворачивал воротник, выставляя напоказ розовый треугольник груди. Зимой ходил в шинели, обхватив горло шарфом.

Буденновка с красной звездой стала тесна ему. Изредка старик Меер натягивал ее, проваливался по брови и выпячивал руки, будто стрелял из ружья.

— Заряжай! — командовал Тарло. — По атакующей цепи, три, в пояс, часто — огонь!

Слава родила дочь.

Исай навещал жену в роддоме, и соседки по палате завидовали: какой геройский мужчина, какой видный!.. А волосы! Чудо, а не волосы!

Муж стоял под окном. Слава зябко куталась в больничный халатик, стеснялась сама себя: и кожа сухая, и губы побледнели... А он все время на людях. Певец. Артист... И разве мало красивых веселых женщин?

— Я слыхала: если петь — выпадают волосы. Хорошо весной — под машинку...

Муж успокоил ее. Он больше не поет. Он заведует буфетом.

— Почему? — спросила Слава.

— Семья, — сказал муж.

Он любил Славу не потому, что она хорошенькая, — вон сколько красавиц! — а потому, что она его жена. И родила ему дочь.

Пройдет не так много времени — дочь сама станет матерью. У нее будут дети — его, Тарло, внуки. У детей — свои дети. Сами собой появятся дядья, свояки, золовки, шурины, невестки... И когда все они, его потомки, захотят оглянуться назад (они — ветви дерева, растущие из ствола, как ствол — из корня), они увидят, что корень их — это он, сирота Исай Тарло.

И поскольку он чувствовал себя корнем, то старался поглубже уйти в землю — укрепиться, укорениться.

Он ходил в новом костюме, как подобает директору лучшего в городе ресторана. Золотые часы швейцарского производства. Мягкая дорогая шляпа. Сюда бы габардиновый плащ, стальной, или лучше, бежевый... Но Тарло приобрел в закрытом распределителе шумное кожаное пальто, по-военному затягивался ремнем и бодро, с портфелем, шагал по городу, отбивая, как в сапогах, каблук модных ботинок.

Старая одежда как-то незаметно растворилась — поизносилась, поистрепалась. Шинель, обшитая черным ситцем, заменяла половик, и Тарло вытирал об нее ноги. Из гимнастерки нарезали суконку, чтоб было чем чистить модные ботинки. А галифе, изрядно укороченное, перешло к Мееру, и, гуляя с внучкой, он щеголял воинственным этим нарядом, дабы прохожие принимали его за красного партизана.

Когда старик заболел, Тарло срочно созвал докторов. Приглашал только знаменитых и чтоб брали побольше. Пусть все видят, какие суммы выплачивает он единовременно!

Меер лежал на широкой кровати, пружины которой даже не прогибались под ним. Зато как пели они и трещали, если какая-нибудь знаменитость присаживалась на краешке и холодными, красными с мороза пальцами ощупывала бледное Меерово тело. У изголовья стояла Цыпа, покорно и быстро исполняя приказы:

— Переверните на спину! На бок! Опустите! Держите!

Самым дорогим врачом оказалась профессор-женщина. Перед ее приходом Меер попросил:

— Цыпа, галифе... буду в галифе с доктором.

Она осторожно продела его ноги в синие штанины, застегнула, где надо... Кожа Меера и рубашка сливались с белизной про-

стынь, — лежит на кровати большая синяя буква Ф.

— Доцент Страшун, литературовед — вам не родственник? — спросила врач. — Из пединститута...

— Сын, — ответила Цыпа.

— В галифе и туда... не страшно, — шептал Меер. — Позовите Лейбу.

И завещал похоронить себя в галифе.

III

Слава родила сына.

Событие это совпало с датой, которую отмечала вся страна. Сто лет назад, у комендантской дачи, на Черной речке, Дантес убил Пушкина. И новорожденный Тарло, как тысячи его сверстников — русских, грузин, коми-пермяков, — был наречен Александром.

И бабушка моя Цыпа, провожая в могилу деда, прощаясь с его привычным, вдруг, в день, омертвевшим именем, плакала горькими слезами. И не менее горько плакала она над моей колыбелью, где лежал я, розовый, кукольный, не обрезанный, с чужим и тоже мертвым для нее именем.

В этой суматохе между жизнью и смертью, между молчанием, обряженным в казацье галифе, и розовым голым криком, совсем было не до шапки с красной звездой, в которой мой отец пришел сюда. Которая долго пылилась на вешалке. Которая в редкие минуты болталась на голове Меера. Которую сунули в сундук зимних вещей. Которую запихнули в сундук старых вещей. Которую затолкали в сундук всяких вещей... И которую, со дна самого глубокого сундука, вытащил один человек.

Шапка понадобилась ему в короткие, последние десять минут жизни. Она нужна была больше жизни. И он отыскал ее, и неуклюже влез штатской своей головой в запах нафталина и пороха. И звезда цвета засохшей крови окрасилась живой кровью.

Глава седьмая

I

Кандидат филологических наук Лев Меерович Страшун распи-

сялся со студенткой Митяшкиной. Она была из тех женщин, которым к лицу мужские имена.

— Митя, — говорил Лев Меерович, — мне выписали деньги за статью...

— Купим ковер! — мгновенно решала Митя.

Она считала, что пожениться — их долг. Боевым семейным содружеством нанесут они удар по национализму, шовинизму, сионизму. Будет борьба! Новое даст сражение старому, отживающему! Мертвечине!

Но ковер примирил всех.

Цыпа побежала на Немигу к Ольге Петровне Митяшкиной, выговаривая ей, какая бесхозяйственная у нее дочь. Ухлопать такую уйму денег, когда Лева даже электрического чайника не имеет.

— Вот-вот, — подхватила Ольга Петровна, — послал господь Митеньке муженька — чайника не нашёл!

Обе старухи были похожи, как похожи деревянные матрешки, вынимаемые друг из друга. Ибо душевному сходству должно соответствовать сходство внешнее. И, значит, Цыпа была та же Ольга Петровна Митяшкина, только большая и толстая, — самая первая, крупная Матрешка... Так во всяком случае я думаю, потому что восстанавливаю ее облик по Ольге Петровне.

— Хорошо бы повесить на ковер какие-нибудь винтовки, — вздыхала Митя. — Или саблю... Правда?

В ответ Лев Меерович рассказывал жене об устройстве дуэльных пистолетов и возмущался казанским кандидатом Волосевичем, который в последней своей статье докатился до несусветных и диких клевет: Пушкин будто бы свою же крепостную девушку погубил.

Она, — писал Волосевич, — покончила с собой именно традиционным способом обманутых девушек — утопилась. Если Пушкин взялся за "Русалку", значит она была ему не сюжетно, а внутренне близка.

— Нет, этого так оставить нельзя! — И Лев Меерович смотрел на жену, разделяет ли она его негодование. — Какая несокрушимая доказательность — "значит"!

— Если бы я была мужчиной, — говорила Митя, — то служила бы на флоте...

А Лев Меерович, будь это в обычаях времени, вызвал бы казанского кандидата на дуэль. Ибо так оставить нельзя!

Давным-давно, когда он учительствовал в Губихинских Хуто-

рах, на глаза ему попала работа, где известное стихотворение Пушкина "Любви, надежды, тихой славы..." (тогда еще читали "гордой славы") приписывалось Рылееву. И он все бросил, чтобы вступить за Пушкина.

Время было ниспровергательное. Революция не лишила стариков-академиков званий и материальных благ. Однако все кругом помнили их тайными советниками с лентой через плечо. Странно было, прогнав генералов военных, поклоняться гражданским.

И вдруг — какой-то неведомый Страшун. Молодой. Без прошлого... И такая статья!.. Старики тут же вытребовали его в Петроград.

Митяшкина принесла газету, на третьей странице которой была петитом набрана ее корреспонденция.

— Замечательно! Замечательно! — одобрил Лев Меерович.

Ибо отыскал уже памятные книги сел Болдина и Кистенева.

Фамилия крепостной была Калашникова. Ольга Калашникова — управителя Михайлы дочь. И ничего она не топилась! Получила вольную, вышла за мелкого чиновника, обзавелась имением, хозяйством, крепостными. Приглашала бывшего барина крестить...

Статьи Митяшкиной увеличивались в объеме, а он прослеживал стилевые особенности "Истории села Горюхина", выводя их из тех же памятных книг.

Он обнаружил самодельную книжицу в шестнадцать перегнутых пополам листков, титул — рукою Пушкина:

ЩЕТЫ ПО ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ БОЛДИНА И КИСТЕНЕВА

1834

...6 апреля — дано. 9 — дано. 29 — дано...

Повсеместно в Российской империи живут кредиторы Пушкина. Младший брат Левушка проигрался, и, взыскивая долг, командир пятой артиллерийской бригады пишет из Проскурова-города старшему брату — сочинителю:

Господь Бог посылает на ум тебе сказки и повести, кои ты печатаешь и продаешь; вырученные за оные деньги не бросаешь в Неву-реку, а поди чай, кладешь в шкатулку; вынь оттуда 500 рублей и 30 червонцев, будь друг и благодетель, пришли мне, а в проценты пришли "Бунт Пугачева".

Вынь да положь!

А Пушкин идет по Невскому. Старая шляпа. Длинная бекеша. Сзади, на поясе, пуговицы не хватает.

Митяшкина уехала в газету за полярный круг. Сперва писала, после присылала вырезки, сопровождая краткими замечаниями

такого примерно рода: “Когда я сидела в юрте, то вспомнила наш ковер” (на полях очерка “У оленеводов-животноводов”).

И он остался один наносить удары по национализму, шовинизму и прочее. Тосковал о своей Мите. Наверное, любил.

II

— Покачай! Покачай!

Тарло сажает на колени дочь и сына, подбрасывает их, и они кричат в очередь:

— А сейчас я выше!

— А сейчас я!

Лев Меерович Страшун — первомайский гость — молча наблюдает за ними.

Гремит радио. Тарло провел его первым в этой старой части города, и он кричит с хвастливым возбуждением:

— Я принимаю парад по радио!

И дети хихикают знакомой шутке, и Слава преданно мечется меж столом и буфетом, а мать Цыпа строго косится на черный, в трещинах круг, — он дрожит и трепещет, раздираемый маршем. Цыпа выключает радио. Дайте ему отдохнуть, наконец!

— Как дела-делишки? — спрашивает Тарло.

— Так...

— Нет, не так. Так ничего не бывает... Не за “так”, а за деньги!

И победоносно оглядывает родню. Вот он какой я! Куда вашему академику!.. Потом наклоняется к самому уху Льва Мееровича, но говорит громко, чтобы все слышали:

— А что я тебе скажу — обязательно запиши!.. Ухаживали за одной дамочкой Пушкин и Лермонтов...

И, предвкушая веселую историю, визжат дети, и фыркает Слава, и улыбается мать.

— Не веришь?.. Да чистая же правда!

Лев Меерович Страшун откланивается.

Среди специалистов славился он как “чтец”, то есть обладал способностью читать пушкинскую руку — качество, ценность которого особенно возросла, когда Гофман эмигрировал, а Щеголев умер.

Молодые побаивались его. Начинен ветхозаветными правилами!

Кто в наши дни отвергает конъектуру? Да это же искусство — восстановить, по догадке, темные места! И прямое наше дело!

Наше дело, говорил Страшун молодым, прочесть то, что написал Пушкин.

На юбилейной сессии — в Михайловском — присудили ему премию, но не одному, а вкупе с исследователем, который превратил в единое стихотворение опубликованные им отрывки.

— Слово “конъектура”, — заявил Лев Меерович, — происходит от латинского “предполагаю”. Но человек предполагает, а Бог располагает... Я никогда не соглашусь предполагать за Пушкина.

Он покинул Михайловское, однако доехал только до Пскова. Древняя республика, огородившая свои вольности четырьмя рядами каменных стен, — самое место для строптивцев, не принимающих премии. Лев Меерович стоял в псковском кремле под угловой башней Кутекомрой, называемой здесь — Пушкинская беседка.

Да, он подобен человеку, который на закрытых дверях разобрал таинственные письма. Теперь достаточно произнести вслух — и дверь распахнется. Но он молчит.

Он бродил по псковским кладбищам, разыскивая некую могилу, — хоть крестик, хоть холмик, хоть память чья-нибудь случайная... Он похоронил бы Фому Бельдюгина, который стоит между Львом Мееровичем Страшуним и Александром Сергеевичем Пушкиным. Острый его локоть упирается в грудь, и говорит он о чужих руках, о чужих холодных руках, посягнувших на то, что им не принадлежит:

— Но все равно, все равно... помнишь, Толстой писал: “У твоего отца есть немец-лакей. Он хороший лакей, но если отец заболел, ты прогонишь немца и будешь ходить за ним сам”.

Он уехал из Пскова, так и не найдя могилу.

Молодые напали на него. Препятствует дерзновенным замыслам. Сухомятка надоела! Пушкин удавился бы с тоски, читая ваши книги — отрывки, обрывки, круглые, квадратные, фигурные скобки.

Если бы они догадались украсть его черновики! Подклеить страницы, разодранные крест-накрест карандашом, смыть исправления, — исхлестанные, искромсанные черновики, которых теперь уже никто не увидит... Но они не догадались.

Мы не унижим себя тем, что встанем на колени перед Пушкиным. Я стою на коленях, потому что признаюсь в любви.

А они величали его пушкиноедом. Им казалось, что справедливо. Из той книжицы — шестнадцать перегнутых листков — умудрился он извлечь цифровые выкладки под заглавием “Пушкин-бухгалтер”. Письмо проскуровского артиллериста снял последним, уже в гранках.

Только то, что проверено! Только то, что несомненно! Прочь словеса! В корзину! Вон сопутствующие чувства!

Критика называет это — ползучий эмпиризм.

III

Областное издательство заказало ему тощую, на полтора листа, книжицу. Редактор многократно напоминал о сроках, прислав под конец грозное уведомление: ждем до понедельника, 23 июня.

Ночь. Суббота.

Лев Меерович Страшун ходит по квартире. От ковра к полке с книгами, от полки к коврику.

— Пушкин погиб на дуэли... Пушкин погиб на дуэли...

Видит дворцовую набережную. Наемный экипаж мчит Пушкина к Черной речке. А навстречу — жена. Крикни Данзас: “Стой! Погодите!” — может, и обойдется. Но Данзас не крикнул. А Пушкин отвернулся от ветра. А Наталья Николаевна была близоручая.

— Погоняй!

Снег по колено. Секунданты протапывают дорожку. Пушкин сидит на сугробе.

— Я не хотел стрелять, — говорит Дантес, — но он смотрел на меня с такой ненавистью — я испугался... Я не хотел убивать его — метил в ногу... пуля прошла выше... Она всегда идет выше. Я подумал об этом, когда выстрелил уже... Он бы убил меня!.. Я не хотел его убивать!

Жандармы спешат предотвратить поединок, только, загоняя лошадей, скачут в противоположную сторону, в Екатерингоф.

Пушкин погиб на дуэли. Он умер не своей смертью. Чужая смерть пришла к нему. Может быть, ошиблась дверь...

Чужие люди привели ее — те, кому была она назначена. Они бежали впереди смерти с фонарем, освещая дорогу.

Но даже эту, чужую смерть он встретил как Пушкин.

— Ну, подымай же меня! Пойдем! Да выше! Выше!.. Ну, пойдем!

Уже бомбили электростанцию.

Глава восьмая

I

Через два дня после начала войны немецкие пыльные мотоциклеты въехали в город. Они неслись на большой скорости, солдаты подскакивали, как неопытный конник в седле, и смеялись.

Люди, встречавшие немцев, — целая делегация — вышли на западную окраину города и мокли от жары в черном своем торжестве: черный пиджак, черные штаны, черные ботинки. Прели до заката — ни немцев, ни наших. Беженцы, беженцы, беженцы...

— Где немцы?

— Всюду.

Они поплелись назад, в город, очень устали, и кто-то предложил напиться в доме под горой. С этого места дорога круто забирала вверх, упираясь в облако дальним своим концом.

Гора и дом под ней — дом Меера Страшуна, похороненного на еврейском кладбище в казачьем галифе, — достопримечательности всего города.

Зимой гора принадлежит детишкам.

Летом принимает влюбленных.

Здесь стоял Наполеон, а сто лет спустя был штаб Тухачевского.

И если уроженец города куда-нибудь уезжал — работать на дальних стройках или набираться в столице ума-разума, — он приходил на гору. Попрощаться с горой — как посидеть перед дорогой.

— А вон дом Страшуна...

А за ним — лес, деревня Немига, церковь, которой давно положено развалиться.

Уроженец возвращался — умный, гордый, столичный — и опять шел на гору. Лес поредел. Немига — не деревня, а улица предместья. Дымит красная труба электростанции. Церковки не видеть... Но все равно это мой город!

— Во-он дом Страшуна...

Его собиралась ломать управа, губерниальная рада, муниципа-

литет при поляках, городской совет. Понадобилась такая силища, как война, чтобы мой дом перестал жить.

Люди, встречавшие немцев, тоже были уроженцы города. И тоже стояли когда-то на горе, а теперь — глубоко внизу, усталые, злые, мокрые от жары и торжественности, от радости и страха ожидаемых перемен.

— Зайдем! — кивнул один на дом Страшуна.

Но они не пошли. Быстро перебирая тяжелыми ногами, с мокрой спиной и сухой глоткой, продолжали они свой путь. В гору! В гору!.. И, взобравшись, черными руками в черных пиджаках качали воду возле колонки, дрожа от жажды.

А немцы уже были в городе.

Замыкая кольцо, пришли они с востока, словно были это не немцы, западный народ, а снова — нашествие Батыя, татарский полон.

II

— Вы сошли с ума! — крикнул Лев Меерович. — Пить чай... Сейчас будет машина.

Тарло намазал хлеб маслом и неторопливо вытер нож.

— Я свистну, — отхлебнул из чашки, — и будет сто машин.

— Надо ехать, — сказал Лев Меерович. — Сейчас придет машина...

— Дул утром кофе? Пей чай с молоком... Слава, налей!

Слава пошла за стаканом, и походка ее выражала пренебрежение к брату и уверенность в муже. Она взяла чайник в правую руку, а кофейник, где было молоко, — в левую и скрестила над стаканом белый и желтый потоки.

— Хлеб нарежь! — рассердился Тарло. — Видишь, у этого героя дрожат руки!

— Сейчас придет машина, — тихо сказал Лев Меерович.

— Придет — уедем... Ешь!

Но он остался в дверях.

Звякали чайные ложечки. Племянник просил варенья. Ветер перелистал ноты на пианино.

— Закрой инструмент, — сказал Тарло.

Девочка опустила крышку, и пианино заблестело, излучая черное солнце. Они и сегодня не забыли стереть пыль.

— Если суждено умирать, — сказала Цыпа, — лучше в своем углу.

А племянник ел варенье, измазавшись в красном.

Лев Меерович выбежал на улицу.

По тротуару, раскачиваясь из стороны в сторону, ходил бородатый старик. Руки его производили работу, цель которой – отвернуть собственную голову.

– О-о-о! – завывал старик. – О-о-о!

И Лев Меерович узнал в нем старого своего хозяина – сапожника Вольфа Гобермана. И ошалело уставился на него, словно видел живого мертвеца. Ему всегда казалось, что Вольф Гоберман умер. И – давно... А он жил.

Время потекло вспять. Лев Меерович – снова Лейба, сапожный подмастерье.

– Что с вами, дяденька Гоберман?

Но старый сапожник только сильнее выкручивал голову.

А рядом, в дворовом садике, аптекарь Кравец зарывал какие-то ящики. Значит, и Кравец не умер? И совсем не изменился!.. Когда некий сапожный подмастерье покидал город, Кравец уже аптекарствовал... Но ведь это было сто лет назад!.. Мертвые встали из гроба?

Он услышал гул мотора и быстро побежал, словно спасаясь от Гобермана и Кравца. Ему казалось, что когда он вернется с машиной, их уже не будет и в помине... Он очень быстро бежал на гору.

Но гул мотора внезапно затих, сменившись железным лязгом, как будто гремели цепи или били цепью о цепь. С горы, набирая скорость, катился танк. Водитель выключил двигатель и стоял, высунувшись по пояс из люка, очень загорелый, в больших темных очках, зеркальные пыльные стекла которых отражали Льва Мееровича. На башне затейливыми готическими завитушками, мелом, как на классной доске, выведено: "Nach Jerusalem!" Танкист, весело смеясь, кричал Льву Мееровичу, что приглашает его с собой, в Иерусалим.

– Твой чай остыл, – сказал Тарло. – Я четыре года воевал с немцами... знаю, с чем его едят... – И попросил дочку сыграть что-нибудь.

III

Общежитие совпартшколы, что на Виленской улице, заняла

зондеркоманда, бойцы которой останавливали мужчин на улице или запросто, ночью ли, днем, заходили в дома.

— Мыло! Полотенце! Марш!

Командовал молодежавый седой человек, говоривший по-русски, как русский.

Повсюду висел приказ, что евреи-мужчины такого-то и такого-то года рождения в такой-то день и час должны явиться на улицу Немигу.

— Новая власть — новые порядки, — сказал Тарло. — Собери меня, Слава.

Лев Меерович вспомнил древнее:

— На Немиге снопы стелют головами, молотят цепями булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела.

— Слышишь, что он говорит? — тихо сказала Слава. — Не ходи! Не ходи, Исай! — И заплакала.

— Хватит реветь! — крикнул Тарло. — Хочешь, чтоб эти "хапунны" с Виленской меня зацапали?.. А ты, — обернулся к Льву Мееровичу, — не муди воду. Пришел в мой дом — живи по-моему. Я здесь хозяин. Как сказал, так и будет!

И он пошел на Немигу.

Золотые, с монограммой, часы — швейцарское производство. Шумное кожаное пальто.

Было лето, и волосы, которые он стриг каждую весну наголо, едва отросли — белая густая щеточка, модная впоследствии под именем "Гамлет". Он уверенно шел в модных ботинках, солидно неся круглую голову с оттопыренными щеками.

На всякий случай прихватил золотое кольцо. Хотя часы и пальто представляют некоторую ценность, всегда невредно кому-нибудь "дать".

— Береги детей, Слава!

IV

На рассвете убили аптекаря Кравеца. Пришли трое — и ломом по голове.

Потом тем же ломом ковырялись в саду. Похоже, мирные люди исполняли мирную земледельческую работу. Лениво переговаривались:

— А ты верно знаешь, Семен?

- Ага. Он тут весь день, старичок, копался. Ящики хоронил.
- Думаешь, много добра?
- Много не много, а жизнь прожил.

Они вытащили ящики, вскрыли их, но там оказались медикаменты.

- Зря старика кокнули, — сказал Семен. — Подымай!
- Погрузили ящики на телегу и укатили.

Этот Кравец хотел всех обдурить, а сам попался, толковал Гоберман, которого Цыпа приютила как погорельца. — Показывает мне бумагу, что Советская власть нарочно его оставляет — для нужд людей. И немцы тоже обещали не трогать... Так он припрятал казенные лекарства и хотел от себя торговать!

Четырехлетний Саша Тарло, я — топаю по квартире на пухлых негнущихся ножках.

- Мама, а когда папа придет?
- Значит, они всех могут убить? — спрашивает Цыпа.
- Нет, — говорит Гоберман, — немцы этого не допустят... У них начальник говорит по-русски, как мы с вами... Заранее готовили людей... Всех не убьют.

V

- Мадам Тарло! — окликнул знакомый голос.

Она обернулась и увидела сослуживца Исаю — старшего его официанта Михаила Автономовича Прокудина, по прозвищу Мезя.

Они стояли на углу — и все прежнее, даже таблички: улица Советская пересекается с Красноармейской. Распахнутое окно. Патефон на подоконнике: "И тот, кто с песней по жизни шагает..."

Зеленый новенький грузовой ЗИС, а в кузове, на скамейках, — немецкие солдаты.

Мезя говорит длинно и громко. И через каждые три слова — Исай Янкелевич, Исай Янкелевич... И — часы. Швейцарское производство. Монограмма. Через каждые три слова справляется о времени.

- Исай Янкелевич просил, чтоб ровно в три...
- Слава бежит.
- Торопитесь, — напутствует Мезя. — Сейчас половина второго. Исай Янкелевич...

Слава бежит на Немигу.

Какая-то женщина (Слава не узнает ее, а это — Ольга Петровна Митяшкина) выскакивает из маленького домика.

— Детей не води туда!

...Тарло стоит за колючей проволокой. Вокруг лагеря гуляет часовой.

— Blond, blond... -- чмокает Славе.

Она смотрит на мужа.

— Слава, — говорит он, — я отсюда живой не выйду. Бери детей и уходи из города.

Она молчит.

— Слава, — говорит он, — бери детей — и в деревню.

Она молчит.

Внезапно, словно ударенный током, он дергается, срывает с плеч шумное кожаное пальто, и, как двадцать лет назад, Слава видит мужа голым по пояс. Синий, в багровых полосах, в крови, окрасившей красным цветом волосы на груди.

— Что они с тобой сделали, Исай?

Он кидает пальто через проволоку, садится на траву. Очень долго стаскивает ботинки.

И когда она видит его ноги, то опять спрашивает:

— Что они сделали с тобой, Исай?

— Уходи, — говорит он. — Мне больше не нужно... Продашь... детям...

Она берет все: и пальто, и ботинки, и кольцо, которое он никому не отдал. Ибо ничего не отнять силой у Исае Тарло.

Вещи мужа такие тяжелые, — тянут ползти.

И ей кажется, все дороги тех лет — от первой, к дому, где дети, и до конца, в ров за деревней Марьиной Гора, — она не прошла по ним, она проползла.

Она ползет, ползет, ползет. На коленях.

Глава девятая

I

Парень точил ножницы о каменный подоконник. Старик и две женщины (одна молоденькая) ползали по ковру, двигая коленками.

— Колючий какой! — засмеялась молоденькая и обдернула юбку, прикрыв колени.

— Хозяин, что ли? — спросил парень.

Лев Меерович кивнул.

Парень бросил ножницы старику.

Ковер был выткан простым геометрическим узором, и делить его было удобно. Приступая, старик пощелкал ножницами, как парикмахер.

— С мира не взыщешь... если б я один... а с мира не взыщешь... — И пошел резать прямо по синей широкой полосе.

В былые времена Лев Меерович раскладывал листы рукописи, как эти люди ковер, только не на полу, а по всей комнате — на столе, диване, подоконниках — и ходил, как укротитель, помахивая ножницами и клеем.

Старик не мог преодолеть сцепления волокон. Ножницы ложились набок и жевали ковер.

Лев Меерович снял с полки несколько книг.

Женщина постарше стала укорять старика, что он портит вещь, а потом накинулась на парня, когда тот вызвался сменить старика. Женщина кричала, что старик справедливый и всем достанется поровну, а парень обязательно их обидит.

Внезапно и бесшумно ножницы распались на два ножа. Парень выругался. А старик оттирал следы колец — два красных глубоких круга, врезавшихся в кожу.

— У тебя есть другие? — спросила молоденькая у Льва Мееровича.

— С мира не взыщешь, — шептал старик, дую на пальцы. — Если б я один... а с мира не взыщешь.

Трещал ковер, раздираемый на куски.

Был солнечный день. Пленные выкорчевывали трамвайные пути. Стриженный плотный парень колотил по рельсе, высоко вскидывая молот, и конвоир быстро-быстро моргал при каждом ударе. Шпалы складывали в штабеля, которые толстый немец помечал мелом. Шпалы новенькие, только пропитанные — и улица пахнет вокзалом, дальними поездами... Трамвайный провод мотали на катушку, и от бронзового веселого блеска слезились глаза.

Лев Меерович свернул в переулок, но звон молота догонял его. Казалось, бьют в набат или гудят колокола.

Дома он говорил матери об общинном мирозерцании рус-

ского народа. Она внимательно слушала, вытирала книги, а потом сказала, что давно хочет узнать, чем он занимается, какая у него работа.

— А ты не знаешь? — удивился Лев Меерович.

— Нет.

Он начал объяснять, подлаживаясь к ее понятиям, однако с их помощью нельзя было определить смысл его работы. Более того, рассуждая ее понятиями, он сам запутался.

— Когда-то, — сказала мать, — ты учился на меламеда.. Ты стал им или не стал?

Да, стал. Только не меламедом, а шкрабом на Украине — школьным работником. Потом?.. Потом написал статью. Она была ответом на другую статью, в которой...

С тем же пылом, что и двадцать лет назад, он защищал Пушкина. В комнату вошел Гоберман, но Лев Меерович не заметил его.

— Он же деревянный поэт! — распинал Рылеева. — Топорная работа!.. Ты только послушай!

И прочел четверостишие, и хотел продолжать, но Гоберман подскочил к нему и схватил за плечи.

— Тише, полоумный! Ты соображаешь, о чем орешь?.. Тише! Цыпа засмеялась.

— Значит, он вправду был... этот... Пушкин?

Лев Меерович стоял посреди комнаты, глядя на смеющуюся мать и испуганного Гобермана.

— А я думала...

По простоте своей, Цыпа думала, что Пушкина изобрел Тарло, чтоб анекдоты были смешнее.

— Что сынок, что мамаша... — И Гоберман покрутил пальцем около лба.

— Это уже второй раз, — смеялась Цыпа. — Знаешь, раньше все веселые истории обязательно случались в Свенцянах: то они какому-то богачу луну продавали, то еще что-нибудь... И вдруг приходит человек оттуда, из Свенцяна, — литвак, рыжий... Значит, и Пушкин был!

И Цыпа очень просто сказала о том, что Лев Меерович Страшун давно похоронил, как похоронил старого Гобермана: она говорит по-русски и понимает по-польски, но писать не умеет совсем.

Мать Льва Страшуна была неграмотная.

— Пойду за водой, — сказал он. — Оба ведра пустые.

— Сходи. Только если “за водой” — не принесешь... “по воду” ходят, а не “за водой”.

Он ушел, гремя ведрами.

— Не облейся! — крикнула мать вдогонку.

На улице стреляли. Быть может, тот стриженный плотный парень бежал из лагеря.

Нет соглашения, нет условий
Между тираном и рабом.
Тут надо не чернил, а крови.
Нам должно действовать мечом.

И ему вдруг захотелось, чтобы эти топорные, деревянные строчки написал Пушкин.

II

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В городе злонамеренно попорчены средства связи (телефон, телеграф, кабель). Так как в р е д т е л е й нельзя дольше терпеть, В ГОРОДЕ РАССТРЕЛЯНО 50 МУЖЧИН, что должно послужить предостережением для населения.

Требую еще раз о всяких подозрительных случаях немедленно сообщать немецким войскам или немецкой полиции.

Я буду поддерживать порядок и спокойствие всеми мерами и при всех обстоятельствах.

Клотц,
Полковник и Комендант города

— Здесь до революции был казенный раввин, — сказал Гоберман, — тоже Клотц.

Человек, вслух бормотавший объявление, хмуро взглянул на старика.

— А еще был медник Клотц...

Человек надвинул фуражку. Толпа молча расходилась.

Ногтями каменной твердости Гоберман соскоблил объявление и сунул в карман. Он шел, распространяя шелест бумаг, которые как бы шептались в оттопыренных его карманах.

— Ну-ка, что здесь напечатано? — выкладывал дома первую бумагу.

И Лев Меерович читал: с сего дня евреи должны носить особую повязку — синюю с белым знаком.

— А тут что?

То было еще одно распоряжение коменданта: все трудоспособное население призывается...

Вытаскивалась следующая бумага. Опять об евреях. На левую сторону груди и посередине спины обязаны они пришить всегда видимую шестиконечную звезду желтого цвета не менее десяти сантиметров в диаметре.

— Так что же носить? — спросил Гоberman. — Повязку или сионский знак?

Лев Меерович молчал.

— Но ты же грамотный!.. Там напечатано!.. За то, что я рву эти приказы, меня могут убить каждую минуту... Если не понял с одного раза, читай опять! Там напечатано!

— Послушайте, Гоberman, — сказала Цыпа. — Что вам разрешается открыть свое дело — там не написано. И никто вас не гонит день-деньской шататься по городу... Сидели бы тихо.

Но Гоberman не желал сидеть тихо. Про его деда, Исера Гоbermanа, великий князь докладывал царю: нельзя ли Исере доставить в Петербург полоцких кадет? Царь разрешил, но только до Острова. А там — православных извозчиков нанять!.. Так и не попал дедушка в Петербург.

А Лейба попал. И столько ученых слов выучил... а в двух бумажках не разберется!

Нет, только при Советской власти такой бестолковый человек мог стать большим человеком. Когда он, Вольф Гоberman, откроет свое дело, он уже не возьмет его подмастерьем!

Сапожник уснул на полуслове, прямо за столом, и Лев Меерович с матерью перетащили его на кровать.

— Не обижайся, — сказала Цыпа. — Он старик. Сейчас всем трудно и все должны быть вместе.

Лев Меерович смотрел, как мать накрывает Гоbermanа одеялом. Сказал:

— В Михайловском Пушкин сошелся с дворовой девушкой. Потом они расстались, некоторое время переписывались. Пушкин назвал ее послание "кудрявым", а она: письма те писал муж, и не понимаю, что значит — кудрявые... Мы на разных языках говорим.

III

Под храп Гоbermanа он рассказывал матери о Пушкине.

Детство. Лицей. Ссылка на юг. Пушкин в клетчатых панталонах, размахивая тростью, бежит по Кишиневу.

Цыпа улыбалась. Ей не страшно за этого человека. Жизнь его — сказка, а сам он удачливый герой ее. Вот он дерется на дуэли. Противник — командир егерей, рубака Старов. Метель. Под носом ничего не видать. Пушкин — мимо. Старов — мимо. Сдвигом барьер!

— Тем лучше, а то холодно!

Цыпа засмеялась — озорник.

Но вот — Болдинская осень. Проваливается мост, по которому Пушкин едет к невесте.

— Расшибся? — в испуге спрашивает Цыпа.

И не спит ночью, думает: не было бы войны — и не пожила бы с сыном... так и умерла бы, и не узнала, какой у меня сын.

На следующий день Гоberman принес новость:

— Евреев переселяют в старый город, на Долгобродскую... А этот командир "хапунов" — я слышал, как он говорит по-русски. Если б не форма, не скажешь, что немец... Солдаты схватили меня, а он велел отпустить. — И вытаскивая очередной приказ: — Ну-ка, что здесь напечатано?

Глава десятая

I

На деревянном тротуаре стояли люди с оружием, а по булыжному крутому склону Лев Меерович Страшун тащил тележку. Колеса скрипели, левое шаталось на оси — вот-вот свалится, — и время от времени Цыпа подправляла его ногой.

Впереди колонны, шаркая, как по песку, шли люди в синих больничных халатах, и тапки без задников падали у них с ног.

— В гетто будет своя больница, — говорил Гоberman. — Все будет свое: община, староста, полицейские...

Молодая женщина говорила, что в тридцать пятом году мужу давали квартиру на Долгобродской, но им не понравилось: болото близко, весной-осенью — грязь... Мы тогда его ждали. (Рядом с женщиной шел краснощекий мальчишка.)

— Зато бы сейчас никуда не трогались, — сказала пожилая, — сидели бы на Долгобродской... и вещи при себе...

— Я только — что ему, — кивнула молодая на сына. — Лазаря на Немигу забрали... — Она остановилась. — Что это? Слышите? Откуда-то сверху спускалось легкое стрекотание, и люди в толпе закрутили головами, улавливая его источник.

— Нас снимают для кино, — сказала молодая. — Я знаю: нас снимали Первого Мая, на демонстрации.

Пожилая спрятала под шляпку седую прядь.

Оператор стоял на партикабле, деревянном большом ящике, деловито оглядывал толпу и возился с объективом.

— Попридержите их, — сказал военному по-немецки.

— Остановиться! — по-русски скомандовал тот.

И услышав этот голос, Лев Меерович Страшун вздрогнул.

— Он самый, — зашептал Гоберман, — “хапунами” командует.

— Пусть идет, но не быстро. — Оператор прыгнул на землю. — Пожалуйста, камеру.

— Марш! — сказал командир “хапунов”.

И голос снова так поразил Льва Мееровича, что он не двинулся с места. Задние подтолкнули его. Он пошел, ничего не замечая, — только человек на деревянном ящике... Колесо сорвалось с оси и плашмя ударилось о мостовую.

Оператор бегал на корточках — вприсядку — перед больными, подкарауливая, когда седой небритый старик потеряет тапку. Солнце падало справа, и короткие седые волосы старика сверкали белыми искрами.

Оператор вскочил на партикабль и стал шарить в толпе хоботом объектива.

— Какая жалость! Очень типичное лицо... но без звезды.

— Они все достаточно типичны, — сказал командир “хапунов”. — Кто вам нужен?

— В пятой шеренге, крайний... с тачкой... Около него — старуха.

Командир “хапунов” долго смотрел на крайнего в пятой шеренге.

— Тут все — толпа, жалкая, забитая масса, — сказал оператор. — А этот — нет. Такие затеяли войну, расплодились по всему миру и весь мир объединяют против нас.

— Да-да... — сказал командир “хапунов”.

Он спустился с партикабля и подошел к крайнему пятой шеренги.

— Где ваша звезда?

Лев Меерович молчал.

— Когда германская армия издает приказ, его положено выполнять... если хочешь жить.

Лев Меерович смотрел на это лицо. Морщины. Шрамы. Виски седые. Только глаза горят по-молодому.

— У меня нитки с собой, — сказала пожилая женщина.

— А у меня — звезда, — добавила молодая, с ребенком. — Я думала, если Лазарь вернется...

— Изъясняйтесь, пожалуйста, на жаргоне, — сказал командир "хапунов".

— Вон мой дом, — сказал Лев Меерович. — Там есть другая звезда. Фильмооператор будет доволен... И так быстрее, Федор Фомич.

II

Выйдя из дому, он некоторое время стоит на горе. Лес. Немига. Электростанция разрушена, и место ее опять занято деревянной церковкой. Все — как сто лет назад, когда он уходил из города.

Он подымается в гору. Оператор и Федор Бельдюгин что-то обсуждают на партикабле. Здесь, внизу, не слышно голоса, не видно морщин, седых висков. А обличьем и повадками Федор — тот же.

И он вспоминает дом на улице Субочь. И уроки медленного чтения. Карл и Мазепа мчатся из пределов России. Хутор Кочубея — на пути.

...запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь.

Все так. По обеим сторонам улицы — пустые дома. И ветер треплет раскрытую дверь.

А ведь здесь я родился. На этой знаменитой горе, известной всему городу, я знаю пригорок, известный лишь тому, чья родина здесь. Вот он, во дворе аптеки Кравца. По мостовой пригорок сравнивали... А там я катался на салазках.

Здесь моя родина. И люди, которых Федор Бельдюгин гонит на Долгобродскую, — какие бы они ни были, — это мой народ.

И в поле отпертая дверь.

Первым опомнился Гоberman:

— Люди! Евреи! Он сумасшедший! Он всегда был сумасшедший!.. Из-за него нас убьют всех!

Молодая женщина, оставив ребенка, подбежала к Льву Мееровичу и, вцепившись, стала срывать шапку с красной звездой.

— Если тебе надоело жить, почему должен умирать мой мальчик!

Но он застегнул буденновку внизу, под подбородком, и она не смогла стащить с него этот шлем, в котором мой отец ходил в атаку. Только лицо ему оцарапала.

Охрана приготовилась стрелять.

Пожилая женщина и еще несколько человек упали прямо на мостовую и завyli от страха.

Гоberman дернул с тачки колесо и замахнулся. Еще какие-то люди налетели на Льва Мееровича, и он отбивался, как мог.

Оператор соскочил с партикабля.

— Не разнимайте их!

Протолкался к дерущимся и нацелился аппаратом.

Но едва они опять услышали легкое стрекотание, руки их сами собой опустились.

— А, черт! — выругался оператор. — Бейте же его! Бейте его, женщины!

Все понимали слова, но никто не двигался. Цыпа держала в руках тяжелое железное колесо, отнятое у Гоbermanа. Мальчик тербил молодую женщину:

— Дядя — военный, да, мама? А почему у него шапка со звездой? А у него есть наган?

— Бейте его, — просил оператор ласково, — бейте.

Лев Меерович Страшун взял у матери железное колесо и неумело, сильно откинувшись, швырнул в оператора.

III

— Ну, подымай же меня! Пойдем! Да выше! Выше!.. Ну, пойдем!

Пушкин умер 29 января в 2 часа 45 минут пополудни.

Никогда на лице его не видел я такой глубокой, величественной, торжественной мысли. На устах его сияла улыбка — как бы отблеск несказанного спокойствия.

Эд. Шухмин живет в СССР. Его рассказ "На той войне незначимой" был опубликован в "22" № 20.

1

— Не боги бьют горшки, — сказал Водемон, — авось управимся.

И действительно, угловая башня Кастель д'Ор смахивала на глиняный горшок. Но Борн отлично знал, что это сходство лишь внешнее. На деле же она была сложена из грубо отделанного камня, слеплена неизвестным ныне раствором, и взять ее взрывчаткой нечего было и надеяться.

Весь замок был выстроен в честь какого-то там по счету юбилея победы над хаттами. Поэтому он сверху выглядел символически: пятиугольник, в углах которого стояли упомянутые башни. Башни были разные по форме, по высоте и по назначению: в одной хранилось оружие, в другой размещались казармы охраны, еще в двух находился накопитель, а в этой, похожей на горшок, распределитель. Внутри пятиугольника строители возвели несколько укрепленных строений, планировку которых трудно было свести к какой-нибудь схеме. Что именно нзходило в этих строениях — тоже было неизвестно. Поверх самых низких участков стен

Мы предлагаем читателям главы из необычного произведения. Автор пишет о нем: "Мне хотелось возродить в русской литературе жанр "готического романа" с его тайнами, замками, приключениями, сложными семейными секретами и т. п.". Особенность "готического реализма" Б. Фалькова в том, что этот жанр он пытается возродить на вполне современной, реалистической основе.

Борис Фальков

ТРУВЕР

(главы из романа)

можно было рассмотреть крыши с острыми скатами и два купола. И все.

Действовать приходилось, по существу, вслепую, так как провести мало-мальски приличную разведку не было ни времени, ни возможностей. Да и вряд ли канцелярия Инал-кубы выдала бы им на то разрешение. И потому сведения о замке были так скудны. Они знали, что на вершинах башен стоит охрана, но какая именно, и какое она имеет вооружение — это оставалось неизвестным. Они не знали ничего: о системе тревожного оповещения, о контрольном освещении, о численности гарнизона, о ловушках и, в сущности, о точном назначении башен, поскольку все, что они знали о башнях, опиралось на слухи. Устойчивые, долговременные и как бы само собой разумеющиеся — но слухи. Ясно было только одно: сделать задуманное будет очень сложно, если вообще возможно. Их было всего шестеро, против совершенно неизвестного.

— Ерунда, — возразил Водемон. — Именно то, что нас мало, дает шансы. Ты что же, собирался штурмовать по-суворовски? Уру покричать? Нет, парень, наше дело тихое и точное. Все должно иметь вид обыкновенного теракта. Они должны подумать: ага, трахнуло — значит, кончилось. Понимаешь? Как это... и расследование ЧП отложено до светлого времени суток.

Как-то само собой получилось, что Водемон стал командовать их действиями. И никто не возражал против этого, даже предводитель тройки старьевщиков, тот, с длинной бородой. Спорить о первенстве было выше его достоинства, да и некогда: дело должно было быть сделано сегодня. Или не сделано никогда.

Началось же выдвижение Водемона с того, что он выиграл спор с Борном, когда тот не соглашался принять его план. Борну расчеты Водемона показались неприемлемыми как слишком сложные, и как не слишком честные по отношению к другим группам. Водемон предложил следующую схему: Матильда и ее набранные из разных фракций ребята подрывают, насколько это возможно, восточную стену между башнями и через пролом врываются внутрь периметра. Этим они отвлекают на себя основные силы гарнизона. Затем они закрепляются во дворе и принимают бой, до тех пор, пока не получают сигнал об отходе. Этой группе не должно быть известно, что шестеро других будут в это время на противоположном участке стены, на западном. Они должны думать, что эти шестеро пойдут вместе с ними, под прикрытием

их огня, через тот же пролом. И что сам Борн пойдет вместе с ними. Одна только Матильда будет знать, что Борн и Водемон проникнут в замок, пользуясь суматохой, спрыгнув с низко пролетающего над двором вертолета. Такова была первая часть плана.

Вторая была предназначена собственно шестерке. Несмотря на информацию, полученную Матильдой, а точнее — вопреки ей по выражению Водемона, никакого другого штурма стены со взрывом на западной стороне не будет. Как не будет и вертолета.

— Но это же!.. — вскричал Борн. — Это нечестная игра! Значит, мы будем ждать, пока они там все полягут, и потом... на готовенькое...

— Никак нет, — иронически возразил Водемон. — На твою долю достанется. В это время мы, пятеро, исключая тебя, тихонько, подчеркиваю, — тихонько! взбираемся на самую башню! Не на стену — а на башню. И уже с нее — на стену. В детстве мне удавался этот трюк, и без страховки. Думаю, получится и теперь. Кладка там такая, что поставить ногу можно. А если мы такое место в темноте не найдем, то нижний подставит плечо. Ты же, мил друг, пойдешь через подкоп. И кроме нас с тобой никто об этом знать не будет. Или ты сомневаешься в наличии подкопа?

— Нет причин, — сказал Борн. — Зачем ему врать? Но и нам нет причин врать своим товарищам по оружию...

— ...оружию, — захихикал Водемон. — Поэтично. В такой исторический момент поэзия, конечно, поможет снести для истории яичко. Дружочек, у меня ведь есть ПРИЧИНЫ действовать, как тебе чудится, аморально! Кроме того, я тебе предложил лишь схему! И конечно, она лишь в малой степени будет соответствовать действительности, вот увидишь. Ты удовлетворишь свое пристрастие к импровизации, трувер, тебе представится такая возможность.

— Я так не могу, — решительно возразил Борн. — Я должен знать все. И они тоже.

— А вот это — чушь! — отрезал Водемон. — Не должен и не может и никто. Потому что это означало бы провал. Нет, каждый действует по известной ЛИШЬ ЕМУ схеме и импровизирует согласно сложившимся обстоятельствам. Иначе может случиться, например, что кое-кто ЗАБЫЛ схему, или стал с ней СПОРИТЬ. Нет, задача локальная и конкретная — раз, человек, который должен ее выполнить — два, средства, которые он сам выбирает

для этого — три. Вот в чем шансы на успех. А не совет, знаешь ли, в Филях.

— Тогда я пойду с Матильдой, — сказал Борн.

— И кто тогда будет воссоединяться с дочкой, Гарри? Или Иналкуба? Впрочем, этот, если быть точным, совокупляться... Что, не нравится? Так подумай, о чем я толкую, иногда это полезно. Но главное, только ты можешь пройти через дом в подкоп.

— А почему именно через дом? — пожал плечами Борн. — Откуда уверенность, что подкоп идет из подвала?

— Нет, — саркастически развел руками Водемон, — с чердака.

И Водемон искренне захихикал, по-видимому вообразив эту ситуацию.

— Хорошо, я подчиняюсь, — сказал Борн, ужасаясь тому скопищу подозрений, недоверия, умолчаний и почти предательства, которого требовало дело. Но времени для дискуссий по моральным вопросам вовсе не было. А на фоне предполагаемых потерь, на фоне требовавшейся тому же делу крови, такие дискуссии выглядели преступно. Борн сдал последние флешки:

— Я подчиняюсь. Командуй.

— Ха! — хлопнул его по плечу Водемон. — Настоящий рыцарь: без упрека. Сдаюсь, мол, под давлением высшей силы. Думаешь, я не ощущаю этого давления? Или я по-твоему похож на армейского петушка? Нет, я и сам могу упрекнуть тебя кое в чем, да воздерживаюсь. Все, разговоры кончены. Друг, помолись за меня. Я за тебя уже молюсь.

И Водемон снова, и так же весело рассмеялся над собственной привычкой к цитатам:

— Не боги горшки бьют. Ломать — не строить. Разбежались! И Борн остался один во влажной душной ночи.

Ему предстояло снова проделать путь, который он дважды проделывал в такую же астматическую ночь, но, несмотря на это, он волновался. Куда больше, чем тогда. Неуверенность, сомнения и подозрения в собственный адрес теснились в его душе. Если бы дело не так далеко зашло, ты бы, кажется, повернул назад, презрительно сказал он себе. Сморчок, трубадуришка. Ему казалось, что на ногах его звенят цепи, а за ним катятся чугунные пушечные ядра. Он с неожиданной яростью закусил губу: пошел, сука, сказал он себе! И сделал шаг по направлению к стене, окружавшей знакомый дом.

Как и в ту ночь, за стеной истошно кричали цикады. В окнах

не было и признака жизни. Оглушительно и свирепо пахли безымянные цветы. Борн продел голову в ремень автомата и закинул его за спину.

На этот раз ему удалось забраться на стену с первой попытки. Забравшись же на карниз, он обнаружил, что за жалюзи — на этот раз опущенном — все-таки горит свет. А заглянув в слабо освещенную щель, он увидел, что в комнате горит свеча, на кровати лежит неподвижный Герцог, в ногах его сидят два парня, и у одного из них забинтована голова. Оба парня неотрывно смотрят на лицо старика.

А у изголовья кровати сидела женщина, в которой Борн сразу же узнал свою сестру. Глядя на нее при свете свечи, трудно было поверить, что прошло двадцать лет. Разве только длиннее стал нос, да губы тоньше. И волосы потемней. Но и этому виной могло быть обманчивое свечное марево, а не те двадцать лет. И не краска против седины.

А они были совсем молоденькими, оба парня, и симпатичными. Их не портили великоватые для таких мальчишеских лиц носы. Печальное наследство, подумал Борн, унылый нос. А бинты придавали раненому совсем не воинственный — смешной вид.

Отец лежал абсолютно неподвижно. Борн весь подобрался и резко открыл жалюзи. И переступил через подоконник. Сестра и племянники изумленно, но не испуганно, повернули к нему лица. Стараясь не глядеть на них, Борн подошел к отцу и склонился над ним. Глаза старика были прикрыты. Борн шумно выдохнул воздух, который, как оказалось, он задержал в груди еще на карнизе, и волосы на висках лежащего дрогнули. Он открыл глаза и сразу, почти не шевеля губами, произнес:

— Ага, явился. Значит — практически вся семейка в сборе.

Нос его вдруг приподнялся и сморщился, в углу ноздри появилась капелька влаги. В глазах, как в мутной голубоватой воде, отражалось крошечное пламя свечи. И еще в них отражалось дважды лицо самого Борна, и ему почудилось, что в своих этих деформированных лицах он нашел глаза, в которых отразился он сам, с прыгающими в его, Борна, глазах огоньками свечи и, величиной с кончик иголки, но заметно деформированное лицо отца. Капелька влаги из ноздри старика тихо скатилась на губу, по ней — на щеку и спряталась в волосках возле уха, как мышь, тихонько, в траву. И на щеке остался лишь подсыхающий ее хвостик. В сознании же Борна — будто в треснувшем, как Гоби, небе —

пронеслась комета и рухнула в звездную цветочную поляну, оставив за собой угасающий хвост. Борн разогнул спину и присел на кровать, по другую от сестры сторону. Она скорбно улыбнулась ему.

— И вот я собрался в путешествие, — проговорил старик. — Не мешай мне, Лига! Я желаю выговориться. Не слушать же мне вас, ибо что вы можете сказать интересного? Послушаем же лучше меня. Я повторяю: в Дальнее Путешествие. Потому что надеюсь — оно уведет меня как можно дальше, туда, где нельзя уже напугать возвратом. Сюда. И еще я надеюсь на комфорт в пути. Ведь я все же не тот, кто первым убил брата своего! Мне кажется, что путь мой будет полегче, потому что я не первый, а второй. И надеюсь, что в конце пути меня недолго будет задерживать привратник на скамейке для ожидающих. Я надеюсь на все это. И вот, исполнились сроки, и у меня отнимается мое имущество. Потому что исполнились сроки. Я не знаю — достаточная ли это причина для умного человека, не знаю — зачем это все, и даже не знаю, чем отличается Сортировка от сортира. Я даже не уверен, действительно ли Я отправляюсь в Путь. Разве это милосердие — не дать знать, что Ты отправляешься в Путь? Нет, я не ропщу. И не прошу ни о чем. Я только хочу напоследок послушать САМ СЕБЯ. И заодно объяснить вам, идиотам, как ни делаете вы вид, что слушаете кого-нибудь, даже самого Господа — все равно вы слушаете только себя. Нет у вас выбора. И это все, что я понял за долгую жизнь. Мало? Хрен с ним, пусть мало.

Герцог закрыл глаза:

— И еще послушайте... Я люблю вас всех, это правда. И буду любить оттуда. Но поймите и вы, как трудно мне любить, если вы всего лишь маленькие блошки в рядах подобных блошек в бесконечной жизни моей! Как трудно мне вас любить, и потому — трудно прощаться. Но нужно. Я думаю, что во имя моей трудной, немыслимой любви к вам вы мне простите, что последние мои слова будут не о вас, не о твоём долге, сын! Не о твоих ядрах, Лига, не о твоей ране, Жорж, нанесенной тебе родным дядей. Который, кстати, будет тобою почитаться и поддерживаться, да — поддерживаться! Потому что твой дядя ищет свою дочь, но твою сестру. И иначе не будет, я знаю. Вы меня простите, я знаю, потому что старт близок... близок. Я хочу спросить тебя напоследок, Генрих... уверен, все вы меня поймете... все... КАК ТАМ ТОТ?!

Как там ОН СЕЙЧАС, знаешь ли ты? Ты обязан знать: скажи мне, ОН НА СТАРТЕ?

Борн вспомнил выражение лица Инал-кубы, когда тот открывал обреченному труверу секрет государственного значения, и уверенно ответил:

— Он умирает.

— Он пытается начать жить, — укоризненно протянул Герцог, еле слышно. — Я рад. Я сочинил оду... к такому случаю... как не радоваться. Передайте в архив... нет, я успею прочесть, пусть вам...

Щеки старика с ужасающей скоростью проваливались в яму, разверзшуюся между отваливающейся нижней и приподнимающейся верхней челюстью. Борн схватил его тощие плечи, словно пытался удержать его здесь, в комнате. Будто старик смывался за угол, откуда достать его будет невозможно. Потом нижняя челюсть ударилась в грудь — и застыла. Как застыли и выкаченные серые глаза, между которыми торчала вершина вдруг заострившегося носа. В одной ноздре еще сверкала капелька.

Не успел, подумал Борн без горечи и сожалений. И без смущения признался себе в этом. Сын своего отца. Зато успею я, еще подумал он и поднялся с кровати. Он склонился над стариком и поцеловал его выпуклый лоб. И отошел в сторону. Очередь была за другими членами семьи.

Отдаленный взрыв потряс до основания, до подвала, весь дом. Борн понял, что настало его время. Время и его, может быть совсем близкого, путешествия.

Человек, которого Герцог называл "он" или "тот", не дал Борну соврать у тела умирающего. Он действительно лежал на кровати и тоже готовился в далекое путешествие. Но в отличие от своего давнего друга он называл это путешествие — проклятым. Он, собственно, не знал, почему — проклятое, если оно все равно было неизбежным и в каком-то смысле — долгожданным. Но так уж он сопровождал это слово в своем уме: путешествие проклятое, словно ему предстояла неприятная командировка. И далекий взрыв он принял за сигнал приступить к ней. Поехали.

Долгожданным же путешествие было потому, что он давно уже не в силах был выносить назначенное ему испытание, вынесенное ему, как приговор — жизнью и Богом. А неизбежным — потому что все надежды рано или поздно исполняются, хоть и не с нами, а он надеялся на него. К тому же весь этот день жуткие боли рвали желудок и кишечник, а вечером из ушей и носа хлы-

нула кровь. Черная, как тушь. Густая, как смола. Как навалившаяся на грудь ночь. И вслед за кровью, неудержимой, рванула было прочь его душа. И он сдерживал ее теперь, как надорванными вожжами, всеми надорванными силами своего обмякшего сердца.

Он задрожал под окатившей его холодной волной и сквозь неплотно прикрытые веки увидел, что с него сняли одеяло. Давай, давай, подумал он лениво. Все равно теперь... Врач наклонился над ним и сделал инъекцию. Последняя доза, подумал он и фыркнул. И тут же понял, что вместо насмешливого фыркания издал болезненный стон. Дьявол! мысленно воскликнул он. Теперь обрадуются, пидоры...

— Вы что-то хотели сказать, Ваше Высочество?

Черта с два я им что-нибудь скажу, подумал он вяло. Пусть сами говорят, а я послушаю. Он вдруг вспомнил, что уже давно при словах "Ваше Высочество" он испытывал странное чувство, будто рядом с ним возникал и материализовался некий иной персонаж. Со странным ощущением отстраненности своей и словно — собственного небытия при них, таких реальных, он наблюдал появление этого иного и мог бы при необходимости составить его словесный портрет: очень крупный, с большой черной головой, в черном костюме, с большим пористым носом, узкими глазами, весь — Черный Человек. Но он никогда и никому не говорил об этом, и потому не было необходимости в словесных портретах. Однако постоянно исподтишка наблюдал его рядом с собой. И даже ждал его появления. Достаточно было прозвучать словам: "Его Высочество изволил..." — и Черный тут как тут, извольте-здрасьте. Черта с два я им, сукам, что-нибудь скажу, злорадно подумал он. Пусть сами потом знакомятся.

— Суки, — пошевелил губами он все же.

— А?! — вдруг грянул над его ухом гром. Он вздрогнул и выпустил порванные, нет, лопнувшие вдруг вожжи из вялых сердечных мышц, и душа его, обрадованная образовавшейся свободой, протиснулась сквозь ноздри, уши, рот, сквозь все поры его тела. Он сразу стал мокрым и липким, и окрасился черной смолой. Вот оно, подумал он, начало... Или все-таки конец? Как, оказывается, было мало нужно, чтобы начать! Всего лишь чье-то грянувшее в ухо "А!" И — все. И в путь. В проклятое путешествие.

Молнии пролетели сквозь сосок и вонзились в сердце, и оно обмякло, как простой пузырь, водянка. Теперь вся жизнь сосре-

доточилась на краешке его мозга, едва сохраняя равновесие над пропастью, над глубочайшей глубинкой... Он еще успел увидеть, как по знаку Инал-кубы портьер выскочили мордатые парни. Червь, подумал Сержант, и понял значение взрыва: это был сигнал им обоим: ему и Инал-кубе. Значит, подумал он, и напоследок делая верные выводы из неверных посылок, он получил сигнал.

— Что вы сказали, Ваше Высочество? — блеснули молнии очков.

Это был Черный Человек, он его узнал и пошевелил пустотой между челюстями:

— А как ...тот, во глуби... который обещал на моей могиле... согласно учению вели... триеди... чтобы воскре... я воскре... что ОН, ведь ты зна... сука!

— Не придет он, — вылетело из-за очков. — Не явится. Помер.

— Два ...ста ...два стари... ка, — челюсть глухо шмякнула о грудь.

— А? — крикнул Инал-куба, наклоняясь над телом. — А?!

Ответа не было.

— Контрольный выстрел, — пробормотал Инал-куба. И добавил погромче: — Эй, вы! Двое — ваша очередь прощаться! А остальные — к замку. Там что-то неладно, будь оно... Как бы там не сорвалось.

А тот, которого Сержант называл "тот", избегая произносить настоящее имя, уже лежал со скрещенными руками. В изголовье его стояла свеча. Борн положил руку на голову стоявшей на коленях сестры:

— Мне пора.

— Иди, — сказала она, не поднимая глаз.

И он ушел, пройдя между ее молоденькими, хорошенькими сыновьями. Такими хорошенькими, что даже смешно. Он так и подумал: смешно.

Борн уже спускался по лестнице в подвал, когда они нагнали его, Жорж и Яков. Он запомнил их имена навсегда и сразу. Жорж, это тот, у которого забинтована голова. Яков выглядел моложе, возможно и был моложе. Борн вопросительно глянул на них.

— Я хотел извиниться за тот случай, — гордо вскинул голову Жорж.

— Я тоже, — сказал Борн.

— Нет, это я должен извиниться, — повторил Жорж, упрямо задирая подбородок.

— Ладно, ладно, — сказал Борн. — Забудем.

— Не забудем, — вмешался Яков. У него был совсем мальчишеский, петушиный голосок. — А верно оценим.

— Да ты философ, — сказал Борн.

— Да, и мне это надоело, — возразил Яков. — От слов нужно переходить к делу. И Жоржу тоже.

Пожалуй, он все-таки был постарше, чем казалось. Во всяком случае инициативу перехватил он.

— Я слушаю, — сказал Борн, — но у меня мало времени.

— Мы идем с вами, — заявил Яков. Жорж согласно кивнул. Только сейчас Борн заметил в их руках маленькие, словно игрушечные, автоматы, из тех, что прячут под плащом. Тон заявления был решительный.

— Но мне вы не нужны, — возразил Борн, спускаясь на ступеньку ниже, — а матери — очень.

— Дед завещал нам быть с вами, — упрямо сказал Яков и нахмурился. Нос-то, нос-то, подумал Борн... — Вы слышали.

— Я не душеприказчик, — мягко сказал он. — Я и сам могу решать, нужны вы или нет.

— Но ведь мы все равно будем с вами! — почти удивленно произнес Жорж. Решительно, с него можно было писать портрет Молодого Борца. — Вы ведь не можете помешать нам, зачем же мы спорим, ДЯДЯ?

Дядя! мысленно воскликнул Борн. Это меня доконает. И в самом деле — как я могу помешать? В конце концов это их сестра. И время мчится, как обезумевшее, и кусается на бегу, как бешеный пес.

— Вы меня прижали, племянники, — сказал он. — Все равно без вас я в подвале потеряюсь. Ой, что тогда со мною будет!.. Но! Если вы будете соваться вперед, отправлю назад, под юбку. Понятно?

— Понятно, — хором сказали они и заулыбались, будто он угостил их конфетами. Ох, подумал он, душа моя пропащая... Кто совертит малых сих...

— Вы не думайте, мы кое-что умеем, — сказал Жорж, проходя вперед и открывая дверь в подвал. — Мы уже давно в группе.

Вот удивили, мальчишечки! Разве тут кто-нибудь не состоит в какой-нибудь группе? Борн даже не спросил — в какой именно они состоят. Какая разница? Теперь мы все в одной группе, сейчас нас рассортируют на смертников и каторжников. Он дал себе слово при первом же удобном случае отправить их с каким-ни-

будь заданием подальше. Хоть к чертовой, если не собственной, матери. Он испугался, настолько выразился двусмысленно. Тьфу, сплюнул он, вот уж что слюна принесет — то и выплюнешь.

В подвале было темно, вырви глаз. Однако мальчики двигались свободно и бесшумно. Борн держался поближе, стараясь касаться их локтем или пальцами. Прогремев запорами, Жорж откинул в полу люк и включил фонарик. Борн увидел уходящую вниз, под подвал, лестницу. До сих пор он сомневался в существовании хода. Само слово “подкоп” делало эту затею нереальной. Теперь, однако, он имел доказательство тому, что отец не шутил. И потому к нему сразу вернулись и неуверенность, и слабость. Словно его лишили надежды на объективные непреодолимые препятствия, которые объяснили бы — почему ему не удалось задуманное. Если б не свидетели-мальчики, Борн, возможно, повернул бы назад. Ей-Богу, славно, что со мной эти пацаны, подумал он так впервые. Они меня заставят, суку, быть потверже. Вот тебе, добавил он, чтобы не задавался, ры-ыцарь.

Сверху из подвала в затылок дул теплый ветерок. А снизу подымалась могильная сырость. Борн нащупал ногой мягкую землю и отпустил лестницу.

— Теперь прямо, — шепнул Жорж.

Яков шел замыкающим. Борн находился словно в забытом сне, вмещающем в себя необходимый набор готических аксессуаров: подземный ход, провожатые с фонарем, сырость, опасность, неизвестность впереди и тревога в сердце. Он перебросил на грудь автомат и это простое действие вернуло ему реальность.

Жорж остановился и поднял фонарик. Луч упал на низкий потолок со следами, оставленными киркой. Потом переместился на каменную кладку, перегораживавшую тоннель. Если б не узкая под ней щель, лаз заканчивался бы тупиком. Они по очереди легли на животы и проползли под кладкой. Стена, а это не могло быть не чем иным, как замковой стеной, более чем двухметровой своей толщиной придавливала ползущих к мягкой, покрытой пушистой пылью земле. Приложив к камню ладонь, Борн почувствовал вибрацию, словно эта циклопическая кладка была хрупка и нежна, и удивился тому, как, в сущности, неустойчив и проницаем, несмотря на кажущуюся массивность и грубость, материальный мир. Возможно, подумал он, как раз над нами, и как раз в это время по этой же стене карабкается со своими старьевщиками Водемон. Эта мысль пришпорила его.

За стеной лаз сворачивал вправо и еще вниз. На миг Борн задержался перед спуском, а потом съехал на животе вслед за Жоржем, царапая мелкими камешками брюхо. Теперь над ними был каменный потолок, составленный из неправдоподобно огромных плит. Башня?.. мелькнула мысль у Борна.

— Приехали, — сказал тихонько Жорж и погасил фонарь. — Теперь ни звука.

Когда глаза Борна привыкли к темноте, он обнаружил, что под башней не так уж и темно: то ли светились в укромных уголках гнилушки, то ли мигали отовсюду фосфоресцирующие гусеницы, а может быть сквозь щели между плитами из башни сюда проникал свет. И этот свет позволял разглядеть бинты на голове Жоржа, а если оглянуться назад — белую руку Якова на темном тельце автомата. А если еще и приглядеться, то можно было различить замерзших в трещинах камней, совершенно белых скорпионов-альбиносов.

Минуты полторы-две Жорж вслушивался в тишину и даже прикладывал ухо к плитам. Борн снова удивился тому, что тот надеется что-либо услышать сквозь звон, почти крик, стоявший в ушах. Откуда здесь взяться цикадам, подумал он и сразу понял, что ниоткуда: звенело у него в голове, сдавленной плотным воздухом, в свою очередь — сжатым в подушку всей тяжестью замка Капель д'Ор. И ему страстно захотелось поскорей выбраться наверх, наружу, на открытое пространство. Он вспомнил свою гиперклаустрофобию и усмехнулся: диагноз подтверждался. Нереальность происходящего вытеснила из его сердца неуверенность и, что там, страх. Теперь ему хотелось поскорей приступить к тому, ради чего он проделал такой путь.

Жорж указал на одну из потолочных плит, ничем не отличающуюся от соседних, и они втроем подлезли под нее. Расставив пошире ноги, Борн вместе со всеми поднимал эту плиту собственным горбом и радовался тому, что ему еще под силу такая работа и что плита медленно, но все-таки — ползет вверх. В образовавшуюся щель нырнул Яков и вставил в нее клином осколок камня. Потом туда же пролез Жорж. Борн невольно стал замыкающим своей... Группы, усмехнулся он, так и говори — группы. Затем они общими усилиями вернули плиту на место и тогда Борн смог осмотреться.

Подвал был неправдоподобно огромен и абсолютно пуст: безграничный каменный мешок. Прямо над головой Борна в его

потолок была ввинчена яркая лампа, прикрытая металлической сеткой. И хотя после темноты тоннелей свет ее казался почти солнечным, стены подвала оставались в полумраке, и потому подземелье выглядело бесконечным и незамкнутым. Словно нависло над ними каменное, растрескавшееся небо, словно стояли они на растрескавшемся же грунте пустыни, и конца краю им обоим не было. Борн сделал неосторожный шаг и вздрогнул: в ответ на почти неслышный шорох его движения, отраженный от сдвинутых в бесконечность стен, зашевелились и ожили тени других звуков. И прежде, чем Борн понял, что звуки эти рождены его собственным движением, как среди зеркал стоящий не сразу понимает, что образы в них рождены им самим, он уже вскидывал автомат и стрелял туда, где, как ему казалось, зашаркали и затопали бесчисленные подошвы, залопотали приказы жесткие рты и приготовились исполнять их ухватистые руки. То есть — он хотел выстрелить, но забыл снять предохранитель. И это спасло их. В следующий же миг Жорж схватил его локоть и знаком приказал: молчи!.. Тише... И Борн, уже осознавая причины ложной тревоги и устыдившись ее природы, успокоительно кивнул в ответ. Мол, я понял. Не беспокойся. Между всем этим он сделал для себя важный вывод: насчет предохранителя. И потихоньку снял его.

Его начинало беспокоить то обстоятельство, что, как недавно друг Водемон, так и теперь — его племянники начинали занимать главенствующие позиции в их группе. Надежда была только на то, что они сами этого еще не замечали. А если и заметили, подумал он, я постараюсь живо развеять их заблуждение.

Он знаком показал, что пора двигаться дальше, и постарался сделать это как можно решительней. Нет, кажется ничего такого они не думали. На их лицах был написан только азарт. Понятно, с некоторой горечью подумал Борн, сравнивая собственные многообразные ощущения с тем одним, написанным на их лицах. Теперь и Жорж махнул рукой, указывая верное направление. И Борн постарался пойти туда первым, а мальчики, как кошки, скользили за ним. Он старался идти как можно тише, но в сравнении с их скользкой походкой его движение напоминало носорожий бег.

Он остановился, когда из небытия перед ним материализовалась стена, сложенная из тех же плит, а в стене — окрашенная черной краской низенькая дверца, облупившаяся на заклепках. Яков

приблизился к ней и наклонился над замком. По-видимому у него были специальные функции в тандеме. Такие, без которых никуда. Замок ответил на его нежное прикосновение скрипом и дверь медленно приоткрылась. И сразу же Борн услышал голоса.

Голоса были встревоженными, но слов распознать Борн не смог. И потому до тех пор не понимал, чем они встревожены, пока не различил за этими голосами иные звуки: отдаленные тупые взрывы, погашенные массивной тушей башни, и словно стрекотание кузнечиков — автоматные очереди. Борн не мог знать, кто именно ведет там бой, но надеялся, и сам себе удивлялся, что это была группа Матильды. Еще каких-то два часа назад его не могли заставить понять разницу между достаточным и необходимым. Точнее — между избыточным и необходимым. А достаточным оказалось попутешествовать под землей...

Не замедляя шаг, Борн начал подниматься по лестнице. Дойдя до ее половины, он увидел на верхней площадке голову и плечи часового, стоявшего спиной к нему. От неожиданности Борн замер и мальчишки, не успев среагировать на его остановку, ткнулись носами ему в спину. Он заставил себя вспомнить об избранной им же роли и, не отпуская времени на рассуждения, возобновил подъем. Ничего другого, впрочем, и не оставалось делать: что там, за этим часовым, все равно не будет известно, пока не увидишь собственными глазами. На собственной шкуре... Борн уже стоял на площадке, когда часовой изволил повернуться к нему. Увидев за плечами пришельца двух мальчишек, он округлил глаза и вскинул автомат:

— Х-х... как это... Стой, кто идет?

Борн предостерегающе поднял руку, не столько для часового, сколько для племянников:

— Разве не видишь кто, мерзавец! Заикаешься, устава не знаешь? Как службу несешь? Ну-ка, отвечай параграф восьмой устава караульной службы, ну ты, воин!

Часовой заморгал отечными глазками и опустил дуло автомата:

— Восьмой... Часовой обя... нет! Часовой не имеет... Часовой не имеет права давать предупредительный выстрел или угрожать оружием, если узнает в лицо командира или боевого соратника, даже если они не несут службу в данном карауле!

— Ну вот, — сменил гнев на милость Борн. — А то один такой своего капитана в грязь положил и требовал разводящего. А тот дрых в караулке. Так и пролежал капитан в грязи до утра. А ут-

ром заболел и умер. Специально для таких, как ты, восьмой параграф и существует, понял? Кстати, тот, что капитана тогда положил, потом три года баланду хлебал...

— Есть, камрад капитан! — вытянулся по стойке смирно часовой.

— Полковник, — ласково поправил Борн. — И не ори. А то мышей распугаешь. И вообще — я не вашего ведомства. Потому — пан полковник. Кстати, пан Инал-куба прибыл?

— Не могу знать! — прошептал часовой, потев от почтения.

— Правильно, — подтвердил Борн. — И не должен. Запомнил? И смотри, меня тоже того: не могу, мол, знать, если спросят... Не то тебе особый отдел и три года.

— Есть, кам... пан полковник!

— Есть, так есть. Неси службу, воин. И учи устав.

Борн важно кивнул хихикавшим позади мальчишкам и не спеша прошел мимо часового. Одним ударом он отыграл то, что было проиграл в подземном переходе. И теперь мог позволить себе насладиться выигрышем.

— Однако что бы я делал, если б в свое время не уложил в грязь капитана, — шепнул он мальчишкам, — ума не приложу. Правда, та скотина умерла не от простуды, а от пули, которую я в него предварительно всадил. Бедняга не знал пароля. А до того измывался над нами вовсю. И не три года я получил, а все двадцать. Потому что из отпуска, который мне дали за бдительность, я возвращаться не стал. Я хорошо понимал друзей капитана... Так что, мальчики, вы присутствовали при встрече двадцать лет спустя.

— А откуда он вас знает? — шепнул Яков.

— С чего ты взял, что он меня знает? — удивился Борн. — Это я их, олухов, знаю. С тех пор они еще больше поолухели, устав ведь раздулся так, что сам черт не поймет — как и когда нужно действовать. Все дело в примечаниях, ясно? В них же и беда. Больше ничего с тех пор не переменилось, разве что прогнило втрое. Но поглядим — увидим...

— А если б он, все-таки, пальнул?

— Одно из двух, — сказал Борн, до конца не веря собственным словам, — или он промазал бы, или у него вообще стрелять нечем: похоже пост у него третий, складской, а там патронов не дают. Потопали!

Первый этаж башни был как две капли воды похож на подвал: такое же громадное помещение из каменных плит, только получ-

ше освещенное. Да, посреди него еще стоял стол с длинными лавками и пирамиды у стен, в которых, Борн отлично это помнил, хранилось оружие. На лавках сидели пятеро, по-видимому — караул, и резались в карты. Борн сразу для себя отметил, что выход из караулки находился на противоположной стене, где темнела такая же, как и внизу, дверь с заклепками. Если так пойдет дальше, то наверх будем выбираться зигзагами, как по змеевике, подумал он, выпрямляясь и выпячивая грудь. И зашагал мимо караула к той двери. За ним, чуть поотстав, мальчишки. Все вместе они бы выглядели как некое важное лицо и приставленный к нему кортеж. Если бы не грязные костюмы и царапины на лицах. Если бы не бинты на голове Жоржа и не яркий свет.

Но об этих деталях Борн вспомнил только тогда, когда поравнялся со столом. В сторону солдат он старался не смотреть, но мальчишки, по-видимому, не старались, судя по тому, что один из караульных отбросил вдруг карты и вскрикнул. Фарс кончается, подумал Борн, начинается драма. Опера.

Он не стал ожидать, что предпримет караульный, а за ним и его коллеги. Вместо этого он развернулся к столу и выпустил веером длинную очередь из своего автомата, стараясь ни в кого не попасть. Напоследок он на всякий случай выстрелил в сторону часовой, которого они уже прошли. Так, на всякий случай. Караульные оказались ребята хваткие, они сразу же упали под стол. Борн так и не понял — зацепил он кого-нибудь или нет. А вот оттуда, где стоял часовой, донесся звук передергиваемого затвора. Борн не успел, конечно, остановить Жоржа: тот реагировал мгновенно. Не глядя, почти на слух он выпустил в ту сторону коротюсенькую очередь. И Борну пришлось лишь с сожалением констатировать, что племянничек стрелять умеет: выскочивший было из своего угла часовой напоролся на эту очередь и улегся ничком на каменные плиты. И больше не шевелился.

На сожаления, однако, времени не было уж совсем. Борн кинулся к двери. Ребята от него не отставали. Яков снова склонился над замком, но на этот раз ему не пришлось пустить в дело свои способности: дверь раскрылась сама и мальчишки выскочили из караулки. За ними — Борн. Переступая этот очередной порог, он обернулся и погрозил пальцем лежавшим под столом караульным. Он мог бы и не делать этого: те и так не двигались. Яков использовал свой талант иным способом, заперев дверь снаружи.

Перед ними поднималась вверх другая лестница, чуть поуже первой. Вавилонская башня, подумал Борн.

Пока что все шло на удивление гладко. За стеной не стихал, а наоборот — разрастался шум боя, что тоже было весьма утешительно. Только одно смущало Борна, он по-прежнему не знал — туда ли они идут, куда нужно. Он по-прежнему не имел представления о том, где, в какой из башен, и в башне ли вообще находится распределитель. Но другого пути не было. Во всяком случае — пока. Мальчишки же шли уверенно, возможно знали: путь правильный. А может просто верили ему, Борну. И то и другое устраивало его вполне.

И он кинулся вперед, на очередную площадку лестницы. И выскочив туда, как черт из табакерки, столкнулся лицом к лицу с Инал-кубой. И Борн понял, что их дело выгорело, что он спасен. А будь это полчаса назад, он подумал бы, что пропал. Да, теперь, после первых удач, после того, как почувствовал себя командиром и в седле, после того, как настоящий азарт охватил его — он понял, что выиграл дело. Небывалая еще до тех пор, за все двадцать лет, уверенность в своих надеждах, в их осуществлении, в победе — все это он получил, столкнувшись лицом к лицу с кем? С коварнейшим из своих врагов. Парадокс? Чуть? Нонсенс? Нет, усмехнулся он, диалектика. И диалектика эта была такова, что он успел, смог вспомнить о смерти женщины, с которой были связаны эти надежды, одной из тех женщин, без уныния. И успел порадоваться, ощутив при этом боль.

— Ага! Ясновельможный! — воскликнул он радостно. — Ну наконец-то! Не поверите, как я рассчитывал на вас!

Инал-куба реагировал не так уж и быстро, по-видимому его дела ладилась хуже, чем у Борна. А может быть для него все это было буднями, а не праздником. И потому он некоторое время весьма недоуменно глядел на знакомую фигуру, вдруг выскочившую из-под земли, что было близко к истине. Или из ада, как возможно предположил он, что было близко к подписанному им совсем недавно протоколу. И вот, оказывается, ни драматическая поэма, ни протокол, ничто не может удержать эту фигуру там, где ей полагается быть: в адском котле. Ни маэстро Алигери, ни сам маэстро генеральный изобрета... Короче, Инал-куба на свою беду впал в генеральную паузу. И воспользовавшись этой паузой к нему подскочил преступный трувер, обнял его в приливе, вероятно, благодарственных чувств, но... потом вдруг прило-

жил к его ребрам дуло автомата и, признаться, позволил себе сделать это довольно болезненно. Боль сразу привела в чувство Инал-кубу, и в разум. Сначала — в чувство: он было дернулся, то ли — бежать, то ли — наоборот... Потом в разум: он замер и больше таких попыток не делал. Он только позволил себе обвести своих людей значительным взглядом. И — все.

Те стояли чуть поодаль. Борн насчитал девять, с гладкими лицами... ряхами, поправился он, мордами, будками. Они ждали только приказа. Но приказа не было. Борн почувствовал полное удовлетворение и подмигнул им. И некоторое облегчение тоже: Инал-куба вполне мог оказаться не таким сообразительным и тогда... Не хотелось думать, что именно было бы тогда. Да и не было на это времени, опять — времени. Для вечного любое время — точка, аж завидки берут, только и позволил он себе подумать. Он еще болезненней прижал мушку к ребру Инал-кубы. Тот только скрипнул зубами.

— Итак, пан... Пусть ваши мордovorоты, которые будки, отойдут на десять шагов и положат оружие на пол, — сказал Борн. — И быстро, прошу пана.

Мальчики держали свои автоматикки наготове. Их лица пылали. К сожалению, отметил Борн. Он старался держать Инал-кубу так, чтобы тот прикрывал его от охраны, а они вместе, оба, прикрывали бы мальчиков. Но те все время вылезали из-под его крылышка. А зря, подумал он. Инал-куба резко мотнул головой в знак того, что одобряет пока его распоряжение. Мордovorоты действительно только и ожидали приказа: сразу же и подчинились. А потом столпились под стеночкой, ожидая следующего.

— Ложитесь, братья, на пол, — посоветовал Борн. — И помалкивайте, ясно?

Инал-куба снова кивнул — ну прямо тебе игра в испорченный телефон! — и будки легли, как полагается: голова к голове. Борн тоже кивнул, одобряя.

— Сейчас пойдем дальше, пан в кубе, — сказал он. — Надеюсь вы и без комментариев поняли все? Вижу — да. А вот мне парочка комментариев не помешает. Во-первых, как это драгоценный пан так быстро оказался здесь, словно он не в кубе пан, а в десятой степени? Разумеется — пан знал кое-что заранее, а?

Для значительности вопроса Борн чуть приналег на ребро Инал-кубы. Тот снова кивнул, но уже довольно мрачно.

— Так. А может теперь пан скажет, что его старый клиент снова

исполняет один из пунктов его плана? А старается так потому, что дурак? И снова на крючке у пана?

— Не валяйте ваньку, Борн, — вдруг заговорил Инал-куба. — Я не люблю, когда дилетанты тычут мушкой в пузо. У них частенько стреляет палка. Говорите — что надо! Сами знаете: эту сдачу я проиграл.

— Игрок, — без выражения сказал Борн. — Скотина. Палкой бы я не стрелял, а засунул бы ее тебе в жопу. А тут — мушка мешает. Говори, кто заложил?

— Ваша акция была запланирована, Борн. И шла под нашим контролем. До последнего часа. Но тут вы передернули карту. Мы ждали вас...

— На стене? — быстро спросил Борн.

— Во дворе, — после некоторого колебания сказал Инал-куба. — С вертолета.

— Сука, — сказал Борн, наливаясь злобой. — Драная Мата-Хари!

— Ой, зачем такие эмоции, — поморщился Инал-куба, — вы делаете мне больно. Так вот, ваши дружки на восточной стене делают сейчас тью-тью. А ваши горцы на западной — сделают это чуть попозже. Может, снова сдадим карты, Борн? Нет, сдавайтесь сами, так лучше. И сразу. Обещаю рассмотреть ваше дело...

— ...вне очереди, — засмеялся Борн. — Нет уж, пан начальник третьего...

— Берите выше, Борн, и следите за прессой! Я теперь не начальник, а друг народа и президент. У нас историческая ночь, Борн, сегодня устанавливается республика! — Инал-куба возвысил голос, чтобы и будкам было слышно. — Сегодня в лице Его Высочества Сержанта, да сбудется все, что ему положено, переходная эпоха, смычка формаций: демократическая диктатура! Ура!.. скончалась.

Не поднимая носы с пола, будки сотворили нечто, действительно напоминающее уру. Борн был восхищен.

— А повторить — можно? Впрочем верю, можете... Значит, можно вас поздравить, пан.

— Вы дурак, Борн. И сами не знаете, как помогли мне стать президентом. Вместо МОИХ людей, Борн, вы с вашими сделали этот пере... эту перемену. Вы не личность, Борн, пора это усвоить, вы только наживка.

— Но в таком случае, пан, такому маленькому червяку, как я, никак нельзя расставаться ни на миг с такой ценной личностью,

как пан! То есть — друг. Да я ни за что не разомкну теперь объятий! Возможно, что в этом объятии возникнет и любовь между нами, пан. Стерпится — слюбится, а? Ваша ценность возросла, но с нею и моя безопасность! И зачем вы только мне все это сказали... Не-благоразумно. Ах, ну да, после того, как пан свалил последнего Борца, ему уже и благоразумие ни к нему! Теперь можно и срать под себя, понимаю.

— Как Президент я обещаю... — повторил Инал-куба механически.

— Не станем терять время, — возразил Борн. — Вы уже не начальник, но и я еще не кефаль. Мною еще бить нельзя, а я стукну вами. Козырем, так сказать. Как же я соглашусь на пересдачу, если на руках у меня теперь не просто туз, а козырный парень? Шулер ты, президент, и хватит болтать. Яша, возьми-ка его под руку, как барышню, пожалуйста, и не отпускай никогда! А дуло вставь барышне в... нет, пока что подмышку. Прошу пана!

Он напоследок глянул вниз с лестницы, назад, на мордovorотов, и сделал это вовремя: один из них, пользуясь другими, как естественным прикрытием, как раз вытягивал из-за пояса пистолет. Борн выхватил из сумки гранату и отпрыгнул к стене. Времени, чтобы вложить ее в гранатомет, не было. Гранатомета — тоже. Он успел краем глаза отметить, что мальчишки с Иналкубой уже прошли за поворот, в безопасную зону, и сразу же ногтем, как учил Водемон, отжал спуск взрывного механизма. И в тот миг, когда мордovorот укладывал пистолет на будущий труп своего бывшего товарища, граната, вертясь подобно футбольному мячу, вылетела на вратарскую площадку и упала среди распростертых на ней тел. И тут же взорвалась. Борн впервые слышал взрыв на таком близком расстоянии и ему показалось, что его барабанные перепонки лопнули. Будто граната взорвалась в его голове — и там посыпались осколки, зазвенели выбитые стекла и ударили с резкой болью в уши. Он схватился за них руками. Взрыв усилен необычными свойствами закрытого помещения, подумал он... Такая странная, не ко времени и в удивительной форме мысль свидетельствовала о временном помрачении рассудка. То есть — что Борн начал помаленьку привыкать к этому празднику. Что и для него праздник становится буднями. Вот и носи его теперь всегда с собой, ехидно улыбнулся он и выглянул из-за угла. Можно вообразить, как ударила взрывная волна по тем будкам, если у него, стоящего в укрытии, была та-

кая реакция. Если никого из них не задела осколками, все равно, достаточно одного звука. И действительно, там, где еще можно было узнать очертания тела человеческого, Борн не смог заметить ни малейшего шевеления. Тю-тю, сказал он, и побежал вслед за своими мальчишками, тащившими наверх Инал-кубу.

Они уже стояли на площадке, на этот раз со всех сторон, кроме одной, открытой. И вокруг них полыхала взрывами, прожекторами и трассирующими очередями душная липкая ночь. Над всем этим величаво расположился заметно потускневший герб — красная неоновая корона. Зрелище было прекрасным и неожиданно радостным, особенно после того, как Борн провел часть жизни в каменных мешках. Он набрал воздух полной грудью и медленно выпустил его назад.

— Стреляют, — меланхолически заметил Инал-куба.

— Да уж, — согласился Борн. — Небось всех комаров распугали.

С площадки был виден двор и часть стены. Одним своим концом она крепилась к башне, в которую вела нормальная, с заклепками, дверь. Внизу, во дворе стоял вертолет, две ракетные установки рядышком и пяток военных экипажей, из которых вылетали на запад и исчезали за гребнем стены огненные очереди и лучи прожекторов. На гребне было светло, как днем. И оттуда лились вниз такие же огненные струи, как и те, что летели им навстречу, но только пожиже. И пореже. Водемон, понял Борн. Он-таки сумел влезть на башню. И теперь хочет спуститься на стену, чтобы попасть во двор. По ту сторону башни, на востоке, тоже шел, невидимый отсюда, бой. И потому ракетные установки были направлены в ту сторону.

— Что, — с иронией заметил Борн, — своя своих-таки познаша?

— Прогресс требует жертв, — сказал Инал-куба. — И спокойствие народа — тоже.

— А оплот повредить не боитесь? — Борн кивнул на строения посреди двора.

— Народ все восстановит, — возразил Инал-куба, — с революционным энтузиазмом.

— Не знаю такого, — сказал Борн. — Да и ты его не увидишь, сука!

Он с неожиданной для себя самого яростью указал на дверь. И мальчишки потащили туда упирившегося пана. Похоже, что пан тоже входит в новую роль, уж очень быстро тупеет, подумал Борн. А я — для чего я обещал, что он чего-то там не увидит? Заводишь-

ся, сказал себе он, и тоже — тупеешь. Штука ведь заразная. Он сплюнул вниз и побежал догонять своих.

Они вошли в башню, толкая перед собой Инал-кубу. Тот уж совсем забыл упираться, видно не надеялся больше на сноровку своей армии. Слуга народный, подумал Борн, послужи-ка! Позади разрастался автоматный треск и все чаще рвались гранаты. Удивительно, сколько шума могут произвести четыре человека! Борн решительно обогнал свою группу и пошел впереди. Вполне могло быть, что они приближались к цели.

— Эй, не скажет ли любезный пан, не ошиблись ли мы дорогой? Скоро ли распределитель?

— А пан не ошибается? Может ему нужен вытрезвитель?

Да, этот Инал-куба совсем не трус. Однако, нам нужен ответ поточнее:

— Если пан станет грубить, вытрезвитель потребуется ему самому.

— Да вот он, ВАШ распределитель, — буркнул Инал-куба.

Борн настежь распахнул незапертые двери, на этот раз — белые, и понял: да, это здесь.

Под мигающими белесыми лампами в длинном низком коридоре сгрудились толпы в одинаковую хламиду одетых людей. Все они были на одно лицо, и Борн не сразу понял — отчего это. Сначала ему показалось, что это из-за отвратительного мертвенного освещения, и только затем он сообразил, что все эти люди наголо обриты. И мужчины, догадался он, и женщины. Никакой охраны видно пока не было. Однако, следовало держаться настороже. На миг он потерял равновесие: найти знакомое лицо в этой толпе представлялось невозможным. Он представил себе Тамару с наголо обритым черепом и, хотя образ немногим отличался от прежнего, с модной прической "бобрик", почему-то ужаснулся. И только тогда, когда стало ясно: в этой толпе нет никого моложе шестидесяти — успокоился. И стал пробивать себе дорогу сквозь нее, как сквозь прилипающую к телу серую смолу. В его кильватере двигались племянники, зажав между собой Инал-кубу.

Толпа расступалась перед ними, но не слишком охотно. И Борну приходилось расталкивать людей, и что-то говорить, вроде:

— А ну — пусти! Раздайся, море! Ожгу!..

Он и сам не слышал, что орал. Шум стоял невозможный. И запах тоже. Сортировка, подумал бегло он, и та получше будет. Одновременно с жалостью в нем просыпалось неуправляемое от-

вращение к этим людям. Он знал: так нельзя. И ничего с этим не мог поделаться. Он старался хотя бы не смотреть в их неестественно блестящие, непрозрачные глаза. И в широко разинутые рты. Его хватили за руки, о чем-то спрашивали — он отталкивал и шел дальше. В уши ему вколачивали жесткие и жалкие слова — он закрывал уши руками. И наклонив упрямо голову шел дальше, по бесконечному этому змеевнику. Он мог лишь надеяться, что его ребята не отстали.

— Я подавал заявление о пересмотре! Как там?

— Но послушайте, я совсем не тот, за кого меня...

— Плюнь ему в харю, Джим! Это тот самый...

— Дайте вилку, вилку! Уйдет же, сволочь...

— Спасите меня, сэр, умоляю!..

— Все говорят — нет счастья на земле, но счастья...

— Но правды...

— Да я те нос откушу, понял!

В глубине души Борн страстно желал, чтобы Инал-куба остался среди этих людей один. И он оставил бы его, будь что будет! Если б дело касалось только его, Борна... Увы. И он зажал свое желание в зубах, в зародыше.

— Господин Борн! Я вижу — вы близки к пану Инал-кубе! Прошу...

Он вздрогнул и глянул в глаза кричавшего: к его ужасу тот оказался знакомым, тем самым представителем официальной газеты, бравшим у него интервью в день приезда. В день переезда, подумал он и прошел мимо.

— А вот пирожки, господин хороший, пирожки с младенчиной!

— Я писал письмо, господи, вы обязаны читать! Я Жуков, Иван Жуков!..

— Каспар Гаузер...

— А с кислой капусткой — йок?

— Позвольте представиться, паны, лорд Стангон!

Борн снова не выдержал — глянул: представительный подлец с моноклем, как и все бритый наголо.

— Все обвинения против меня, пан, — затараторил обрадованный вниманием лорд, — условны. Что же это такое — интрига, хромоцистоскопия...

— ...педерастия, — в затылок Борну дышал Инал-куба. — Если вы не выведете нас отсюда, придушат. Вы что — ослепли?

Борн наклонил голову и как бык рванулся вперед. Через не-

сколько минут и нескольких волн рева и давления он оказался у новой лестницы с поворотом. На ее ступеньках удобно расположился караул из трех человек, выставив перед собой автоматные рыльца, охранявшие пятиметровую буферную зону. Борн знаком подозвал Инал-кубу. И показал ему караул. Инал-куба сотворил какой-то жест и что-то проорал. Караул почтительно расступился и вытянулся по лестнице вдоль стены в позе "смирно". Инал-куба первым прошел наверх, за ним все остальные. Мальчики, несмотря ни на что, держали лопатки лидера под прицелом, и лидер это знал. Позади ревел океан. Еще один райский круг остался за поворотом. У Борна раскалывалась голова.

— Долго еще? — крикнул он на ухо Инал-кубе. — Когда уже будет то, что нам нужно?

— Уже, — еле слышно ответил тот. Его рожа тоже изрядно поувяла, с удовлетворением отметил Борн. Небось все же трусит, сволочь. Это ведь не то, что в кабинете, на конвейере, в четыре смены загорать. Однако, держится, скотина.

В следующем коридоре было потише. И свет был не такой мертвенный, да и мигал он пореже. Главное — коридор был пуст. В него выходили ряды сливающихся вдали белых дверей, между которыми в простенках висели портреты Сержанта. И только — его. Ряд бесконечно повторенных сержантских черепов уходил вдаль, сворачивая за очередной поворот. Борн искоса глянул на президента: было интересно узнать его реакцию. Тот нахмурился, не понравилось, и пробурчал:

— Макарона. Ему в путешествие следовало дать мягкий протезик. Кастрированный кобель! Козел! Армию развалил...

Борн расхохотался: до сих пор, оказывается, в их армии называли макаронами сверхсрочников — сержантов разных мастей. Смех, однако, вышел задавленным, так как в это время Яков открыл одну из белых дверей, первую. Им предстояло сделать это и со всеми остальными, пока не обнаружится то, что им нужно. Жорж держал Инал-кубу под локоток.

— Может пан скажет — где именно?

— А пана за это отпустят?

— Зависит, — отрезал Борн.

Инал-куба указал подбородком вдоль коридора. Они быстро прошли метров тридцать и на очередной рывок подбородка, на этот раз — влево, Борн ответил одобрительным своим. Яков резко рванул ручку двери со знаком №, но без цифр. Она была запер-

та. Он сунул в скважину свой волшебный инструмент, дверь распахнулась... В лицо ударил спертый цветочный запах. Маленькая прихожая была уставлена горшками с растениями, которые и выглядели, и пахли опасно, словно ядовитые гады. Мимо горшков, петляя, шла тряпичная дорожка с дырками, будто ее протирали бесчисленные ноги. Борн бросился по этой дорожке. Племянники, волоча за собой пленника, как драгоценнейшее из имуществ, за ним.

— Осторожно! — прохрипела драгоценность, багровея, — не спешите, Борн!

В его тоне Борну почудилось неладное. Впервые за все время в голосе Инал-кубы прозвучал страх. Борн похолодел и, подчиняясь совету, подошел к стеклянной перегородке и заглянул сквозь нее в собственно комнату №. То, что он увидел, бросило его из холода в жар. Теперь стало понятно, чего боялся Иналкуба: под такую жаркую руку Борн мог прихлопнуть его на месте, без рассуждений. Как видно, Иналкубе желательно было этого избежать. Потому-то он и бормотал так смущенно...

— Развели анархию... Накопитель и распределитель в одной башне, придурки!

За стеклянной перегородкой был рай. И этого Борн не ожидал. Только в самых мрачных своих фантазиях, нет, не в своих — чьих-нибудь наркотических видениях можно было найти такую сцену. Сначала он, собственно, не понял — кто из этих женщин Тамара.

На разрисованном ромбиками ковре размерами во всю комнату свились в клубок несколько тел. Еще два тела оплели кресло. На тахте, отдельно друг от друга, трое: два совершенно голых негра и полуодетая барышня, в которой Борн узнал... и тут же понял, что ошибся: это была не актриса, загримированная под Иоланту, а сам оригинал. Подтверждалось, что грим актрисы был превосходен, только одно различие нашел Борн между нею и оригиналом — на спине ее виднелся отчетливый и немалый горб. Горб был прекрасно виден отсюда, из-за перегородки, потому что обладательница его стояла на коленях, опираясь на локти, в профиль обратясь к Борну. Позади нее, тоже на коленях, но не опираясь на локти, стоял один из негров, и колени его уходили в мягкую тахту. Негр притиснулся животом к ягодицам Иоланты и одновременно ладонями массировал ее горб. Зубы его сияли. Второй негр лежал на спине под Иолантой и она прижималась к нему грудью

и пупком. В то же время ее расширенные, ненормально блестящие зрачки были уставлены на ковер, где возилась куча тел, и на тех двоих, в кресле. Можно было поклясться: если перед такими глазами выпалить из револьвера — они не моргнут.

В кресле сидел белый парень, держа за волосы женскую голову у своего паха. А на выпяченном над его коленями женском затылке выступили капли пота. На ковре были только женщины, понял Борн. Ноги, головы и ягодицы сплелись там в такой иероглиф, что догадаться об их принадлежности было невозможно. Из-под одного, особенно полного бедра в ямочках, того самого, к которому ремнями крепился крючкообразный прибор, торчала знакомая, стриженная ежиком макушка. Борн сморщил лицо и затрясся всем телом: глаза Тамары были точь-в-точь те, которые смотрели на все это с дивана.

Кровь ударила в голову Борна. Он ногой толкнул стеклянную перегородку. Звякнули и разлетелись осколки. Он ворвался на ковер и чуть не упал, зацепившись за его свернувшийся край. Только одна мысль сверлила ему мозг: о! если б мальчики ослепли!.. хоть на миг единый — пусть ослепнут! В ноздри протискивался запах конюшни, духов и марихуаны. И еще сивухи и блевотины. Краем глаза он заметил блеснувший в уголке шприц и рассыпанные рядом ампулы. Жидкость в ампулах отсвечивала алым. Он схватил верхнее тело из валявшихся на ковре и отбросил его в сторону. Рядом с ним вдруг оказался Жорж, пытавшийся раздражать ему, оттаскивая второе тело, но оно выскользивало из его рук и он чуть не плакал от вдруг проявившегося бессилия.

Наконец, как подлинный шахтер, Борн докопался до искомого. За ноги Тамары цеплялась толстая блондинка, у которой изо рта вытекала желтоватая пена, а бока были покрыты язвами от бесчисленных инъекций. Борн ногой оттолкнул толстуху и схватил за плечи дочь. Она закричала, приплывывая в его лицо:

— Пусти, мерин! Подруга, меня умыкают! Куси его!

С дивана на все это глядели нисколько не оживляющиеся зрачки, хотя Борну показалось, что Тамара призывает на помощь именно их обладательницу. Жорж зажал Тамарины ноги подмышкой и они вместе потащили ее к выходу. Яков сорвал плащ с Инал-кубы и накинул на сестру. Она вдруг притихла, будто уснула. Борн придвинул свое лицо к трясущейся харе Инал-кубы:

— Где окна на запад?

— На той стороне, — Инал-куба отвечал куда охотней, чем раньше.

Прикладом автомата Борн саданул в закрашенное матовой краской стекло, оно хрустнуло и снова, как прежде, распростертое над Пупком астматическое дыхание ночи стиснуло ему грудь. Он выглянул в пробитую им дыру. Прямо под ним на гребне стены, всего метрах в трех, лежали четыре темные фигуры. Из их рук время от времени вырывались трассирующие очереди. Гораздо чаще рядом с фигурами из камней высекались невидимым кресалом искры: по фигурам вели огонь снизу, со двора.

— Водемон! — крикнул Борн что было сил. На самом деле — тихо и хрипло. И пришлось повторить: — Водемон!

Он боялся услышать в ответ незнакомый, чужой голос. Однако этого не случилось.

— Хэлло, май дия!.. — завопил снизу Водемон, но головы от своего ложа не отрывая, чтобы этого не проделали окончательно те, снизу. — Сигай сюда, касатик! Давненько не виделись! А ты не спешишь, браток...

При звуках этого голоса Борн почувствовал необычайную радость, словно встретился с загадочным другом юности на знакомой с детства улице через двадцать лет. А между тем он только давеча узнал о существовании Водемона. Если, конечно, не придавать значения их встречам на иной сцене. Борн уступил место у окна племянникам и они за руки спустили вниз бесчувственную Тамару. Последние полметра ей пришлось пролететь одной, но на стене ее приняли твердые руки. Те же руки обвязали поплотнее плащ вокруг ее тела. Затем наступила очередь господина президента. Его приняли, как и первую посылку, с комфортом.

— Этого держи покрепче, — посоветовал Борн, — чтобы не свалился со стены. Он может покончить самоубийством.

— Ба-ба-ба! — донеслось снизу. — Неужто я удосужился видеть так близко пана начальничка! И не через его стол! Да ведь это мечта моей жизни. Борн, бродяга, позволь я его сейчас, как сверчка...

— Он не начальник, — возразил Борн, спрыгивая следом. — Бери выше: это наш с тобой отныне монарх. Пока мы здесь развлекались, он под наш шумок прибрал к рукам весь Пупок и окрестности.

— Ну и хватка, — пробормотал Водемон. — И куски же он гло-

гает, не то что мы, ничтожные... Так это он меня стеклышками осыпал?

— Нет, я, — Борн обнял его, насколько это можно было проделывать лежа. — Здорово, брат. Кажись — недурно?

— Еще бы! Ну, а это что за гуси?

Мальчики прыгнули друг за дружкой с подоконника, как кошки.

— А то мои племянники, — сказал Борн.

— Ложись! — вскричал Водемон. — А то в конце концов и эти косорукие вмажут.

Борн послушно рухнул на камень. Мальчишки легли важно, будто в пляжный песочек под нежными взглядами дам. Борн взглянул за Водемона: там неподвижно лежали и экономно подстреливали старьевщики. Лежащий рядом Инал-куба напоминал теперь вареную колбасу. Похоже, он ничего не соображал без своих солнечных. Приглядевшись еще, Борн понял, что по ним стреляли не только со двора, но и снаружи, с внешней стороны периметра. Это привело его в некоторое уныние. Но рядом лежал Водемон. И потому Борн продолжил рекогносцировку. Один из старьевщиков постреливал в обратную сторону — внешнюю. Значит они давно знали об окружении. И по всей видимости их это мало беспокоило. Стало быть — нечего беспокоиться и ему, Борну. Ей-Богу, он так бы и лежал всю жизнь, постреливая, рядом с друзьями, на этой холодной стене, и пусть бы оно все шло ко всем чертям. Только чтобы не вспоминать, что он видел там, в башне.

— Чего разлегся? — толкнул его локтем Водемон. — Не спать сюда пришел. Пора тикать, хлопец... этот, рыцарь!

— У меня есть одна идея... — начал Борн.

Но Водемон перебил его:

— Короче! У нас нет времени на твои сирвенты!

— Вон тот вертолетик — его, — Борн в свою очередь ткнул ботинком Инал-кубу. — А он сам — наш. Усек?

— Но я не управлюсь с вертолетом, — был мгновенный ответ.

— А они? — Борн кивнул в сторону старьевщиков.

— Ты прав, — сказал Водемон, — они могут все. Это гениально, трувер, вперед, а не назад!

Голос его заметно повеселел. Возможно, он не любил отступать. Хотя давеча проделывал это довольно резво. Он наклонился к лежавшему рядом старьевщику с бородой и что-то быстро ска-

зал ему. Тот высокомерно пожал плечами. Борн понял этот жест, как "еще бы"! Тогда Водемон добавил что-то и бородатый подо- звал своего товарища, обращенного ко внешней стороне стены:

— Гога! Остаешься с Вальдшнепом тут. Прикроете нас.

— Вальдшнеп валяется с разнесенной черепушкой, — был ответ.

Бородатый помолчал: третий старьевщик действительно не стре- лял. Бородатый еще помолчал — и это была вся эпитафия убитому товарищу:

— Значит остаешься один. Уйдешь по стене, когда вертолет взле- тит.

— Гут, — сказал старьевщик, не поворачивая головы.

Было ли это равнодушие, или храбрость, Борн предпочел не ре- шать этого вопроса, поскольку результатом поиска было б в лю- бом случае одно чувство: стыд. Он не был уверен, что в подобных обстоятельствах повел бы себя столь же естественно, просто, слов- но все происходило в полном уединении, на тайной лесной поляне. Где цветут скромные цветы с горьким запахом. Бородатый вынул из-под плаща свернутую кольцом веревку и не раздумывая бросил вниз, во двор. Оставшийся в руках конец он прикрепил к арматур- ному штырю, торчавшему из стены. Залежавшийся на камнях Водемон первым ухватился за веревку и соскользнул к основанию замка. За ним отправился Инал-куба, по-видимому — совсем ли- шившийся дара речи. Можно было не беспокоиться, что ему придет в голову смяться. Борн подумал — что будет, если вертолет неис- правен, и тоже взялся за веревку.

— А ее вы берете с собой? — спросил, указывая на неподвижную Тамару, Жорж. Ее контуры почти сливались с тенью стенных зуб- цов. Борн вдруг понял, что отодвинул ее вглубь памяти так дале- ко, что чуть не забыл о ней. Он испугался шуток своего мозга, будто это был плохо управляемый износившийся инструмент. Я устал, успокоил себя он. Просто дико устал.

— Конечно берем, — ответил он. — И вас тоже.

— Нет, — возразил Жорж. — Мы должны вернуться. К маме. И еще похороны...

— Мы пройдем, — уверенно сказал Нков. — Круглоголовые стре- лять не умеют. И головы у них дырявые.

— Вообще-то есть еще один выход из подкопа, — туманно доба- вил Жорж. — Но с НЕЙ вы там не пройдете. Потому я и не пред- лагаю.

— Нам в город и нельзя, — задумчиво сказал Борн. Водемон снизу с нетерпением дергал веревку. Бородатый ничем не проявлял своего беспокойства. Борн вздохнул: — Что ж, спасибо за все. Не скажу — надеюсь встретиться, скажу — авось. И поклон матери.

Он зажал сердце и веревку в кулак и соскользнул вниз. Его приняли руки Водемона. Инал-куба тихонько, как мышь, сидел на земле. Бородатый втянул веревку и обвязал ею Тамару. Затем спустил ее тело во двор, проделал все это в обратном порядке — и спустился сам. Потом сверху сбросили второй конец...

Вокруг все было без перемен, стреляли не чаще, чем раньше. Борн бросил последний взгляд наверх, увидел, как по стене к другой башне, уже различимые в светящем небе пронеслись две словно кошачьи тени, и вместе с бородатым потащил Тамару вслед за Водемоном. Тот опередил их шагов на пять, толкая перед собой совершенно увядшего президента.

Два экипажа из стоявших посреди двора сильно пострадали от взрыва неудачно пущенной ракеты. Другие, и вместе с ними вертолет, уцелели. Дойдя до того места, где кустарник, росший под стеной, кончался и начиналась утоптанная площадка, Водемон остановился.

— Значит — так, — шепнул он подошедшим носильщикам, — я беру этого кретина и бодрим маршем к вертолету. До него метров пятьдесят... Значит, через две минуты мы там. Если нас остановят, я им, олухам, разъясню диспозицию... Все! Пошел!

Все это Водемон проговорил с обычной нехорошей улыбкой, и снова Борн почувствовал, что сдает главенствующие позиции. Значит так и нужно, устало подумал он. Только бы добраться... Что-то все же обеспокоило его в словах Водемона, но что?

Он всмотрелся в серый туманчик, отыскивая в нем фигуры ушедших, и вдруг зажмурил веки: вся площадка осветилась режущими воздух лучами прожекторов. Когда он разлепил зудящие веки — фигуры посреди площадки уже были пойманы в световое пятно. Тогда он снова зажмурил глаза — теперь от нежелания видеть, как эти фигуры падают, скошенные, словно в тире плоские зайчики и белочки. И снова открыл их, когда бородатый яростно толкнул его в бок:

— Скорей! Пока они светят на них, мы спокойно проскочим!

— Эй, вы! Смурики! — вдруг загредел зычный и превосходно поставленный голос Водемона. Широко раздвинув ноги и выдвинув на авансцену Инал-кубу он в упор смотрел на спящие его

прожектора. — Ну-ка гляньте, кого я тащу на веревочке! Узнаете? Так вот вам мои условия...

— Пошли!

Бородатый так сильно толкнул Тамирино тело, что Борн не устоял и сделал несколько шагов по направлению к вертолету. Оставалось лишь сделать все следующие, ни на что, впрочем, не надеясь. Между тем бородатый тщательно обходил световое пятно, метров за пять от его четко нарисованной на площадке окружности. Только тут Борн до конца понял его мысль: пятно ослепляет и самих прожектористов, и изготовившихся к стрельбе солдат, а стало быть...

— Мои условия вот какие! — гаркнул Водемон. — Вы нам дадите вертолет и отключаете свои хлопки. Мы вам возвращаем президента. Может кто из вас думает, что обмен неравноценный? Согласен, но другого нет. А может кто не знает, что вот это дерьмо ваш президент? Так узнайте сейчас. И, если кто станет палить из хлопка, я проткну вашему солнышку пузо вот этой штукой.

И Водемон поднял над головой свой автомат.

За всем этим, как ни странно, Борну и бородатому удалось подойти к вертолету вплотную. Его дверца была распахнута. Бородатый заглянул внутрь: там никого не было. Тогда они вдвоем втащили Тамару в кабину и аккуратно уложили ее в задней части вертолета. Борн сразу вернулся к двери, а бородатый подскочил к приборной доске и включил зажигание.

И Борн увидел, как приближается к вертолету, постепенно вытягиваясь в овал, световое пятно. И как неуклонно оставаясь в центре этого овала, одетый в царский, сотканный из голубых и желтых лучей, костюм, к вертолету медленно приближается Водемон. И на голове его сияет голубая и желтая, и розовая корона. Автомат он держит, словно волшебный жезл, и к груди прижимает добычу: мертвую собаку. Это была поистине библейская сцена. И тень Водемона клубилась в многоцветном туманном свечении, как тень льва, вышедшего в утреннюю саванну. В утреннее голубое свечение.

Борн, понимая все же, что Водемон его не видит, тем не менее помахал рукой, призывая друга ускорить шаг. Впрочем, тот и без напоминаний двигался все быстрее и быстрее, словно вертолет притягивал его своей массой. Инал-куба с трудом поспевал за ним. Однако, когда они подошли поближе, Борну стало ясно: президент снова упирается.

— Его обязательно с собой, — сказал Водемон. — И быстро: сейчас они все начнут палить, гады. Когда поймут, что мы его не отпустим.

Они втолкнули отбивавшегося Инал-кубу в вертолет. Там он набросился на бородатого пилота, уже закончившего свои приготовления, и тот, со своей обычной сноровкой, легонько трахнул президента по шее. Инал-куба осел и затих где-то под креслом. Борн втащил ослабевшего Водемона в кабину и захлопнул дверцу. Пилот поддал газу и в это время солдаты открыли плотный огонь по вертолету. В основном пули летели мимо, но это было временное дело, пока прожектора обеспокоенно метались по двору, выискивая сообщников. Не найдя их, они свели лучи на изготовившемся к старту аппарате. И тогда попадания участились. В дверце появилось несколько дыр. Лишь бы не базука, подумал Борн.

Вертолет уже отрывался от земли, покачиваясь и очень кренясь на правый бок. Медленно, слишком медленно, казалось Борну. И вдруг машина резко рванула вперед, описала крутую восходящую дугу, почти касаясь зубцов стены, и, развернувшись лбом к замку, остановилась.

И тогда Водемон, с усилием дотянувшись до каких-то рычажков, пошевелил ими. В иллюминаторах справа и слева сверкнуло пламя, вертолет качнулся, Борн приник к стеклу: в центре двора, куда протянулись от вертолета огненные стрелы, полыхнули два вулкана. А на том месте, где только что еще стояли военные экипажи, и вокруг них, где уже начинали собираться выскочившие из укрытий солдаты, разверзлась адская каверна. Вертолет еще раз качнулся, ложась на бок, и отвалил от замка, как овод от коровьего бока. Водемон тяжело упал на свое место.

— А жаль, что не ядерные, — сквозь зубы прошипел он.

Очевидно, он испытывал ужасную боль. Борн хотел было глянуть, куда его зацепило, но Водемон ожесточенно оттолкнул его. Старьевщик, ни разу не глянув назад, уводил вертолет за пределы Пупка к Океану, будь он проклят. В своем уголке завозился и пришел в себя Инал-куба, поршень ему в зад. Борну казалось, что боль пронизывает не Водемона, а его самого. И он не знал, что с ней делать. Бессилие незнания порождало злобу, злобу ко всему вокруг, и эта злоба увеличивала боль. И чтобы хоть немного ослабить это изматывающее, никому ненужное чувство, он сказал:

— Ну давай пристрелим этого... хочешь?

— И так подойдет, — ответил Водемон ослабевшим, но все еще поставленным голосом, перекрывающим рев моторов. — Спросика его лучше — не он ли есть Черный Человек?

Очевидно, ни капли юмора не оставалось у Борна, если он всерьез принял реплику Водемона.

— Ты, гнида! — повернулся он к очухавшемуся президенту. — Тебя спрашивают!

— Позвольте мне выйти! — сказал Инал-куба. — Я ничего не знаю.

— Врет, сука, — сказал Водемон устало. — И перед смертью — врет. А я бы сейчас с удовольствием узнал... Напоследок. Эх, жаль, что не ядерные...

— Что ты, брось! — испуганно воскликнул Борн. — За что ты их так? Это ведь рекруты, мальчишки... Такие, как мои племянники.

Ему было все равно — что говорить, лишь бы не молчать. Усталость Водемона приводила его в ужас.

— Дурак ты, братец, — возразил Водемон. — Ты забыл — С КЕМ они были сегодня, твои племянники. А эти рекруты не случайно по ту сторону. Они сами туда просятся, и если нужно — палят в собственных дядей. Вот в таких, как ты. Не грехи на своих мальчиков, дурак. И Бог с ними, с рекрутами... Все равно никто из них не сравнится с Мати-ильдой моей. Ты прости, что я тебе мало рассказывал про истинное положение, я не хотел, чтобы ты вешал раньше времени нос. Понял?

— Ага, — подтвердил Борн.

— Все — враки, — вдруг заключил Водемон. — И я — враки. И люблю врать. Позвольте, камрады, уточнить свою формулу... Называть чистилище раем — ханжество, адом — снобизм, а вот давать название тому, чего и вовсе нет, скажем — СОЛНЦУ... это уж и я не знаю, что это такое. По-моему — мерзость. Хотя ругань, говорят, не аргумент в споре... Плевать. На это у меня тоже своя точка зрения. У одного писателя клоп на какой-то планете спорит с человеком, чья, мол, цивилизация выше и крепче. И выигрывает дискуссию по всем статьям: логикой, фактами, синтаксисом, клоп. Тогда человек обозлился и говорит: а вот я тебя, гниду, прижму сейчас ногтем, и тью-тью! Что тогда скажешь? Клоп поежился, но возразил: это не аргумент в споре. Так вот я полагаю, что аргумент. Если у меня на руках автомат, да парочка гранат —

я напичкан аргументами, камрады! И пусть только ОДИН Я, плевать. Я всегда был одиночкой, Бертран. Ты знаешь. Я никогда не верил в успех добрых предприятий. Но я всегда вступал в них и испытывал удовлетворение, Бертран, приводя свои аргументы. Да, так я жил. Умер бы, начал все сначала. С тобой охотней, чем с другими. Давай, Бертран, женись по-новой и наплоди детей. И стану при них гувернером. А потом мы по-новой станем соединять твою семью моими аргументами...

— Да, — сказал Борн, — заварушка была славная.

Разговорчивость Водемона приводила в еще больший ужас, чем его усталость.

— Только так и восстанавливаются семьи, — сказал Водемон. — Более того, только так и создаются.

— Самолеты, — хладнокровно заметил старьевщик.

И резко наклонил лоб вертолета. Инал-куба испуганно пискнул и притих. Похоже, он молился. Если, правда, знал — что это такое. Борн выглянул в иллюминатор: прямо под ними, метрах всего в двадцати, не больше, вскипала вздыбленная винтом вертолета поверхность океана. Водемон попробовал открыть иллюминатор, чтобы просунуть в него автомат, но тот не открылся. Друг ругался так, как до того Борну за всю жизнь не приходилось слышать. А после того — он не мог вспомнить из его речи ни слова. Точно так же, как он уже никогда не смог вспомнить имени того, кто в одиночестве остался на стене.

Все произошло так быстро, как только это и может происходить. Сначала был внезапно приблизившийся рев, потом удар в бок вертолета и удар головой в спинку пилотского кресла. Затем тишина вместо работы двигателя и открытая дверца, из которой он выпал, прижимая к груди Тамару. После он не мог вспомнить, в какой именно последовательности все произошло. Многократно потом обдумывая порядок случившегося, он пришел к версии, с которой никогда не спорил. Но не потому, что она была истинной, просто другой он не имел. И только. Как это было на самом деле — он не помнил. И знал это.

После первого залпа с самолета Водемон закричал:

— Дверцу открой, дверцу!

Борн всем телом навалился на бронированный лист и отодвинул его. В дыру, открывшуюся в пустоту, ворвался плотный дикий ветер. Вертолет наискось падал в воду. Мимо дыры промелькну-

ло стремительное тело, словно акула у бока жертвы. Самолет заходил на вторую атаку.

— Бери Томку! — орал Водемон, тщетно пытаясь встать.

Пилот сидел прямо, и только спина выдавала его напряжение: согнутая в дугу, со втянутой в плечи головой. Борн схватил плащ, в который была завернута Тамара, и потащил его — еще не зная, что с этим делать. Несколько раз он падал и преобильно трескался об острые углы.

— Давай, давай, прыгай!

Он с ума сошел, подумал Борн. Куда — прыгай?

Тогда мимо него пронесся Инал-куба. Оттолкнув Борна от двери, он с криком: это он! это Инал-пацха! врешь, не возь... выпрыгнул из вертолета и пропал. Преодолевая ураганный ветер, Борн выглянул наружу: вода кипела уже метрах в десяти под ними. Водемон пригрозил автоматом — прыгай! Отчаянно глядя на него, Борн обнял Тамару и прыгнул. Удар обжег его и оглушил, но плаща он из рук не выпустил. Через секунду, придя в себя, он обнаружил поблизости берег, рукой подать. И тогда он задрал голову к небу и увидел уходящий крутыми зигзагами, словно в предсмертном воинственном танце, вертолет, то падающий к поверхности океана, то наоборот — взмывающий ввысь. И над ним — ключующий его темя острокрылый самолет.

В следующий миг Борна накрыла небольшая волна, а когда он вынырнул — помышляя только о том, чтобы не выпустить из рук плащ, — вертолета в небе уже не было. Ни на востоке, ни на западе, откуда и куда тянулась береговая линия. И над серединой океана его тоже не было. И тянулся за ближайшие горки, как стрела прямой, след исчезнувшего самолета, словно подчеркнув догоравший в небе тихий огонек: синюю раннюю звезду.

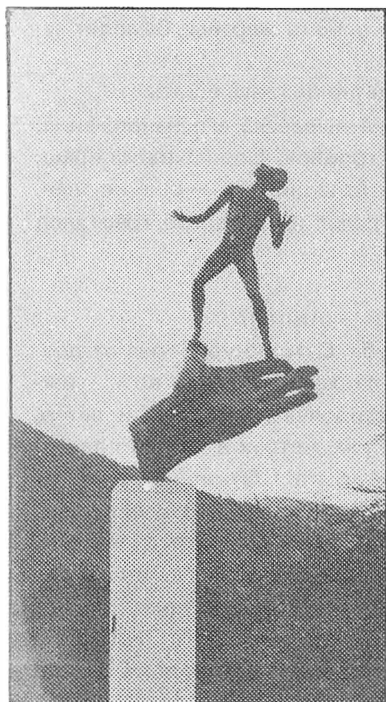
В ушах стояло эхо, то ли плеснувшей туда волны, то ли приглушенного ею же далекого взрыва. В глазах все плясал выпавший в трещину неба утренний синий огонек.

Борн еще выше задрал подбородок к растрескавшемуся, как Гоби, небу и растрескавшимся языком, губами, ртом, всем растрескавшимся существом своим завопил:

— Во-о-де-мо-он!.. О-ох... Водемон...

Борис Фальков — композитор, писатель, эмигрировал из СССР в 1987 году. Живет в Мюнхене.

Сын Брамина



Герман Гессе

Под сенью родительского дома, на солнце речного берега у лодок, в тени салового леса, в тени смоковниц вырос прекрасный сын брамина, юный Сиддхарта, вместе с Говиндой, своим другом, тоже сыном брамина. Солнце покрывало загаром его белые плечи на берегу реки, при священных омовениях, во время жертвенных обрядов. Тень вливалась в его черные очи в манговой роще, при песнях матери, в часы бесед с отцом и другими мудрецами. Давно уже Сиддхарта принимал участие в этих беседах; вместе с Говиндой упражнялся он в словесных состязаниях, в искусстве созерцания, в науке самоуглубления. Уже он в состоянии был беззвучно произнести слово "Ом"*; это слово слов — беззвучно выговаривать его при дыхании и выдыхании, с сосредоточенной душой, с лицом, озаренным сиянием ясной мысли. Уже в глубине своего существа

ПУТЬ МУДРОСТИ

(Сиддхарта)

* Важнейшая часть жертвенного пения обозначалась священным мистическим слогом "Ом" (Ом).

Философская повесть "Сиддхарта" — итог глубокого увлечения Г. Гессе "мудростью Востока" и одна из вершин его творчества. Повесть была опубликована по-русски (в анонимном переводе) более шестидесяти лет назад издательством Н. Гудкова (Рига); с тех пор это издание стало библиографической редкостью. Предлагаемая читателю публикация сделана с этого (заново отредактированного) перевода. Фотоиллюстрации — работы Арнольда Гехтмана (Рамат ха-Шарон).

он познавал Атмана*), непреходящего, единого со вселенной.

Радость наполняла сердце отца при виде сына, столь одаренного, жаждущего знания: великого мудреца и священнослужителя провидел он в нем, князя среди браминов.

Блаженством наполнялась грудь матери, когда она глядела на сына, когда видела, как двигался, садился и вставал сильный, прекрасный Сиддхарта, как ступали его стройные ноги, с какой психической благопристойностью он ее приветствовал.

Любовь зарождалась в сердцах юных девушек, когда Сиддхарта с его светлым лицом, с царственным взором, с узкими бедрами проходил по улицам города.

Но всех больше любил его Говинда, его друг, сын брамина. Он любил его голос и чарующие взгляд очи, любил его походку и исполненные благородства движения, любил все, что делал и говорил Сиддхарта, — но всего больше он любил его душу, его огненные мысли, его пламенную волю, его высокое призвание. Ибо Говинда знал — не рядовым брамином станет его друг, не бездумным исполнителем жертвенных обрядов, не алчным продавцом заклинаний, не тщеславным пустым краснобаем, не злым и коварным жрецом, — как не будет он и добродушным глупым бараном в многоголовом стаде. Да и он — Говинда — не хотел стать одним из тех браминов, каких существуют десятки тысяч. Он хотел во всем следовать за Сиддхартой. И если Сиддхарта когда-нибудь станет богом, если он приобщится к сонму лучезарных, — тогда и он, Говинда, последует за ним, — как друг, как спутник, как слуга и копьеносец, как тень.

Все любили Сиддхарту. Во всех он вселял радость, для всех был утешением.

Но сам Сиддхарта не знал радости, не знал утех. Гуляя по розовым дорожкам сада, сидя под голубоватой сенью Рощи Созерцания, совершая ежедневные очистительные омовения, принося жертвоприношения в тенистой глубине манговой рощи, с отменной благопристойностью в каждом своем движении, всеми любимый, радуя все взоры, — сам он, однако, не находил радости в своем сердце. В струях речных вод, в мерцании ночных светил, в

* В памятниках Ведийской литературы Атман (что значит — дыхание) — центральная "дыхательная" сила, действующая и творящая в глубине каждой индивидуальной жизни. С течением времени из этого представления об Атмане создалась идея всеобъемлющей, всеоживляющей мировой души. В более поздних частях Веды Атман отождествляется с Браймой.

сиянии солнечных лучей мелькали перед ним невнятные образы, носились беспокойные мысли. Странные грезы и душевную тревогу навевали на него и курения жертвенного фимиама, и стихи Риг-Веды, и поучения древних браминов.

Сиддхарта испытывал муки неудовлетворенности. Он чувствовал, что любви родителей, любви Говинды недостаточно, чтобы навсегда и всецело осчастливить, успокоить и насытить его. Он понимал, что отец и другие учителя уже передали ему большую и лучшую часть своей мудрости, что они уже перелили все свое богатство в его алчущий сосуд, — но сосуд не наполнился, мысль не удовлетворена, душа не успокоилась, сердце не умиротворилось. Омовения — вещь хорошая, но не водою же утолить жажду души и унять тревогу сердца? Превосходны жертвоприношения и вознесение молитв к богам — но разве этого достаточно? Разве жертвоприношения дают счастье? А боги? Действительно ли творцом мира был Праджapati*, а не Атман — Он, единственный, Всеединый? Ведь и боги — существа сотворенные, как я и ты, подчиненные времени. Имеет ли смысл приносить им жертвы? Следует ли поклоняться только Единственному, Атману? Но где искать Атмана, где он пребывает, где бьется его извечное сердце? Быть может в нашем собственном Я, в его сокровенной глубине, в том Неуничтожаемом, что каждый носит в себе? Но где же это Я, это сокровенное, это начало начал? Оно не в плоти и не в крови, не в мысли и не в сознании, — учат мудрейшие. Где же оно тогда? Существует ли иной путь, чтоб проникнуть туда, к этому Я, ко мне, к Атману. И стоит ли его искать? Увы, никто не знает его, — ни отец, ни наставники и мудрецы, ни священные жертвенные песнопения. Все-то они знают, всем и даже более чем всем, заняты — творением мира, происхождением речи, пищи, вдыхания и выдыхания, соотношением чувств, деяниями богов. Бесконечно много знают они, но какую цену имеет все это знание, если не знаешь Единого, важнейшего, единственно важного?

Правда, во многих стихах священных книг, в особенности в Упанишадах* Самаведы, говорится об этом сокровенном и изна-

* Праджapati — главенствующий над всем существующим — произвел из себя миры с богами и людьми, пространством и временем, мыслью и словом. С дальнейшим развитием религиозно-философской мысли эта роль творца переходила к Атману — Бrame.

* Упанишады — древнейшие философские и теософические сочинения индусов, относящиеся к периоду 1000–600 лет до Р.Х. Отличаются свободой философской мысли.

чальном. Дивные это стихи! “Твоя душа — это весь мир” — гласят они. И еще в них говорится, что только в состоянии сна — глубокого сна — человек входит в свое сокровенное Я, пребывает в Атмане. Странная мудрость звучит в этих стихах; все знание мира собрано тут и высказано в магических словах, — чистое, как собранный пчелами мед. Но где же те брамины и жрецы, где те мудрецы и подвижники, которым удалось не только постигнуть, но и воплотить в жизнь это глубочайшее знание? Где тот чародей, который сумел бы это пребывание в Атмане во время сна перенести в бодрственное состояние, в жизнь, в действие, в слово и дело? Сиддхарта знал многих почтенных браминов. Прежде всего — своего же отца. Он был достоин преклонения: кротостью и благородством дышало его обращение, чиста была жизнь, мудрым — слово, утонченная и возвышенная мысль отражалась на его лице. Но и он, столь много познавший, знал ли он блаженство? Жил ли он в мире с самим собой, не был ли и он лишь ищущим и жаждущим? Зачем ему, безупречному, надо каждый день смывать грех, каждый день совершать очищение, — и каждый день сызнова? Разве Атман не живет в нем? Его-то — этот первоисточник — и надо отыскать в собственном Я. Им-то и надо овладеть. Все же остальное лишь искание, хождение окольными путями, блуждание.

Таковы были мысли Сиддхарты, вот что его мучило, причиняя страдание.

Часто он повторял слова из одной Упанишады Чандоджья: “Воистину имя Брами — Satyam. — Воистину тот, кто постиг это. ежедневно вступает в царствие небесное”. Подчас оно и ему казалось таким близким, это небесное царствие, но ни разу ему не удалось достигнуть его окончательно, утолить жажду вполне. И среди всех мудрых и мудрейших, поучениям которых он внимал, не было ни одного, кто вполне достиг бы этого небесного царства, ни одного, кто всецело утолил бы эту вечную жажду.

— Говинда, — сказал однажды Сиддхарта своему спутнику, — Говинда, друг, пойдем под банановое дерево — будем упражняться в самопогружении.

Они сели под деревом — тут Сиддхарта, а в двадцати шагах от него Говинда. И Сиддхарта, садясь, шепотом повторил стих:

Ом — есть лук. Душа — стрела.
А Брама — цель для стрел.
В ту цель попасть старайся ты.

Наступил вечер, пора было приступить к вечернему омовению. Говинда поднялся с места. Он окликнул Сиддхарта, но тот не отозвался. Он был всецело погружен в самого себя — глаза его неподвижно глядели в даль, кончик языка слегка высунулся между зубами — казалось, он даже перестал дышать. Так он сидел, погруженный в созерцание, — и душа его была стрелой, устремленной к Бrame.

Однажды, через город, в котором жил Сиддхарта, прошли саманы — три странника-аскета, высохшие, угасшие люди, лишенные возраста, с покрытыми пылью и кровью плечами, почти нагие, опаленные солнцем, окруженные одиночеством, чуждые и враждебные миру, нездешние пришельцы и тощие шакалы в царстве людей. Знойным дыханием безмолвной страсти веяло от них, — дыханием изнуряющего радения и беспощадного самоотрешения.

Вечером, когда миновал час созерцания, Сиддхарта сказал Говинде:

— Друг мой, завтра с рассветом, я уйду к саманам. Я хочу стать одним из них.

Говинда побледнел, прочитав в неподвижном лице друга отчаянную решимость — непреклонную, как пущенная из лука стрела. С первого же взгляда он понял: "Началось! Сиддхарта вступает на свой путь! Вот, начинается свершаться его судьба, а с нею — и моя". И он стал бледен, как сухая кожа банана.

— Сиддхарта! — воскликнул он. — Но позволит ли твой отец?

Сиддхарта взглянул на него, будто внезапно очнулся. С быстротой стрелы он прочел его страх, его покорность.

— Говинда, — сказал он тихо, — не будем расточать напрасные слова. Завтра с наступлением дня я начинаю жизнь саманы. Не стоит больше говорить об этом.

Покинув друга, Сиддхарта вошел в комнату, где на плетеной циновке сидел его отец. Он стал за его спиной и стоял так до тех пор, пока отец не почувствовал, что кто-то стоит позади. Тогда старый брамин заговорил:

— Это ты, Сиддхарта? Ну, что ж, скажи то, что ты пришел сказать.

— С твоего позволения, отец, — ответил Сиддхарта, — я пришел сказать тебе, что сердце велит мне завтра покинуть твой дом и уйти к аскетам. Стать саманой — вот в чем мое желание. Да не воспротивится этому отец мой!

Брамин молчал — молчал так долго, что звезды успели перемес-

тяться в маленьком окошечке и изменить свое расположение. В комнате царило молчание. Безмолвно и неподвижно, со скрещенными руками, стоял сын, — безмолвно и неподвижно сидел на циновке отец. И звезды медленно передвигались по небесному своду. Наконец отец сказал:

— Не подобает брамину говорить резкие и гневные слова. Но мое сердце исполнено гнева. Да не услышу я эту просьбу из твоих уст вторично.

С этими словами он медленно поднялся с места. Сиддхарта же продолжал стоять, все так же безмолвно, со скрещенными на груди руками.

— Чего же ты ждешь? — спросил отец.

— Ты знаешь! — ответил Сиддхарта.

В гневе отец покинул комнату; в гневе он отыскал свое ложе и опустил на него.

Прошел час, но сон так и не сомкнул его очей. Браммин встал, прошелся по комнате и вышел из дому. Через маленькое окошечко он заглянул в комнату и увидел, что Сиддхарта стоит на том же месте, все так же скрестив руки, непоколебимый. В сумраке белели светлые одежды. С тревогой в душе отец вернулся на свое ложе.

Прошел еще час, но сон по-прежнему не приходил. Браммин снова встал, вышел из дому и увидел, что луна уже взошла. Он снова заглянул в комнату — Сиддхарта стоял все на том же месте, со скрещенными руками. Лунный свет играл на его обнаженных коленях. Полон заботы, отец снова вернулся на свое ложе.

И снова он приходил — через час, через два, каждый раз заглядывая в маленькое окошечко; Сиддхарта все так же стоял — при свете луны, при свете звезд, в темноте. Каждый час, молча, браммин выходил, заглядывал в комнату, видел неподвижно стоящего сына — и сердце его наполнялось гневом, тревогой, трепетом и горем.

Когда в последний час ночи, перед рассветом, он вышел опять, то вошел в комнату и, взглянув на стоящего юношу, который показался ему выросшим и каким-то чужим, спросил:

— Чего ты ждешь, Сиддхарта?

— Ты знаешь.

— Ты будешь стоять так и ждать, пока не наступит день, полдень, вечер?

— Я буду стоять и ждать.

— Ты устанешь, Сиддхарта!

— Устану.

- Ты умрешь, Сиддхарта!
- Умру.
- Ты предпочитаешь умереть, чем послушаться отца?
- Я всегда слушался отца.
- Значит, ты отказываешься от своего намерения?
- Я сделаю то, что прикажет отец.

Первый проблеск зари проник в комнату. Брамин увидал, что колени Сиддхарта слегка дрожат. Но в его лице не было дрожи. Его глаза были устремлены в бесконечную даль. И отец понял, что Сиддхарта уже не с ним, — что он уже покинул его.

Тогда отец дотронулся до плеча Сиддхарты и сказал:

— Хорошо, ты пойдешь в лес и станешь саманой. Если ты обретешь блаженство, приходи научить и меня. Если же тебя постигнет разочарование, вернись, — мы снова будем вместе творить жертвоприношения богам.

Он снял руку с плеча сына и вышел из дому. Сиддхарта пошатнулся, когда сделал первый шаг. Но он овладел собой, выпрямился и пошел к матери — попрощаться.

Когда при первых утренних лучах, медленно, с онемевшими ногами, он покидал спящий город, у последней хижины навстречу ему поднялся сидевший там человек. Это был Говинда.

- Ты пришел! — улыбнулся Сиддхарта.
- Я пришел, — сказал Говинда.

У саман

Вечером того же дня юноши догнали аскетов.

Саманы согласились их принять.

По пути Сиддхарта подарил свое платье бедняку. Теперь на нем была только повязка вокруг чресел, да кусок материи без швов, землистого цвета, служивший ему плащом. Пищу он принимал только раз в день и притом лишь такую, которая не была приготовлена на огне.

Он постился пятнадцать дней подряд. Затем — двадцать восемь дней. Тело его исхудало, щеки обтянулись. Знойные грозы горели в его ставших огромными глазах. На высохших пальцах выросли длинные ногти, подбородок оброс сухой, всклокоченной бородой. Ледяным становился его взгляд, когда он встречал женщин; уста кривились презрением, когда он проходил через город с нарядно одетыми людьми. Он видел, как торговали купцы, как отправля-

лись на охоту князя, как родственники оплакивали своих покойников; видел непотребных женщин, предлагающих свои ласки, врачей, хлопочущих у ложа больных, жрецов, назначающих день посева, видел обменивающихся ласками влюбленных, кормящих грудью матерей. Но все это казалось ему не стоящим взгляда, все это была ложь, смрад, от всего смердило ложью, все имело только видимость смысла, счастья, красоты, на самом же деле было несознаваемым тленом. Горечью отзывалось все в мире. Мукой была вся жизнь.

Одну только единственную цель ставил себе Сиддхарта: опустошить свою душу, вытравить из нее все стремления и желания, всякие грезы, радости и страдания. Умереть для самого себя, перестать быть Я, обрести покой, самоотрешившейся мыслью быть готовым к приятию чуда — такова была эта цель. Когда все личное будет преодолено и умрет, когда смолкнут в сердце все желания и страсти, тогда должно проснуться основное, сокровеннейшее в человеческом существе, — то, что уже не есть “Я”, а есть великая тайна.

Молча выстаивал он под отвесно падающими солнечными лучами, ожигаемый болью, сгорая от жажды, — стоял до тех пор, пока не переставал чувствовать и боль, и жажду. Молча стоял он в дождливое время года, и вода с волос струилась на озябшие плечи, на мерзнущие бедра и ноги — стоял до тех пор, пока и плечи, и ноги не переставали ощущать холод, пока они не утрачивали всякую чувствительность. Молча садился среди усеянных шипами растений; из обожженной кожи капала кровь, из нарывов выступал гной, но Сиддхарта продолжал сидеть, как пригвожденный, не двигаясь с места, и сидел до тех пор, пока кровь не переставала течь, пока он не чувствовал более ни уколов, ни жжения.

Он научился сидеть прямо, как столб, и довольствоваться как можно меньшим количеством воздуха и совсем задерживать дыхание; вместе с дыханием он приучался замедлять и биение сердца, уменьшать число его ударов, пока оно почти совсем не переставало биться.

Под руководством старейшего из аскетов он упражнялся в самоотрешении и самопогружении, по новым правилам саман. Вот белая цапля пролетела над бамбуковым лесом, — Сиддхарта тотчас воспринимал ее в свою душу, сам становился цаплей, голодал вместе с цаплей, кричал голосом цапли, умирал смертью цапли. Мертвый шакал лежал на песчаном берегу, — и душа Сиддхарты входила в труп, становилась мертвым шакалом, лежала на берегу, вздувалась, смердела, разлагалась, становилась добычей гиен и коршунов,

превращалась в скелет, в прах и пылью разлеталась по полю. Но и испытав смерть, разрушение и распыление, изведав мутное опьянение круговорота, душа его возвращалась назад, по-прежнему томимая жаждою и, как охотник, вновь неумоимо высматривала очередную лазейку, через которую можно было бы вырваться из круговорота вещей — туда, где наступал конец закону причинности, где начиналась чуждая страданию вечность. Сиддхарта умерщвлял свои чувства, умерщвлял свою память; он ускользал из своего “Я” в тысячу чужих оболочек, он становился животным, падалью, камнем, деревом, водой, но всякий раз, пробуждаясь, — при свете ли солнца или в сиянии месяца — снова находил себя, снова становился “Я”, снова носился в круговороте, чувствовал жажду, подавлял ее и вновь томился жаждой.

Многому научился он у саман, много путей знал, чтобы уйти от своего “Я”. Он научился отрешаться от него путем страдания, добровольным претерпеванием боли, голода, жажды, усталости. Он достигал самоотрешения путем размышления, удаляя из своего ума всякие представления, — тысячи раз он покидал свое “Я”, часами и днями пребывал в “Не-Я”, но конец каждого пути неизменно приводил его обратно. Возвращение было неминуемым, неизбежно наступал час, когда он снова находил самого себя, — при свете ли солнца, в сиянии ли месяца, в тени или под дождем — снова становился Я и Сиддхартой и снова испытывал муки вынужденного кружения в круговороте.

Рядом с ним, как тень его, подвизался и Говинда, он шел теми же путями, подвергал себя тем же истязаниям. Они редко говорили между собою о чем-нибудь ином, кроме того, что требовалось служением и упражнениями. Случалось, они вдвоем отправлялись по деревням, чтобы выпрашивать пищу для себя и своих наставников.

— Как ты полагаешь, Говинда, — спросил как-то Сиддхарта во время одного из таких странствий, — как ты думаешь, подвинулись ли мы вперед? Достигли мы какой-нибудь из наших целей?

— Мы продолжаем свое учение, — ответил Говинда. — Ты, наверно, станешь великим саманой. Ты быстро усвоил все упражнения, и старые саманы восторгаются тобой. Ты со временем станешь святым, Сиддхарта!

Сиддхарта горько усмехнулся:

— Я смотрю на это иначе, друг мой. Всему, чему я научился у саман, я мог бы научиться скорее и более простым путем. В любой

карчевне квартала, населенного публичными женщинами, среди извозчиков и игроков в кости, я мог бы, друг мой Говинда, научиться тому же.

— Ты шутишь, Сиддхарта, — сказал Говинда. — Каким образом ты мог бы научиться у них самопогружению, задержке дыхания, нечувствительности к голоду и боли?

Тихо, словно говоря с самим собой, Сиддхарта ответил:

— Что есть погружение? Что означает оставление своего тела? Какой смысл имеет пост или задержка дыхания? Все это — бегство от "Я", все это лишь кратковременное бегство от мук своего бытия, мгновенное самоусыпление, которое позволяет не чувствовать страдания и бессмысленности жизни. Но то же временное освобождение, ту же кратковременную бесчувственность погонщик волов на постоялом дворе, когда выпьет несколько чашек рисового вина или перебродившего кокосового молока. Он тоже перестает чувствовать свое "Я", перестает чувствовать страдание жизни; на короткое время ему удается одурманить себя. В чаше с рисовым вином, над которым он задремал, он находит то же самое, что находим мы, когда путем продолжительных упражнений выходим из своей телесной оболочки и пребываем в "Не-Я". Вот так обстоит дело, Говинда!

Говинда запальчиво возразил:

— Ты говоришь так, хоть и знаешь, что ты не погонщик волов. Верно, тому, кто пьет, удается одурманить себя, но ведь его самообман проходит, и тогда он убеждается, что все осталось по-старому; он не стал мудрее, не приобрел познаний, не поднялся на высшую ступень.

Сиддхарта заметил на это с улыбкой:

— Не знаю, я никогда не напивался, но что и я в своих упражнениях и самопогружениях нахожу лишь временное усыпление и так же далек от мудрости, от искупления, как ребенок в чреве матери, это-то я знаю, Говинда, это-то я хорошо знаю...

В другой раз, когда оба снова вышли из леса, чтобы попросить в деревне немного пищи для своих братьев и учителей, Сиддхарта снова заговорил о том же:

— Так что же, Говинда, как по-твоему — мы на верном пути? Ближе ли мы стали к познанию и искуплению? Не вертимся ли мы, в сущности, в круге — мы, рассчитывавшие вырваться из круговорота?

Говинда опять принялся за свое:

— Мы многое узнали и многое нам еще предстоит узнать. Нет, мы не вертимся в круге, мы поднимаемся вверх. Наш путь — это спираль, на несколько ступеней выше мы уже поднялись.

— Сколько, по-твоему, лет старейшему самане, нашему досто- почтенному учителю? — перебил его вдруг Сиддхарта.

— Лет шестьдесят, наверно...

— Ну вот, шестьдесят лет прожил он на свете, а Нирваны так и не достиг. Проживет и семьдесят, и восемьдесят, — и не достигнет. И мы с тобой проживем столько же, и будем подвизаться, будем поститься и размышлять, а Нирваны все-таки не достигнем, — ни он, ни мы. Сдается мне, Говинда, что мы тешим себя ложными надеждами. Мы приобретаем знания и умения, которыми сами себя дурачим. Но того, что одно только и является существенным, настоящего пути — мы не находим.

— Не говори таких страшных слов! — воскликнул Говинда. — Возможно ли, чтобы среди стольких ученых мужей, среди браминов и святых, ни один не нашел настоящего пути?

Сиддхарта же голосом, в котором звучало столько же печали, сколько насмешки — тихим, немного печальным, немного насмешливым голосом, ответил:

— Говинда, я решил покинуть стезю саман, по которой так долго шел вместе с тобой. Я томлюсь жаждой, Говинда, а на этом долгом пути, пройденном вместе с саманами, не утолил этой жажды ни каплей. Все время меня осаждали вопросы, год за годом я расспрашивал браминов, вопрошал священные Веды, обращался к благочестивым саманам — год за годом... Быть может, Говинда, было бы столь же умно и целесообразно обращаться с этими вопросами к птице-носорогу или к шимпанзе? Сколько времени я потратил и все еще трачу на учение, а пришел лишь к тому выводу, что ничему нельзя научиться. Мне кажется, на самом деле просто не существует ничего такого, что мы называем "учением": есть только, друг мой, знание, и оно везде, оно — Атман, оно во мне и в тебе, и в каждом существе. И у меня появляется мысль, что этому знанию ничто так не враждебно, как наше желание "знать", как — "учение"

Говинда остановился посреди дороги и поднял руки к небу:

— Не пугай меня такими речами! Твои слова пробуждают лишь тревогу в моем сердце. Подумай только: к чему же тогда все благочестивые молитвы, к чему высокопочтенное сословие браминов, что толку в святости саман, если, как ты говоришь, ничему нельзя

научиться? Что же станется со всем, что на земле почитается священным, ценным, достойным уважения?

И Говинда произнес стих из Упанишад:

Кто мыслями, с чистой душой погрузится в Атмана,
Словами не выразить сердца его блаженство.

Сиддхарта же молчал.

— Да, — сказал он наконец, не поднимая голову, — что же в таком случае остается от всего, что кажется нам священным? Что вообще остается? Что сохраняет свое значение?

И он покачал головой.

Они пробыли уже около трех лет у саман, разделяя с ними их подвижническую жизнь, когда до них какими-то путями дошла не то подлинная весть, не то слух, не то молва: будто явился некто, прозванный Гаутамой, Возвышенным, Буддой, и будто этот некто преодолел в себе страдания мира и остановил колесо возрождений. Окруженный учениками, он странствует по земле, возвещая свое учение — нищий, не имеющий ни дома, ни жены, в желтом одеянии аскета, но с ясным лицом, просветленный, блаженный. Брамины и князья склоняются пред ним и становятся его учениками.

Эта молва, этот слух, эта сказка то и дело возникали вновь, звучали то здесь, то там. В городах об этом говорили брамины, в лесу саманы. Снова и снова имя Гаутамы-Будды доходило до слуха, поминаемое то добром, то злом, сопровождаемое то славословиями, то хулой.

Подобно тому, как в стране, опустошаемой чумой, возникает слух, что там-то и там-то находится человек, мудрец, ученый, который одним только словом или дуновением в состоянии излечить всякого заболевшего, и слух этот быстро разносится повсюду, все говорят о нем, одни с верой, другие с сомнением, третьи же тотчас же пускаются в путь, чтобы разыскать этого мудреца, этого спасителя, — так точно пронеслась по стране благоуханная молва о Гаутаме-Будде, мудреце из рода Сакия. Этот Будда, по словам верующих, обладал высшим знанием, он сохранил память о своих прежних существованиях, он достиг Нирваны и никогда больше не должен будет вернуться в круговорот, никогда не погрузится вновь в мутный поток перевоплощений. Много чудного и невероятного рассказывалось о нем — будто он творит чудеса, будто он поборол дьявола и беседует с богами. Враги же и неверующие гово-

рили, что этот Гаутама — тщеславный совратитель, что он проводит свои дни в излишествах, презирает жертвоприношения, что он не обладает никакой ученостью, не признает подвижничества и истязания плоти.

Дивно звучала молва о Будде, какими-то чарами веяло от рассказов о нем. Ведь мир и в самом деле был полон страданий. Тяжелым бременем была жизнь, а тут, в этой молве, словно забил целебный родник, зазвучала благая весть, полная утешений и высоких обетований. Везде, куда только проникал слух о Будде, во всех землях Индии люди приходили в возбуждение, сердца их наполнялись томлением и надеждой. В городах и селлах сыновья браминов радушно принимали всякого странника и пришельца, если он приносил какую-нибудь весть о нем, о Возвышенном, о Сакия-Муни.

К саманам в лесу, к Сиддхарте и Говинде тоже проникла эта весть, — проникла медленно, по капле, но каждая капля была чревата надеждой и каждая капля — чревата сомнением. Между собой оба друга мало говорили об этом, так как старейший из саман относился неприязненно к этой молве. Он слышал, что этот якобы Будда раньше был аскетом и жил в лесу, но потом вернулся к мирской жизни и наслаждениям, и это внушало ему дурное мнение о Гаутаме.

— Сиддхарта, — сказал однажды Говинда своему другу, — я сегодня был в деревне, и один брамин предложил мне войти к нему в дом. Там оказался сын брамина из Магадхи, который видел Будду собственными глазами и слышал его проповедь. Поистине, у меня стеснило дыхание в груди и я подумал: “О, если бы и я, если бы мы оба, Сиддхарта и я, сподобились услышать учение из уст Совершенного!” Послушай, не пойти ли и нам туда, чтобы услышать проповедь самого Будды?

Сиддхарта ответил на это:

— Я всегда полагал, что ты останешься у саман, что ты мечтаешь лишь о том, чтобы прожить свои шестьдесят или семьдесят лет, все более совершенствуясь в тех знаниях и подвигах, которые украшают саману. И что же? Оказывается, я слишком мало знал тебя, оказывается, что ты, дорогой, хочешь вступить на новую стезю и идти туда, где Будда возвещает свое учение?

— Тебе угодно насмеяться надо мной, — сказал Говинда, — что ж, смейся, Сиддхарта! Но разве и в тебе не проснулось желание

услышать Будду?.. И не ты ли говорил мне, что уже не долго будешь ходить по стези саман?

Сиддхарта засмеялся своим особенным, ему одному свойственным смехом, и тем же голосом, в котором звучала и легкая печаль, и легкая насмешка, сказал:

— Ты прав, Говинда. Верно и то, что ты говоришь, верно и то, как ты запомнил мои слова. Но припомни и другое, сказанное мною тогда же — а именно: что я утратил веру во всякие учения и проповедь, что у меня мало доверия к словам, которые мы слышим от учителей. Но все-таки ты прав — я хочу услышать проповедь Будды, хотя сердце говорит мне, что лучший плод его учения мы уже вкусили.

— Твоя готовность радует мое сердце, — отозвался Говинда. — Но скажи, как понять твои слова? Каким образом мы могли вкусить лучший плод от учения Гаутамы еще раньше, чем услышали его проповедь?

— Плод, которым мы уже теперь обязаны учению Гаутамы, — ответил Сиддхарта, — заключается в том, что оно побуждает нас покинуть саман... Даст ли оно нам еще иное и лучшее, друг мой, покажет будущее.

В тот же день Сиддхарта сообщил старшему из саман, что они решили уйти от них. Он высказал это решение со всей почтительностью и скромностью, какие подобают младшему и ученику по отношению к старшему, но самана тем не менее рассердился, возвысил голос и осыпал их грубыми бранными словами.

Говинда испугался и пришел в замешательство. Сиддхарта же подошел к нему и шепнул на ухо:

— Сейчас я покажу старику, что кое-чему у него все-таки научился.

Подойдя вплотную к самане, он взглянул ему прямо в глаза, приковал к себе его взгляд, заставил его замолкнуть, подчинил его волю своей и мысленно приказал ему сделать то, чего он от него желает. И старик замолк, — взгляд его стал неподвижен, воля была парализована, руки повисли бессильно, он стал отвешивать поклоны, делать благословляющие жесты и оормотать напутственные пожелания. Юноши ответили поклоном на поклоны и, поблагодарив за добрые пожелания, двинулись в путь.

По дороге Говинда заметил:

— Сиддхарта, ты взял у саман гораздо больше, чем я ожидал. Трудно, очень трудно зачаровать старого саману. Поистине, если

бы ты остался у них, то скоро наверно научился бы ходить по воде.

— У меня нет никакого желания ходить по воде, — сказал Сиддхарта. — Пусть старые саманы тешат себя подобными штуками!

Гаутама

В городе Саватхи каждый ребенок знал имя Возвышенного Будды; в каждом доме с готовностью наполняли чашу для сбора подаяний, безмолвно протягиваемую его учениками. Вблизи от города находилось любимое местопребывание Гаутамы, роща Джетавана, которую богатый купец Анатхапиндика, ревностный почитатель Возвышенного, подарил ему и его ученикам.

В эти места отсылали двух молодых аскетов все рассказы и ответы, которые они получали на свои расспросы о местопребывании Гаутамы. Когда они прибыли в Саватхи, то в первом же доме, перед которым остановились, прося подаяния, им предложили пищу. Они приняли угощение, и Сиддхарта спросил женщину, подававшую им кушанье:

— Велико наше желание, милосердная, узнать, где пребывает Достопочтеннейший Будда. Мы оба саманы и пришли из леса, чтобы увидеть его и услышать учение из его собственных уст.

Женщина ответила:

— Поистине, вы попали в надлежащее место, саманы из леса. Возвышенный пребывает в Джетаване, в саду Анатхапиндики. Там вы можете провести и ночь — там достаточно места для всех, что стекаются сюда, чтобы внимать его поучениям.

Говинда обрадовался и радостно воскликнул:

— Итак, наша цель достигнута, и путь наш кончен! Но скажи нам, мать странствующих, знаешь ли ты сама Будду, случалось ли тебе видеть его собственными глазами?

— Я много раз видела Возвышенного, — ответила женщина, — видела, как он проходит по улицам, безмолвно, в желтом плаще, как он молча протягивает у дверей домов свою чашу для подаяний, как уносит наполненную чашу.

Говинда с восторгом прислушивался к ее словам. Он готов был бы еще долго расспрашивать и слушать ее, но Сиддхарта заторопил его продолжать путь. Они поблагодарили и пошли дальше, не имея даже надобности расспрашивать о дороге, так как не мало странников и монахов из общины Гаутамы направлялись туда же, в Джетавану. И хотя они прибыли туда ночью, в роще еще царило

большое оживление: то и дело прибывали новые люди, слышались возгласы, разговоры и расспросы о пристанище. Оба саманы, привыкшие к жизни в лесу, скоро и бесшумно отыскивали себе местечко для ночлега и проспали там до самого утра.

Когда взошло солнце, они с изумлением увидели, какая огромная толпа верующих и любопытных провела тут ночь. По всем дорожкам расхаживали монахи в желтом одеянии, другие сидели под деревьями, погруженные в созерцание или занятые духовной беседой. Похожим на город был этот тенистый парк, в котором люди кишели, как пчелы в улье. Но большинство монахов направились в город, чтобы собрать подаяний для полуденной трапезы — единственной в течение дня. Сам Будда тоже отправлялся по утрам за сбором подаяний.

Сиддхарта увидел его и тотчас же, точно по наитию свыше, узнал этого тихо идущего скромного человека, в желтой рясе, с чашей для подаяний в руках.

— Взгляни туда, — тихо сказал он Говинде, — вон идет твой Будда!

Говинда внимательно взглянул на монаха в желтой рясе, с виду как будто ничем не отличавшегося от других монахов.

Будда медленно шел по дорожке, погруженный в думы. Его спокойное лицо не было ни радостно, ни грустно, но как будто освещалось какой-то странной улыбкой изнутри. С этой скрытой внутри улыбкой, тихо, спокойно, Будда шел, неся свое одеяние и ставя ногу так же, как все его монахи, по точно предписанным правилам. Но лицо его и походка, тихо опущенный взор и тихо свисающая рука, и каждый палец на этой тихо спущенной руке дышали миром, дышали совершенством. В них не чувствовалось никаких исканий, никакой раздражительности, от них веяло кроткой, неувядаемой безмятежностью, неугасаемым светом, ненарушимым миром, — и оба саманы узнали его по одному этому безграничному спокойствию, по безмятежности всей его внешности, в которой не было заметно никаких исканий и желаний, ничего деланного и принужденного, в которой все было — свет и мир.

— Сегодня мы услышим учение из его собственных уст! — сказал Говинда.

Сиддхарта оставил это замечание без ответа. Он не особенно интересовался самим учением. Он не ожидал услышать что-нибудь новое — ведь ему, так же, как и Говинде, уже не раз приходилось слышать о содержании проповеди Будды, хотя и в передаче из вторых

и третьих рук. Но он по-прежнему внимательно глядел на лицо Гаутамы, на его плечи, ноги, на тихо опущенную руку, и ему казалось, что каждый сустав на каждом пальце этой руки учил, говорил, дышал, благоухал, сияя правдой. Этот человек был святой. Никогда доселе Сиддхарта не испытывал по отношению к другому человеку такого благоговения; ни один человек еще не внушал ему такой любви.

Оба юноши молча следовали за Буддой до самого города и так же молча вернулись назад. Они дождались возвращения Гаутамы, видели, как он вкушал трапезу в кругу своих учеников — даже птичка не насытилась бы тем, что он съел — видели, как он удалился под тень манговых деревьев.

А вечером, когда жара спала и лагерь оживился, все собрались вокруг Будды. Тогда-то они услышали его проповедь. Даже сам голос его был совершенен, звучал спокойствием, был полон мира, спокойно и ясно текла его тихая речь. Он говорил о страдании. Страданием была его жизнь, полон страданий был мир, но избавление от страдания найдено: спасется от него тот, кто пойдет путем Будды. Кротким, но твердым голосом говорил Возвышенный, излагая четыре главных истины своего учения, излагая восьмеричный путь к искуплению. Терпеливо шел он обычным путем примеров и повторений. Ясно и тихо царил его голос над слушателями, — как солнечный свет, как ночное звездное небо.

Когда с наступлением ночи он закончил свою проповедь, некоторые из прибывших странников выступили вперед и высказали свое желание тут же вступить в общину и стать его учениками. Гаутама так же тихо ответил им:

— Вы слышали учение, вы слышали, чего оно требует. Придите же к нам и живите в святости, дабы положить конец всякому страданию.

И тут — о, диво — выступил всегда такой робкий Говинда и со словами: "Я тоже прибегаю к Возвышенному и его учению", — попросил принять его в среду учеников. И тоже был принят.

Когда Будда наконец удалился для ночного отдыха, Говинда горячо обратился к Сиддхарте:

— Сиддхарта, мне не подобает делать тебе упреки. Оба мы слышали Возвышенного, оба слышали его учение. Я внял ему и стал его учеником. Ты же, столь почитаемый мною, неужели ты не хочешь вступить на стезю спасения? Неужели ты колеблешься?

Сиддхарта словно пробудился от сна. Он долго глядел в лицо друга. Потом тихо, без малейшей насмешки в голосе, произнес:

— Говинда, друг мой, наконец-то ты сделал решительный шаг. Наконец-то ты сам избрал свой путь. Прежде ты был лишь моим другом, всегда шел только следом за мной. И мне часто думалось: неужели Говинда никогда не сделает шага самостоятельно, без меня, по собственному почину? И вот ты, наконец, возмужал и сам избираешь свой путь. Да пройдешь ты его до конца, мой друг! Да обретешь ты на нем спасение!

Но Говинда, не совсем поняв его слова, повторил свой вопрос еще более нетерпеливо:

— Ответь ты мне, прошу тебя, Сиддхарта. Скажи мне, что и ты изберешь своим прибежищем Возвышенного Будду*.

Сиддхарта положил свою руку на плечо Говинды:

— Ты не расслышал моего напутственного пожелания, Говинда. Я повторю его. Да удастся тебе пройти этот путь до конца! Да обретешь ты на нем спасение!

Только тут Говинда понял, что друг покинул его.

— Сиддхарта! — жалобно воскликнул он.

Но Сиддхарта ласково сказал ему:

— Не забывай, Говинда, что ты отныне принадлежишь к саманам Будды. Ты отрекся от родины и родных, от своего сословия и собственности, отрекся от собственной воли, отрекся от дружбы. Так требует устав, так требует Возвышенный. Так захотел ты сам! Завтра, Говинда, мы с тобой расстанемся.

Они еще долго бродили по роще и долго затем лежали, не находя сна. Снова и снова Говинда умолял друга сказать ему, почему он не хочет обратиться к учению Гаутамы, какой недостаток он находит в этом учении. Сиддхарта же на все просьбы отвечал:

— Успокойся, Говинда, учение Возвышенного превосходно, как могу я находить в нем недостатки?

Рано утром один из старейших монахов прошел по парку, сзывая всех вновь поступивших учеников, чтобы облачить их в желтые рясы и наставить в первых правилах и обязанностях нового звания. Говинда сделал над собою последнее усилие, еще раз обнял друга молодости — и присоединился к шествию послушников.

Сиддхарта, в одиночестве и глубокой задумчивости шел по ро-

* “Я прибегаю к прибежищу Будды, учения и общины”, — сакраментальная фраза, которую должен был произносить каждый при вступлении в число монахов, учеников Будды.

ще, пока на одной из дорожек навстречу ему не попался Гаутама. Почтительно поприветствовав его и ободренный его взглядом, полным доброты и кротости, Сиддхарта попросил у Возвышенного позволения говорить. Безмолвным кивком тот выразил согласие.

Тогда Сиддхарта сказал:

— Вчера, Возвышенный, я имел счастье слушать твое дивное учение. Вместе с моим другом я прибыл для этого издалека. И вот мой друг остается с твоими учениками, он принял твое учение, я же снова отправляюсь в странствие.

— Как тебе угодно, — ровно сказал Будда.

— Слишком смела моя речь, — продолжал Сиддхарта, — но мне не хотелось бы уходить от Возвышенного, не высказав перед ним с полной искренностью своих мыслей. Соблаговолит ли Достопочтенный уделить мне еще минуту внимания?

Будда молча кивнул головой в знак согласия.

— Одно, Возвышенный, — сказал Сиддхарта, — в особенности восхищает меня в твоём учении. Это его совершенная ясность и убедительность. Цельной, нигде и никогда не прерываемой цепью рисуешь ты мир, вечную цепью, сплетенной из причин и последствий. Никогда и никем эта мысль не была так ясно осознана и так бесспорно доказана. Поистине, сильнее должно забиться сердце в груди каждого брамина, когда он при свете твоего учения увидит, что все в мире неразрывно связано между собой, что в нем нет пробелов, все ясно, как хрусталь, и ничто не зависит от случая, но лишь от произвола богов. Хорош этот мир или нет, страдание в нем жизнь или благо — это остается вопросом. Быть может, это и не существенно. Но единство мира, взаимная связь всех явлений, одинаковая подчиненность всего, как великого, так и малого, одному и тому же закону причинности, возникновения и смерти — все это необычайно ярко выступает в твоём возвышенном учении, Совершенный. Но это единство и естественная преемственность всех вещей, судя по твоему же учению, все же прерывается в одном месте. Через один маленький пробел в этот мир единства вторгается нечто чуждое и новое, чего раньше не было и чего нельзя ни показать наглядно, ни доказать словами — это именно твое учение о преодолении мира, об искуплении. Однако именно благодаря этому маленькому пробелу, этому маленькому прорыву, этот вечный, проникнутый единством мировой закон разбивается и теряет силу. Прости, что я высказываю это возражение.

Тихо, бесстрастно выслушал его Гаутама. Затем все тем же кротким, благожелательным и ясным голосом ответил:

— Ты слушал учение, сын брамина, и благо тебе, что ты так глубоко проник в него. Ты нашел в нем пробел, ошибку. Продолжай и дальше вдумываться в него. Но избегай, прошу тебя, препирательств во мнениях и споров из-за слов. Не в мнениях дело, каковы бы они ни были — прекрасны или безобразны, умны или нелепы, — каждый волен соглашаться с ними или отвергать их. Но учение, которое ты слышал от меня, не мнение. И не в том его цель, чтобы объяснить мир для любознательных людей. Его цель иная — искупление, избавление от страданий. Вот чему учу я — и ничему иному.

— Да не прогневается на меня Возвышенный, — сказал юноша. — Не затем, чтобы спорить, препираться из-за слов, я позволил себе так говорить. Ты прав, не во мнениях дело. Но позволь мне заметить еще одно: ни на одно мгновение я не усомнился в самом тебе. Ни на одно мгновение не возникло во мне сомнение, что ты Будда, что ты достиг той высшей цели, к какой стремятся столько тысяч браминов и их сыновей. Ты нашел спасение от смерти. Ты достиг этого собственными исканиями, собственным, тобой самим пройденным путем — размышлением, самоуглублением, познанием, просветлением. Но не принятием какого-нибудь чужого учения. И моя мысль, Возвышенный, такова — никому не достичь спасения благодаря какому бы то ни было чужому учению. Никому, Достопочтенный, не сумеешь ты передать и высказать словами и поучениями, что испытал ты в час просветления. Многое содержит в себе учение просвещенного Будды, многих оно научит жить по правде, избегать зла. Но одного нет в этом столь ясном, столь высоком учении — в нем не раскрыта тайна того, что ты пережил сам, ты один среди сотен тысяч. Вот, что думалось и прояснилось мне, когда я слушал тебя. И вот причина, почему я снова пускаюсь в странствие. Не затем, чтобы искать другого, лучшего учения — такого, я знаю, нет, — а затем, чтобы порвать со всеми вообще учениями и учителями, и одному — либо достигнуть своей цели, либо погибнуть. Но я буду часто вспоминать, Возвышенный, тот день и час, когда мои очи увидели святого.

Глаза Будды смотрели в землю; тихим, совершеннейшим бесстрашием сияло его непроницаемое лицо.

— Пусть твои мысли, — медленно проговорил он, — не окажутся заблуждениями. Желаю тебе достигнуть своей цели. Но скажи мне: видел ли ты толпу моих саман, моих многочисленных братьев,

прибегнувших к учению? И думаешь ли ты, чужой самана, что для всех них было бы лучше отказаться от него и вернуться к мирской жизни с ее страстями?

— Далека от меня подобная мысль! — воскликнул Сиддхарта. — Пусть они все остаются верными учению, пусть достигают своей цели! Не подобает мне судить других. Только для себя, для себя одного, я должен составить собственное суждение, избрать одно, отказаться от другого. Мы, саманы, ищем избавления от "Я". Если бы я стал одним из твоих учеников, Возвышенный, то, боюсь, мое "Я" только с виду успокоилось бы, нашло бы только призрачное искупление, в действительности же продолжало бы жить и даже выросло бы еще более, ибо тогда самое учение и моя приверженность к нему, моя любовь к тебе и общность монахов стали бы моим "Я".

С полуулыбкой, с той же неколебимой ясностью и приветливостью во взоре, Гаутама взглянул юноше в глаза и попрощался с ним едва заметным движением.

— Ты умен, мой друг, — сказал Возвышенный, — и умно умеешь говорить! Остерегайся однако чрезмерного умствования.

И он проследовал дальше. Но взгляд его и полуулыбка навсегда запечатлелись в памяти Сиддхарты.

— Никогда, ни у одного человека я не видел такого взгляда и такой улыбки, — думал Сиддхарта, — никогда не видел я, чтобы кто-нибудь так сидел и ступал, как он. Желал бы и я быть в состоянии так глядеть и улыбаться, сидеть и ходить — так непринужденно и величаво, так сдержанно и открыто, так детски-просто и таинственно. Поистине, так может смотреть и ступать только человек, проникший в сокровенную глубину своего "Я". Ну что ж — постараюсь и я достигнуть того же!

— Одного только человека видел я, — продолжал он свои размышления, — одного-единственного, перед которым мне пришлось опустить глаза. Ни перед кем больше я не стану их опускать! Ни одно учение уже не может соблазнить меня, раз я не поддался обаянию этого человека.

— Многое отнял от меня Будда, — думал он, выходя из рощи, — многого лишил меня, но еще больше подарил. Он отнял у меня друга, человека, который верил в меня, а теперь верит в него, который был моей тенью, а теперь стал тенью Гаутамы. Но за то он подарил мне Сиддхарту, подарил мне меня самого...

На миг сердце его остановилось; он почувствовал, как оно, словно маленькая птичка или зверек, похолодело и сжалось в груди при мысли о том, до чего он отныне одинок. Даже наиболее уединившиеся от людей лесной отшельник не бывает совершенно одинок; и он общается с подобными ему, и он принадлежит к известному классу, заменяющему ему родину. Говинда стал монахом, и тысячи монахов стали его братьями; они носили такую же, как он, рясу; имели такую же, как он, веру; говорили таким же, как он, языком. Но он, Сиддхарта, кому он близок? Чью жизнь будет он разделять? С кем найдет общий язык?

Из этого мгновенья, когда окружающий мир как бы растаял и отошел от него, а он ощутил себя одиноким, как звезда в небе, — из этого мига душевного холода Сиддхарта вынырнул с резче выраженным, чем раньше, крепче сжавшимся Я. Это был последний — он чувствовал это — трепет пробуждения, последняя судорога рождения. Вслед затем он снова двинулся в путь и зашагал быстро и нетерпеливо — но не домой, не к отцу, не к старой жизни...

(окончание следует)

Герман Гессе (1877–1962) — знаменитый швейцарский писатель ("Игра в бисер" и др.), лауреат Нобелевской премии, классик немецкоязычной литературы XX века.



ИЗРАИЛЬСКИЙ ОЧЕРК

*... и запоет как "отче наш"
блатные песни Карлебаха.*

Для человека, никогда не покидавшего страну, государственная граница — что-то мифологическое. Ее пытаешься пересечь во сне и просыпаешься в последний момент. И для тебя Европа — это Рига, Азия — Баку... А Париж, Вена, Тель-Авив — они вообще есть? Их не придумали? В пятнадцать лет я учил наизусть план Парижа. В тридцать — карту Израиля... Представлял себе вески, дома, автобусы... Напрасный труд — все совсем другому.

... А на самом деле — как просто! Проходит человек контроль — даже легче, чем при обычном полете, садится в самолет — и через два часа он в Бухаресте. Сутки спустя — опять несложный контроль, и через три часа он в Израиле.

Бестолковый советский Бухарест по дороге вносит путаницу в мифологию. Раньше как было — Свобода начиналась в Вене, Родина в Лодзе... А сейчас даже не поймешь, когда закричать: "Вырвался!" Серо, слякоть, очереди в магазинах, но и "Золотой Иерусалим" вечером в румынском ресторане, и израильские студенты за соседним столиком. Возвращаются из Таиланда. Там, оказывается, от-

Дмитрий Сливняк

НОВЫЙ — НОВЫЙ РЕПАТРИАНТ

дышать дешево. Очень приветливые ребята, говорят: “Брухим аба-им!” С какой стати — они же должны быть страшными сабрами...

Вечером едем в аэропорт — улетать в Тель-Авив. Попросту не доходит: в сам Тель-Авив?! Опять жизнь вносит коррективы в мифологию; и целый час скучаем из-за нелетной погоды. Потом выясняется, что летим вообще в какую-то Тимишоару. А в Тимишоаре уже так хочется спать, что вообще ничего не соображаешь.

... Самолет пошел на снижение. За окнами огоньки. Неужели Тель-Авив? Чтобы встряхнуть онемелую душу и ощутить величие момента, люди запевают “Хава Нагила”. Израильтянка на переднем сиденье смотрит в окно и говорит: “Кафрисин”. Кипр, иными словами. Значит, обпели не то, что надо.

Еще какое-то время спустя внизу появляются целые гирлянды огней, больших, как бусины. Это уже точно Тель-Авив. Израильтянка перед нами захлопала в ладоши. И хлопать начали все, кто летел из Москвы. И многолетние отказники, и те, кто многие годы мечтал тайком. С удивлением глядит на это мой сосед — голландский студент.

Приземлились.

Южная ночь. За окном проезжает белая машина из итальянского фильма про мафию. Худощавый мужчина в штатском проверяет визы. Аэропорт — куда там Шереметьеву! Я говорю что-то нехорошее про социализм. Пожилая дама, едущая по гостевой визе, сурово произносит: “Не надо хаять!” И здесь не надо хаять — какая тоска!

И все-таки напрасный труд представлять себе заранее. Кто бы мог подумать, что роковая “процедура приема репатриантов Сохнутом” проходит в таком большом красивом зале, что здесь толчется такое количество встречающих и что сионисты притупляют бдительность наших людей, вручая каждому стаканчик с вином?!

Покуда на тележки грузится багаж, покуда томящиеся репатрианты едят апельсины, пьют соки и проходят нудные оформления, наступает утро. Выходим к такси. Пальмы, белая стена и средиземноморское небо эрмитажной синевы. Неужели это и есть наша земля?

Таксисты пререкаются, кому ехать, с таким видом, будто дело происходит не в аэропорту имени Бен-Гуриона, а в Ереване, на Норкском массиве. Нас везет кудрявый парень с кожей кофейного цвета. Сам он здешний, родители — из Йемена. Первый живой йеменит в нашей жизни. В машине включено радио — об-

суждаются взаимоотношения внутри Ликуда. В другое время и в другом месте я бы прилип к приемнику, но сейчас — страна за окном! Необычайно яркие краски — в Союзе такие известны, наверно, только наркоманам. И до чего ухоженная земля! Никак не поверить, что такого можно добиться всего за несколько десятилетий. Непрерывным потоком идут поселения и городки. Белые дома, одноэтажные, трехэтажные на курьих ножках, а вывесок, а реклам столько, что не успеваешь прочесть. Все какое-то необычайно концентрированное, между домами и городками не видно неиспользованных пространств. Такси едет по длинной улице, потом сворачивает в переулок. ...Слезай, приехали! Центр абсорбции Раанана.

... Осуществление мечты — любопытный психологический процесс, напоминающий химическую реакцию. Мечта на самом деле не осуществляется — она умирает, рождая реальность, и приходится напрягать память, чтобы восстановить, как это представлялось. А представлялось, между прочим, значительно хуже, чем есть. Какие-то страхолюдные сабры, битком набитые автобусы, грубость, грязь... То ли мы привыкли рассчитывать на худшее, то ли в глубине души продолжали верить советской пропаганде... Наверно, не один человек моего поколения втайне от самого себя делает стойку на красный флаг и каким-то потаенным уголком разума отказывается верить в реальность, не санкционированную советской газетой. Что делать — наши мозги искалечены еще в самом детстве. Нам нужна пусть и удушающая, но гарантирующая цензура, делающая мир скучным, но зато и безопасным. Советский человек теряется в мире, где "все дозволено", и принимается возмущаться, например, порнографией, как будто кто-то заставляет ее читать и смотреть. Наверно, мы вообще не научены самостоятельно делать выбор. В Советском Союзе люди живут по принципу "что дают": дают колбасу — покупают колбасу, дают Набокова — читают Набокова... Теперь же мы оказываемся в растерянности перед тысячей способов использовать и драгоценный шекель, и драгоценную свободную минуту, и драгоценный единственный голос на выборах...

... Первым жителем центра абсорбции, которого мы встретили, был необычайно темпераментный румынский еврей лет пятидесяти. Мы стояли у стойки дежурной и выясняли, как и за какие деньги сможем съездить к друзьям в Иерусалим. Оказалось значительно дороже, чем думали. "О! — сказал еврей. — Они не зна-

ют, куда приехали". Далее выяснилось, что о происходящем здесь можно рассказывать неделями, что каждый отдельный еврей — слегка с приветом, а когда евреи берут власть — это вообще катастрофа, что эта земля — историческая родина жульничества, нашего национального ремесла, и не из-за того же нас ненавидели народы, что мы соблюдаем Тору... Мы шли мимо ослепительно-белых домов, посреди буйной январской зелени, мимо пальм и апельсиновых деревьев, и араб-дворник в косынке поднял голову и поглядел на нас тяжелым оловянским взглядом. Не ходите, дети, в Африку гулять!

Наш собеседник перешел на Румынию. Мы узнали, что в России свобода, а в Румынии тяжелая диктатура, Чаушеску старый параноик, и жизни нет никакой. Я спросил: "Ну, и как, довольны, что переехали из ужасной Румынии в ужасный Израиль?" — "Еще бы!" — ответил румынский еврей. Доволен-то доволен, а ситуация отчаянная — два года в стране, а работы еще нет, у жены тоже, и живут непонятно как...

Я подозреваю, у каждого, кто сюда только что приехал, бывают моменты, когда душа на минуточку перестает ликовать и из глубин ее исторгается крик: "Хочу к маме!" Теоретически все просто: получают разрешение — прыгают от радости, прилетают в Лод — целуют родную землю... В действительности же появляется столько неожиданных и непредусмотренных чувств, что впрямую писать психологический роман. (По Виктору Шкловскому, предмет психологического романа — парадоксальные чувства: когда горюют на свадьбе и радуются смерти родственников.) Я знал семью отказников с восьмилетним стажем — когда они получили разрешение, у них был такой вид, будто их отправляют на каторгу. Мне было смешно, когда глава семьи пришел из ОВиРа и трагическим голосом сказал: "Мы уже не граждане СССР..."

Сам же я неожиданно для себя испытал ужас, узнав, что с какого-то рокового момента я уже не член профсоюза.

Как ни крути, в покинутой нами стране остаются не только страдания, но и вся вообще наша жизнь. И чем ближе день отъезда, тем явственнее приближение какой-то черты, за которой то ли темно, то ли слишком светло, но ничего уже не видно. А здесь даже кошки мяукают по-другому. Совсем по-другому организованы пространство и время, а такие вещи, как магазин и деньги, только приблизительно соответствуют одноименным советским

реальностям. И очень быстро привыкаешь к тому, что можно обложиться до потолка номерами "Двадцать два", "Панорамы" и "Круга" — когда только читать? Правда, какое-то время еще пугаешься по привычке, входя в здание с табличкой "Всемирная сионистская организация", еще прикидываешь, "телефонный" ли разговор...

... Раанана—Тель-Авив. Полчаса и четыре шекеля на двоих. Тель-Авив—Иерусалим — час и десять шекелей на двоих. Автобус разрисован, как индеец, в салоне включено радио, невозможно понять, где мы едем, указателей нет — одна реклама, я не спал двое суток, у меня болит голова, мне вспрыснули ЛСД, я с ума схожу, вместо белых домов появились закопченные серые с узкими проездами, центральная автостанция, все покрыто пылью, в забегаловках ошиваются мужчины сомнительного вида, над головой бухает тяжелый рокк, хасид в пальто бредет по тротуару, вооруженные солдаты садятся в автобус на Кирьят-Шмона...

И вдруг — покой. Тель-Авив остается позади, и за окном нового уже, иерусалимского автобуса распростерлись зеленые поля, потом холмики, холмы, сосны... Солнце заходит, кругом спокойно и грустно. А потом мы приезжаем в город, и здесь идет дождь, и по улицам идут неторопливые, спокойные люди в плащах. Это Рига? А может, Вильнюс? Да нет же, Иерусалим...

... Пожалуй, из всех "запрограммированных" чувств позже всего приходит чувство родины. В СССР мы говорили: "Хотим на Родину", "едем в свою страну" — не знаю, у кого как, а я это произносил без большой внутренней уверенности. Оно все, конечно, правда, но не под пальмами же я в самом деле родился! И действительно, эту землю можно называть экзотической, необыкновенной, замечательной, но родной... Какая же это родная земля, когда кактусы в придорожной траве растут? И все же... Где бы ты ни был, идешь или едешь, какое бы ни было настроение, потаенным фоном присутствует чувство какого-то блаженного слияния с толпой, ощущение отдыха после многолетнего напряжения. И что-то необычайно родное чувствуется в безнадежно провинциальных переулках Тель-Авива, их обшарпанных домах и по-нищенски пестрых вывесках, и при виде самого большого безобразия не тянет ругать каких-то обобщенно-безличных "их" и становиться в позу возмущенного прохожего. Потому что все это наше, и спасибо, что существует.

Д. Сливняк — лингвист, кандидат наук, активист алии из Еревана; в Израиле с 1988 года.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Тысяча и один народ. Двадцатый век — век акселерации. Скорость размножения и уничтожения народов в нем превосходит все, что было известно о размножении и уничтожении в прошлом. Раньше народы исчезали в течение столетий. В XX веке за три года действия лагерей смерти была уничтожена треть еврейского народа. Раньше народы создавались веками. За пятьдесят лет XX века арабский народ стал двадцатью двумя народами, а ведь век еще продолжается, и в арабском языке тысяча названий для верблюда. Арабский народ разместился на территории, равной 13 миллионам квадратных километров. Это больше Европы. Это меньше, чем у него было в VIII веке, когда он вместе с чужими землями похищал их названия для будущих арабских народов и проблем: Египет, Сирия, Иордан, Палестина. Обладатель 13 миллионов квадратных километров и 21 государства, земляной и нефтяной миллионер, арабский народ сумел внушить “прогрессивному человечеству”, что одно из самых больших несчастий XX века состоит в отсутствии у арабов двадцать второго государства.

Александр Гордон

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Архипелаг мирлаг. На сегодняшней израильской политической улице разница между правой и левой стороной установ-

ливается с помощью лагерной терминологии: справа “национальный лагерь” (маханэ леуми), слева “лагерь мира” (маханэ шалом). Граница между двумя лагерями проходит по спорной границе страны. Лагеря спорят о государствах, о том, сколько государств должно быть в Эрец-Исраэль. Наши арабские соседи о границах и государствах не спорят. Им ясно, что все принадлежит им...

Оба израильских лагеря считают, что должны быть уступки. “Лагерь мира” (мирлаг) считает, что евреи должны уступить арабам часть территории, и это приведет к миру. “Национальный лагерь” считает, что уступки должны быть арабскими, а евреям уступать нечего и отступать некуда. У наших арабских соседей нет лагеря мира, у них есть только национальный лагерь...

Немного о значении камней на Ближнем Востоке. Говорят, что в споре рождается истина; что истина лежит где-то посередине, то есть в данном случае, наверное, между лагерями. Однако на Ближнем Востоке, то есть на арабском Востоке, нет середин — здесь все крайнее. Истина в том, что Израиль находится в середине арабского мира, не знаящего середин. Это обстоятельство ясно выражено в известной Палестинской хартии: “(Арабы) ставят целью уничтожение сионизма в Палестине” (15); “Раздел Палестины в 1947 году и провозглашение государства Израиль являются совершенно незаконными” (19); “Вооруженная борьба является единственным путем освобождения Палестины” (9). Таким образом, размеры арабских территориальных претензий к Израилю равны его территории.

Истина лежит посередине только в израильских университетах. В арабских университетах — в Бирзейте и других — больше знают крайности. Эти крайности летят в евреев камнями. Но израильские университетские либералы не умеют расшифровывать эти камни, ибо те недостаточно древние. Из этих камней частично и складывается пирамида “палестинской проблемы”, считающейся краеугольным камнем ближневосточного конфликта.

Что такое “палестинская проблема”? Сравнить “палестинскую проблему” с камнем нужно при правильной температуре: не при высокой температуре Ближнего Востока, а при низкой температуре холодных расчетов арабских политиков. В таких условиях палестинский камень выглядит типичным айсбергом с большой подводной и малой надводной частями. Внешнюю, надводную часть палестинского айсберга видят многие, внутреннюю, подводную, очень важную часть многие не видят, не осознают,

а в "мирлаге" по разным причинам и не хотят знать. Надводную часть "палестинской проблемы" можно обрисовать так. Сионисты захватили родину палестинского арабского народа; этот народ, частично рассеянный по другим странам, ведет народно-освободительную борьбу за свою независимость. Чтобы изобразить подводную часть палестинского айсберга, напомним некоторые факты.

Историки спорят о том, была ли страна Атлантида, но они хорошо знают, что не было страны Палестины. Название "Палестина" впервые появилось в книгах Геродота в V веке до н. э. как обозначение прибрежной полосы между городом Кадитисом (Газой) и Финикией. После подавления восстания Бар-Кохбы в 135 году н. э. римский император Адриан распорядился дать это название всей Эрец-Исраэль, желая стереть память о ней, как его соотечественники за 65 лет перед этим стерли с лица земли Второй Храм. Решение Адриана было чисто пропагандистским трюком: миф о Палестине должен был стереть реальную Эрец-Исраэль.

В течение 1850 лет Палестина не была особой территориальной единицей с определенными границами. Исключение составляет короткий период существования иерусалимского королевства крестоносцев. Можно сказать, что все это время Палестина была географическим названием, наподобие Галилеи. Поэтому говорить о создании палестинского государства было долгое время так же нелепо, как провозглашать создание, скажем, галилейского государства.

Четыреста лет, с 1517 по 1917 год, Палестина входила в состав Османской империи и управлялась турецким губернатором, находившимся в Дамаске. Она считалась южной провинцией Сирии. Геродот наряду со словом "Палестина" применяет эквивалентное по смыслу название "палестинская Сирия": "От Финикии же этот полуостров тянется вдоль Нашего моря через палестинскую Сирию". Не было никаких различий между ее арабскими жителями и остальным населением "Большой Сирии". Вот почему миграция 200 000 арабов (по данным United Nations R.W.A. Review, Jnf. Paper N 6, September 1952), привлеченных из Сирии в Палестину экономическими успехами сионистов за 26 лет британского мандата, никогда не считалась эмиграцией из одной страны в другую. А ведь немалое количество арабов иммигрировало и до 1922 года, с начала активного заселения Палестины сионистами.

Большинство арабов Османской империи было ее верными гражданами, поскольку не видели в своих братьях по мусульман-

ской религии, турках, угнетатели. Когда начался распад империи, вызванный ее военными поражениями в первой мировой войне, лишь небольшая группа арабов во главе с шерифом Мекки Хуссейном и его сыновьями Фейсалом и Абдаллой стала на сторону англичан против турок. Недаром английский премьер Ллойд-Джордж в книге "The Truth about the Peace Treaties" (London, 1936) пишет: "Арабы Палестины сражались за турецкое владычество". Верность Абдаллы англичанам была полностью вознаграждена: он получил (в 1922 году) 77 процентов территории Палестины. Этот кусок получил название Трансиордании и был объявлен англичанами независимым государством в 1946 году.

Распад Оттоманской империи привел к арабскому национальному возрождению. В рамках этого движения "палестинский" национализм был очень слаб. 2 июля 1919 года в Дамаске состоялся сирийский арабский конгресс, в решениях которого говорилось: "Мы требуем, чтобы не было отделения южной части Сирии, известной как Палестина, от остальных частей сирийской земли". Сопротивление декларации Бальфура было арабским, сирийским, но не палестинским. Определенный шаг в сторону палестинизации был сделан в результате раздела Большой Сирии: Англия получила мандат на Палестину, а Франция — на Сирию и Ливан. Начиная с 1920 года, стали организовываться пропалестинские группы. Однако наряду с ними создавались просирийские и панарабские течения, игравшие гораздо более важную роль, чем палестинские. О стремлении палестинских арабов к объединению с другими арабами говорит торжественный прием, который они оказали в июне 1933 года свергнутому французскими сирийскому королю Фейсалу во время его визита в Палестину. Арабское восстание 1936 года в Палестине также носило общеарабский характер. В нем принимали участие сирийские и иракские арабы, а также друзья.

Толчок к палестинизации дало решение королевской комиссии Пилия в 1937 году о разделе Западной Палестины на арабское и еврейское государства. Но даже в тот период глава палестинской партии иерусалимский муфтий эль Хуссейни повторял следующую сакраментальную фразу: "Поскольку эта страна принадлежит не только арабам Палестины, но, всему арабскому и мусульманскому миру, на арабских королей и их губернаторов ложится обязанность руководить нами советом и решить с нами..." Вскоре решение комиссии Пилия было аннулировано, и

после опубликования в 1939 году антисионистской Белой Книги Макдональда, несколько успокоившей арабов, палестинская тенденция пошла на убыль. Во время второй мировой войны среди палестинских арабов были популярны планы образования государства Большая Сирия в составе Сирии, Ливана, Западной Палестины и Трансиордании с возможным присоединением Ирака. С 1937 по 1948 год Египет, Сирия и Трансиордания готовились поделить Западную Палестину между собой. Захват Иудеи и Самарии Трансиорданией в 1948 году был началом осуществления этого проекта.

Проблема беженцев войны 1948 года оказалась недостаточным стимулом для кристаллизации идей палестинской государственности. Даже создание в 1964 году ООП не привело еще к доминированию концепции "палестинского народа" в арабском мире. Ситуацию изменила, по-видимому, Шестидневная война.

До 1967 года среди арабов господствовало мнение о том, что конфликт с сионизмом является конфликтом всего арабского мира. После Шестидневной войны в арабской пропагандной стратегии появился новый важный нюанс. Арабская честь была сильно задета поражением в войне. Стало неприличным представлять израильско-арабский конфликт исключительно как столкновение большого арабского мира и маленького Израиля, ибо арабские армии потерпели сокрушительное поражение. Гораздо выгоднее было представить дело как "агрессию" большого Израиля против "маленького героического палестинского народа". Такой "товар" легко продается и покупается на международном политическом рынке. "Прогрессивное человечество" охотно поддерживает борьбу "маленького палестинского народа", его право на самоопределение и т. п. Чтобы усилить впечатление от этого пропагандистского шага, арабы выдвинули другую блестящую идею: арабская пропаганда стала приписывать палестинскому народу черты еврейского — маленький, рассеянный, живущий в "диаспоре", гонимый, лишенный родины, страдающий от геноцида. Произошла инверсия ролей. "Прогрессивное человечество" и его составная часть "мирлаг" приняли новый миф. На наших глазах рождается "палестинский народ", ранее немыслимый даже в арабской среде. При этом рождающийся народ, получая еврейскую оболочку, несет антиеврейский заряд. Поскольку самое слабое место в концепции "палестинского народа" — его существование, арабы, в свою очередь, отвергают существование еврейского народа. Вот как это

формулируется в Палестинской хартии: “Утверждения об исторических и религиозных связях евреев с Палестиной несовместимы с фактами истории... Иудаизм, будучи религией, не есть фактор самостоятельного народа. Евреи не образуют отдельной нации со своей индивидуальностью; они являются гражданами тех стран, которым они принадлежат” (20). Интересно, чем отличаются палестинский или иорданский “народы” от остальных арабов или друг от друга?

Миф о “палестинском народе” образует надводную часть айсберга. Он затеняет расовую суть конфликта: арабский мир, по мнению арабов, должен быть однородным, чужой народ не должен жить на Ближнем Востоке. Палестинский народ призван здесь заменить еврейский. Суть ближневосточного конфликта не изменилась. Он лишь получил палестинскую упаковку.

“Палестинская проблема” как непалестинская. Война 1967 года привела к совершенно новому виду оккупации — палестинский миф оккупировал огромные пространства на всех континентах, включая Антарктиду, если иметь в виду упомянутый айсберг. Быстрая и успешная оккупация им “прогрессивного человечества” поразительна, ибо в Палестинской хартии ясно сформулирована конечная цель — уничтожение Израиля. За всю историю “прогрессивного человечества” ни одна концепция не получала у него такого широкого признания, если в ней содержалась идея уничтожения государства. Следует отнести эту арабскую оккупацию к самым большим пропагандным успехам в истории.

Если очистить ближневосточную проблему от ее блестящей и слепящей палестинской оболочки, то видно, что для арабского мира проблема состоит не в мирном сосуществовании с евреями, а в самом существовании Израиля. Рассмотрим в этом аспекте, как могло бы изменить ситуацию создание палестинского государства в Иудее и Самарии. Тем самым мы бы вернулись к положению до 1967 года, когда никакого мира не было. Возник бы не мир, а борьба за оставшуюся территорию Израиля, та самая, которая и привела фактически к Шестидневной войне. Только эта война велась бы с позиций, стратегически гораздо менее выгодных для Израиля. Отступление же Израиля еще дальше, к границам, установленным резолюцией ООН 1947 года (до создания государства), вернуло бы нас к положению, из-за которого арабы развязали войну в 1948 году. В глазах арабского мира само рождение еврейского государства было агрессией. В трудах

коллоквиума арабских юристов в Алжире (июль 1967 г.) говорится: "Само существование Израиля есть агрессия" (стр. 118). Таким образом, Израиль уже бывал во всех границах, к которым его толкают теперь ради мира. И в этих границах никакого мира не было. Во всех границах арабы выражали несогласие с существованием Израиля. Так было и до выдвигания концепции "палестинского народа". Следовательно, проблема является д о п л е с т и н с к о й и не палестинской, а р а с о в о й — Ближний Восток должен быть арабским. Решать непалестинскую проблему как палестинскую означает решать мнимую проблему, искать там, где светло, а не там, где потеряно.

В "мирлаге" настаивают на том, что палестинская проблема существует сама по себе, а не как упаковка для агрессивных стремлений панарабизма. Здесь я хочу сделать следующее парадоксальное утверждение. Если бы "палестинская проблема" существовала, то она была бы быстро решена, то есть она бы не существовала. Чтобы разрешить парадокс, приведу недавнее высказывание писателя Йорама Канюка, одного из духовных лидеров "мирлага": "Иордания — это государство без народа, палестинцы — это народ без государства". Это высказывание столь же эффектно, сколь и ошибочно. Не существует именно палестинского народа, а вот палестинское государство, то есть арабское государство на территории Палестины, существует. Это та самая Иордания, у которой нет народа. Если же этому государству необходим народ, то он несомненно палестинский. *Проблема здесь в том, что ищут палестинское государство не там, где оно уже есть, а там, где оно должно быть по условиям всеарабского мандата. Когда расщепляют один мифический народ на два — палестинский и иорданский, — то у одного отнимают страну, а у другого народность.* Такой конфликт можно было бы решить путем взаимных уступок: Израиль признает существование палестинского народа, арабы признают существование палестинского государства Иордании. Тогда безземельный народ получит государство, а обладатель государства получит народ. Таким образом, если бы "палестинская проблема" была палестинской, ее можно было бы сравнительно просто решить. Действительно, по плану раздела королевской комиссии Пиля 1937 года и по решению ООН о разделе Западной Эрец-Исраэль 1947 года арабы могли бы получить палестинское государство мирным путем. Но они от этого отказались. Мирному разделу они предпочли войну. Более

того, в декабре 1948 года на съезде палестинских нотаблей в Иерихоне было принято решение о присоединении Иудеи и Самарии к Трансиордании. Примечательно, что эта оккупация "территорий" не была осуждена палестинскими арабами. За девятнадцать лет оккупации Иорданией Иудеи и Самарии и Египтом — Газы ни один палестинский араб не потребовал "права на самоопределение". Ни один камень, ни одна бутылка с горючим не были брошены во имя "справедливого решения палестинской проблемы" в иорданцев или египтян. В сущности, арабы Палестины определили себя в качестве а р а б о в . Это преобладание "арабскости" над "палестинством" объясняет и ту легкость, с которой они подчинились приказам лидеров арабских стран и покинули в 1948 году свои дома, не вникая призывам евреев остаться: они не покидали родину, а переходили с одной арабской земли на другую. А для упомянутых выше двухсот тысяч из них (плюс естественный прирост) это было просто возвращение в старые дома в Сирии и Трансиордании. Таким образом, "палестинская проблема" решалась иорданцами, египтянами и даже самими палестинскими арабами не путем создания палестинского государства на контролируемых ими территориях, а путем отказа от палестинской независимости. Стало быть, проблема "палестинских беженцев" не является "палестинской проблемой". Поэтому такую, непалестинскую проблему и нельзя решить созданием палестинского государства. Но это не означает, что нет людей, называющих себя палестинцами. Такие люди есть. Они рождаются, умирают, любят и не любят в качестве палестинцев. У них, правда, нет ни палестинского языка, ни палестинского фольклора, ни палестинской литературы. Но если они заявляют, что они существуют, им надо верить. Дело, однако, не в их существовании. Дело в том, что они, как и другие арабы, перефразируют Катона: "Израиль должен быть разрушен". Так получается, что "палестинская проблема" становится для нас экзистенциальной, то есть проблемой нашего существования.

Однако, даже если бы Израиль перестал существовать, это во все не привело бы к созданию нового палестинского государства. Скорее наоборот: еще одно палестинское государство могло бы возникнуть только, если бы Израиль существовал. "Резон д'этр", жизненный смысл этого государства состоял бы исключительно в попытках захватить оставшуюся территорию Израиля. Тем самым оно выполняло бы панарабский мандат по очищению

арабского востока от инородцев и иноверцев. Только в этом случае оно могло бы пользоваться полной поддержкой арабских стран. Но с исчезновением Израиля палестинцы тотчас перестали бы быть выразителями воли арабского мира. Они стали бы тем, чем являются — слабым, маленьким, искусственно выделенным арабским племенем. Они оказались бы один на один с арабским миром, который слишком хорошо знает, как была написана сказка о тысяча и одном арабском народе и как создавался "палестинский народ". Может быть, арабские соседи и не осмелились бы сразу поделить Палестину, как они это намеревались сделать в конце 30-х — начале 40-х годов. Но им помогли бы сами палестинцы. Палестинские вооруженные отряды занялись бы делом, которое хорошо изучили — за неимением евреев они начали бы кровавую борьбу друг с другом за власть и влияние, которая в какой-то мере идет и сейчас, в ООП. Кровавый хаос, созданный при помощи советского оружия, лишил бы Палестину самостоятельного существования. Модель такой гражданской войны перед нами. Ливан — творение Франции — создан по названию географической местности. Сегодня очевидно, до какой степени он является искусственным и нелепым образованием. Нет ни ливанского народа, ни ливанского государства. Ливан разделен между вооруженными группировками, и "ливанская проблема" унесла и уносит больше арабских жизней, чем любая война с Израилем. А сейчас Ливан, возможно, находится на пути к оккупации его Сирией. Арабский раздел Палестины успешно ликвидировал бы "палестинскую проблему", покончив с палестинским мифом. Можно только надеяться, что эта ликвидация не произойдет такой ценой.

Мифология в XX веке. В криминологии давно разработана область, называемая "виктимологией" — наукой о жертвах преступления. Речь идет о том, что жертвы сами порой провоцируют нападение на них. Инверсия, перенос вины с потерпевшего на "нападавшего" — типичный виктимологический термин, а Шестидневная война — яркий пример такой инверсии: потерпевшая сторона, арабы, сами спровоцировавшие военные действия в 1967 году рядом агрессивных шагов, хотят перенести вину за нападение на Израиль. Арабские беженцы 1948 года оказались жертвами этой, начатой арабами же, войны и призывов арабских лидеров оставить места жительства до "победы над израильтянами". Вожди арабского мира по сей день не дают решить проблему беженцев. Арабская пропаганда сознательно завышает их число в

несколько раз (по английским оценкам в 1948 году беженцев было 420 000, по арабским заявлениям — 1–2 миллиона). Арабы хотят увековечить эту проблему, чтобы сохранять политический капитал в борьбе с евреями. Вот почему в лагере беженцев Дегейше пятилетний (!) арабский мальчик говорит, что родился в Яффо, а шестнадцатилетняя девушка, никогда не видевшая Лода, утверждает, что родилась именно в этом городе (Д. Гроссман, "Желтое время", "ха-Киббуц ха-меухад", Тель-Авив, 1987). Беженцы продолжают быть жертвами агрессивности собственного народа, его нежелания признать право израильтян на Эрец-Исраэль. А преувеличение их числа идет в паре с другими чертами поведения арабского мира в ближневосточном конфликте. Точно так же арабы (включая террористов из ООП) приумножают свои несуществующие военные успехи и преувеличивают израильские потери. Откуда берется эта "восточная арифметика" (выражение Ллойд-Джорджа)? Недостаточно, конечно, заметить, что азбучная истина любой пропаганды выражена в тезисе: много раз повторенная ложь становится правдой. Надо иметь в виду и психологическую особенность арабского и мусульманского сознания. "Знай, что ложь — недостаток не сама по себе, а только, если она разоблачена и приносит вред говорящему ее... Если ложь — это единственный путь достичь хорошего результата, она разрешена... Нам можно лгать, когда правда ведет к плохим результатам", — писал в X веке великий мусульманский теолог Эль Газали (цитируется по книге Ш. Кац. "Земля раздора", изд-во Карни, Тель-Авив, 1972). "Ложь, — пишет арабский социолог Санья Хамади в книге "Character and Temperament of the Arabs" (New-York, 1960), — распространенная привычка в среде арабов... Он (араб) больше заинтересован в чувстве, чем в фактах, в создании впечатления, чем в том, чтобы дать истинную картину". Другой известный арабский ученый Эли Шуби в статье "Влияние арабского языка на арабскую психологию" (Middle East Journal, у. 5, 1951, р. 284) пишет: "Арабы обязаны решительно подчеркивать и преувеличивать почти во всех видах коммуникации, чтобы быть понятыми, как следует. Если араб говорит точно то, что он думает, без ожидаемого преувеличения, слушатели будут сомневаться в его позиции или даже заподозрят, что его намерение прямо противоположно тому, что он говорит". Можно возразить, что есть и немало евреев, чернящих свой народ. Однако цитируемые мной арабские авторы вовсе не стремятся очернить арабов или мусульман. Напротив, в дру-

гих местах своих сочинений они выказывают очевидную национальную и религиозную гордость. В данном случае они просто констатируют факт. Речь не идет об очернении арабов, речь идет о структуре их сознания, о ментальности. Некоторые могут осуждать ее, другие одобрять, мы должны ее учитывать. В ней — основа палестинского мифотворчества. Легенды творятся на арабском Востоке постоянно. Точно так же был создан миф о Иерусалиме как о святом городе мусульман, — хотя в Коране этот город упоминается только один раз, мимоходом. (А сколько раз он упоминается в Танахе?!) Как Палестина может быть святой землей для арабов, если они даже не дали ей свое, арабское имя, а заимствовали римское название? Как Палестина может быть столь желанной для арабов, если за пятьдесят лет до декларации Бальфура она была, по свидетельствам очевидцев, пустынной и заброшенной. По разным оценкам население Палестины составляло тогда всего от 50 до 100 тысяч человек, включая примерно 20 тысяч евреев. Совсем немного для страны, которая, по утверждениям арабов, столь притягательна для них. Точно так же был создан миф о (никогда не происходившем) восстании арабов против турок и о “решающей роли” (никогда не существовавшей) арабской армии в освобождении Палестины от турок (имеется в виду отряд в 600 бойцов Фейсала, следовавший за английскими и австралийскими войсками). Выдумка эта убедительно опровергается, например, Ллойд-Джорджем в вышеупомянутой книге, равно как и знаменитым английским писателем Ричардом Олдингтоном (R. Aldington: *Lawrence of Arabia: A Biographical Enquiry*, London, 1969). И точно так же был создан миф о Палестине, заимствованный у римлян и используемый арабами, чтобы заменить этим понятием реальную Эрец-Исраэль. Борьба с мифотворчеством арабов, которое они норовят использовать в целях “освобождения” Палестины от евреев — такая же важная задача, как и любая другая проблема безопасности.

Как решать “палестинскую проблему”? Мир на Ближнем Востоке кажется утопией, если прочитать нынешние арабские, в том числе египетские, газеты или знаменитую Палестинскую хартию. В “мирлаге”, однако, полагают, что эти арабские высказывания не следует принимать всерьез, так как-де умеренные арабы опасаются неумеренных и потому соревнуются с ними в выражении ненависти к Израилю. Нужно, — говорят в “мирлаге”, — уметь читать их мирные намерения между строк. Следует отдать должное уме

ренным арабам: симфония ненависти к нам звучит у них естественно и правдоподобно. Что же касается чтения между строк, то пока не будет арабских демонстраций с плакатами "Мир сегодня" (с евреями), чтением между строк можно только испортить глаза. В "мирлаге" утверждают, что "большинство" арабского народа хочет мира. Советским евреям, жившим по ту сторону демократии, хорошо известна роль большинства при недемократических режимах. Двадцать два арабских племени, включая палестинцев, научились обвинять Израиль в недемократичности, еще не познав демократию. Сегодня это понимают и в "мирлаге". Один из его духовных вождей А. Б. Иошуа говорит: "...палестинские интеллектуалы стали изощренными и утонченными знатоками нашей демократии, сами еще не поднявшись до понимания свободы" (цитируется по переводу в журнале "22", № 53). В "мирлаге" объясняют, что нужно терпеливо ждать, пока арабский народ достигнет демократической зрелости. Но есть опасность, что еще до наступления зрелости соседи успеют выбросить нас в море. Поэтому в "мирлаге" в последнее время решили предпринять действия по ускорению развития мирных намерений арабов. Путь к этому "мирлаг" видит в так называемой мирной конференции по Ближнему Востоку.

Идея международной конференции по Ближнему Востоку в формулировке "мирлага" очень проста. "Среди арабов бродит призрак мира, но они боятся в этом открыто признаться друг другу. Они беременны миром, но не могут никак разродиться. Поэтому нужно помочь им родить мир. Таким акушерским средством призвана явиться международная конференция. Она преодолет страх арабов перед арабами, и они с радостью ухватятся за родившуюся идею мирного сосуществования". Однако, реальность показывает, что довольно трудно преодолеть страх арабов перед арабами. Поэтому пока надежнее строить мир на страхе арабов перед евреями. Трудно достичь мира, пока у наших соседей есть только национальный лагерь войны и они держат в лагерях ненависти палестинских беженцев развязанной ими агрессии. Роды мира на конференции с помощью такого опытного акушера, как Англия, безуспешно пытавшаяся руководить в течение тридцати лет еврейско-арабскими отношениями, тоже дело нереальное. Несерьезно и приглашать Советский Союз, захвативший столько земель (чужих), чтобы он поучал Израиль, как нехорошо захватывать территории (свои). Не особенно объективными судьями мо-

гут быть и коммунистический Китай, не имеющий с “подсудимым” дипломатических отношений, и сторонница проарабской линии Франция. Такая международная конференция могла бы играть только в “палестинскую игру”, а эта игра имеет весьма слабое отношение к расовому подтексту арабских претензий к израильтянам. И были бы вопросы, которые конференция не подняла бы вообще. Например, обязывает ли наличие особой национальной группы к образованию отдельного государства? Если обязывает, то копты, курды, корсиканцы, валлоны, баски и другие, более старые народы тоже должны были бы получить самостоятельность. Наши французские судьи обязаны были бы предоставить независимость корсиканцам. Испанцы должны были бы организовать баскское государство для этого древнего народа. Но ни французы, ни испанцы отнюдь не собираются давать кому-либо независимость, хотя, скажем, баски претендуют не на всю территорию Испании, как арабы в Эрец-Исраэль, а лишь на ее небольшую часть, и отделение басков не угрожает безопасности испанцев. Баскская проблема не собрала ни одной международной конференции, ни одного заседания Совета Безопасности ООН. Ни одна европейская страна не идет на территориальные уступки, но требует их от Израиля. Та же Англия вступила в войну с Аргентиной из-за находящихся в тысячах километров от нее Фолклендских островов, не имеющих никакого отношения к ее безопасности. Те же испанцы не спешат восстановить на своей территории арабское государство, существовавшее там семьсот лет. Испания не торопится принять у себя потомков изгнанных когда-то христианами арабских беженцев. А ведь речь идет о в о с с т а н о в л е н и и арабского государства в Испании, а не о создании н и к о г д а н е с у щ е с т в о в а в ш е г о арабского государства в Палестине. Может быть, можно решить “палестинскую проблему”, переключив арабскую энергию на возвращение во Францию — в Тур и Пуатье? Этот испано-французский вариант решения арабской проблемы может, конечно, вызвать возражения: арабы пришли в Европу силой. Но разве в Сирию, Египет и Палестину они пришли — слабостью?

В “мирлаге” предлагают решить проблему территориальными уступками. Важнейший довод — демография: нельзя править слишком большим числом арабов. Поэтому нужно отступить из густо населенных арабами Иудеи и Самарии. Представим себе, что такое отступление состоялось и Израиль еще существует.

Через несколько лет арабское большинство образуется в Галилее (сегодня количество арабов там равно количеству евреев), а затем в Хайфе. Следуя прецеденту, евреи отступают и из этих, "густо населенных арабами" районов. Такова будет политическая традиция. Молодому поколению израильтян будет передано: нужно отступать, чтобы "сохранить еврейский характер" страны. Куда же отступать из Акко или Яффо ради "сохранения еврейского характера" оставшейся территории? В Бруклин? Кстати, ведь и весь Ближний Восток густо населен арабами. Значит, не нужно было сюда приходить вообще?

Другая причина, побуждающая к отступлению, формулируется в "мирлаге" так. Присутствие на "территориях" губительно для нас в моральном отношении, ибо "оккупация" развращает. Однако, по мнению арабов, оккупированы не только Иудея и Самария, но также Галилея, и Яффо, и все остальное. Разница лишь во времени: Галилея была "захвачена" в 1948 году, Иудея — в 1967-м. Да и если сравнивать с резолюцией ООН от 29 ноября 1947 года, "оккупированные" Израилем территории превосходят Иудею и Самарию. В этом смысле муки совести обитателей "мирлага" по поводу "оккупации" Иудеи и Самарии явно искусственны. То есть, может быть, они и натуральны, но неясно, почему не испытывать мук совести из-за нашего присутствия в других частях Эрец-Исраэль? Евреи не могут не быть бременосцами. Тем не менее именно отступление из Иудеи и Самарии рассматривается в "мирлаге" как акция морального очищения. В таком духе воспитывается и молодое поколение. Ему внушается, что в "оккупации" корень зла. Бремя "оккупации" взваливается на плечи молодежи, которая обучается стыдиться Родины, чуждаться ее, не желать служить в армии "оккупантов", растет в оппозиции или равнодушии к ней. Это воспитывает молодое поколение как потенциальных эмигрантов, "йордим". Пропаганда ведется евреями не против арабов, а против самих себя. Вспомним, что крестоносцы потерпели военное поражение только после того, как они потерпели духовное поражение, потеряв духовную связь с этой землей.

Что же предлагает страстный автор внимательному и интеллигентному читателю? Не мир, не уступки, а войну? Или, может быть, пропагандную войну, наподобие той, которую ведут арабы против нас? Но это же неприлично, да и нереально для демократического государства. Нужно отталкиваться от реальности, которая уже

создалась. Что ж, может быть, и наше государственное существование тоже неприлично. Но чтобы поддерживать это неприличное существование, нужно отталкивать создающуюся реальность, которая норовит оттолкнуть нас. Именно так действует наш сосед Иордания. Это государство на два года старше нас. Но в отличие от Израиля, Иордания не была признана ни Лигой Наций, ни ООН. В 1948 году это не очень законное государство оккупировало Иудею и Самарию. Оккупация была осуждена всеми странами, кроме создательниц Иордании — Англии и Пакистана. Невзирая на это, тогдашняя Трансиордания распространила свой суверенитет на захваченные территории, вручила свои паспорта ее жителям и даже переименовалась: слово “транс”, означавшее по ту сторону (Иордана), исчезло. Иордания решительно создавала реальность, в которой можно было бы жить хашимитскому режиму пришельцев из Хиджаса, опирающемуся на меньшинство. Поэтому, в частности, Хусейну требовалась палестинская легитимация его королевства. Не случайно во время визита в Каир в ноябре 1967 года он заявил: “Иорданское королевство должно стать палестинским государством”. Ведь в арабском мире хорошо понимают искусственность этого государства. В июле 1973 года в газете “Монд” появилось следующее высказывание президента Туниса Бургибы: “При всем уважении к королю Хусейну я считаю, что эмират Трансиордания был создан Великобританией, которая разрешила древнюю Палестину. Этой пустынной территории к востоку от Иордана она дала имя Трансиордания, но нет ничего в истории, что носило бы это имя”. Тем не менее это искусственное, непризнанное государство создало реальность, в которой оно может жить и даже занимать центральную позицию в регионе. Незаконная Иордания ведет законное существование. Законный Израиль ведет полузаконное существование на своей территории. Что же делать? Учиться у арабов создавать более удобную реальность. Во-первых, нужно призвать арабские страны принять и поселить своих беженцев, как это делалось всегда в истории. Во-вторых, необходимо повсюду заявлять о палестинском происхождении Иордании. Не изобретать ничего нового, а только повторять хорошо забытое старое. Эти два условия должны быть необходимыми условиями переговоров с арабским миром. При этом можно поставить проблему беженцев самым гуманным образом: Израиль готов помочь бездомным жертвам арабской агрессивной политики; он готов

начать кампанию сбора средств для абсорбции беженцев в арабском палестинском государстве Иордании или других арабских странах. Помимо того, деньги ООН, растрачиваемые на содержание беженцев в лагерях, можно было бы употребить на их абсорбцию в арабских странах. Если бы сегодня вновь была поставлена проблема беженцев на международном рынке, на столь гуманном предложении Израиль мог бы заработать немало очков. В виду того, что количество беженцев невероятно преувеличено — немало арабов хотят жить, не работая и кормясь за счет ООН, — Израиль мог бы использовать это преувеличение. Чем больше значится беженцев, тем большее их число ушло бы тем самым из Иудеи, Самарии и Газы и тем меньше было бы демографическое бремя. А уходили бы они в свою страну — арабскую Палестину — Иорданию, то есть никакого насилия бы не было. Конечно, у арабской Палестины есть территориальные претензии к еврейской Палестине и у еврейской Палестины есть территориальные претензии к арабской (согласно Танаху в арабской Палестине также было еврейское государство). Однако, арабская Палестина втрое больше еврейской; это несоответствие можно устранить, передав Иудею и Самарию под израильский суверенитет после урегулирования проблемы беженцев.

Прочитавший внимательно статью до этого места может сказать, что всюду, где автор говорит о программе действий, он выдвигает нереальные предложения для выхода из тупика. Беда заключается в том, что мы находимся в совершенно нереальном положении. Мы окружены мифами, как корабль айсбергами. Постепенно мифы становятся нашей реальностью, в которой Израилю остается мало места. Мы хорошо сражаемся на войне, но не можем победить. Одна из причин в том, что пушки бессильны против мифов. Против нас установлены дорогостоящие и дорого обходящиеся нам "мифометы", а у нас нет подходящего антимифического оружия. Поэтому и выход из положения должен быть "нереальным" (с точки зрения большинства так называемого "прогрессивного человечества"), нарушающим унисон сегодняшней полумифической антиизраильской реальности. Решение должно быть основано на новой реальности, максимально очищенной от арабских мифов. Такую реальность нужно создавать.

Александр Гордон — физик, живет и работает в Хайфе; автор многих статей на политические темы в израильской русскоязычной периодике.

1. Постановка задачи. Статья А. Гордона кажется мне полезной, потому что дает материал для давно интересовавшего меня вопроса: как националисты (и не только еврейские) воспринимают вопрос в теории?

Статья эта принадлежит перу хорошего физика. Она сервирована интересными цитатами и ссылками. Она патриотична и логична. У нее много достоинств, исключая одно: она неоригинальна. Все ее принципы и доказательства уже воспроизводились в прошлом десятки раз — и без всякого успеха. Не только в мире, но и в самом Израиле эта аргументация не производила особого впечатления, особенно в среде интеллигентов, — что признает и сам автор. В чем же все-таки порок этой концепции, которая внешне столь выгодна нашему народу? Неужели она превосходна, и просто мир недостаточно совершенен, чтобы ее принять (так думают ее сторонники) — или же в ней самой таится нечто, что обрекает ее на неуспех, несмотря на лучшие намерения авторов?

2. "Ученым можешь ты не быть, но патриотом быть обязан". Попробую спрятаться за специальность А. Гордона — за физику.

В физике, приступая к ис-

Михаил Хейфец

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
И
ЕВРЕЙСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ**

следованию, автор обязан сразу и строго определить исходные термины.

У А. Гордона на первой же странице возникают на "израильской политической улице" два лагеря: "национальный лагерь" ("нацлаг") и "лагерь мира" ("мирлаг", как он их именует).

Возможно, в популистской литературе такие термины проходят. Но по законам логики "национальному лагерю" должен противостоять не "лагерь мира", а лагерь "антинациональный" (или "универсалистский", "космополитический" и т. п.), тогда как "лагерю мира" должен, по всей очевидности, противостоять "лагерь войны". Достаточно т а к (то есть строго) определить понятия, чтобы увидеть их полное несоответствие израильской реальности: "лагерь мира" в Израиле — не антинациональный лагерь, а наоборот — лагерь создателей национального государства; "национальный лагерь" вовсе не лагерь войны, а лагерь людей, впервые заключивших мирный договор с арабским соседом. Поэтому уже сами термины, которыми пользуется Гордон (и не только, кстати сказать, термины) явно несостоятельны в глазах его коллег-ученых.

Далее. В серьезных и уважаемых (в глазах ученых) сочинениях используются только такие цитаты, ссылки и идеи, которые прошли "экспериментальную проверку" и общеизвестно надежны. Поэтому ученых ("интеллигентов", по определению Гордона) будут обязательно раздражать броские заявления Гордона о том, например, что "большинство арабов Оттоманской империи были ее верными гражданами, поскольку не видели в своих братьях по мусульманской религии, турках, угнетателей". В принципе, конечно, трудно оспаривать, что большинство арабов Оттоманской империи были ее лояльными подданными — как, впрочем, и большинство ее еврейских или христианских жителей, кстати! Но даже малообразованному читателю все же известно про турецко-египетские войны XIX века за ту же Сирию и Палестину, про подавление арабского восстания ваххабитов в Аравии и казнь его вождей в Стамбуле, про постоянные конфликты турецких султанов с правителями Марокко и т. п. Аналогичные примеры можно множить и множить...

Третье. В науке считается очень важной безупречная логика доказательства той или иной гипотезы или теории. Как эта логика выглядит в статье А. Гордона? Например, выдвигается тезис: "У наших соседей нет лагеря мира, у них есть только националь-

ный лагерь". Не стану оспаривать этот тезис по существу (хотя гибель Садата и Сиртауи доказывает, что и по сути Гордон не прав) — это не входит в мой замысел. Но если он и прав, и у арабов, проигравших уже пять войн, действительно нет лагеря мира, то отсюда для непредубежденного читателя вытекает логическая гипотеза: а может, это и является причиной арабских поражений? И тогда наличие лагеря мира в Израиле — не такое уж однозначное зло? Я это вовсе не утверждаю, я лишь хочу показать, насколько недостроена, не до конца продумана логика и терминология и легковесна эрудиция в статье А. Гордона. Думаю, именно поэтому интеллектуалы и читают подобные статьи с предубеждением. Забывая о профессиональных навыках, которыми их вооружила основная профессия, ученые "правого лагеря" добровольно оставляют поле боя за интеллектуальную аудиторию своим оппонентам, у которых логика, во всяком случае, куда продуманней. Жаловаться остается на самих себя.

3. "Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами". Продолжим наши рассуждения. Вот центральный тезис А. Гордона: появление палестинского народа на политической карте мира есть следствие демагогического мифа, придуманного арабами для ведения успешной пропагандной войны с Израилем.

Тем неожиданней его вывод, что "это не означает, что нет людей, называющих себя палестинцами. Такие люди есть... у них, правда, нет ни палестинского языка, ни палестинского фольклора, ни палестинской литературы. Но если они заявляют, что они существуют, им надо верить". Этим неожиданным пассажем он делает центральный свой тезис не просто сомнительным, а глубоко вредным!

Напомню, что впервые "мифичность" палестинцев прокламировали отнюдь не "правые": приоритет тут полностью "левый". Голда Меир входила в правительство, которое в обмен за мир соглашалось немедленно вернуть территории. Но услышав про палестинский народ, она гордо объявила: "Это я — палестинка". Только провал всех попыток сначала "левых", а потом "правых" израильских политиков убедить мир в мифичности палестинского народа привел их к отказу от "голдиных идей".

Почему же провалились эти попытки? Ведь чисто фактологически в том, что пишет о палестинцах А. Гордон, много правды.

Еврейские патриоты зачастую объясняют свои провалы не

совершенством окружающего мира, а именно — юдофобией гоев и самоедством самих евреев. Думается, однако, что в данном случае прибегать к подобным объяснениям не решатся даже они.

Почему? Припомним, что “арабские патриоты”, в свою очередь выдвинули аналогичную версию о мифичности еврейского народа: мол, существуют в мире немцы или американцы Моисеева закона, но “еврейский народ” — просто сионистский миф. И всякому советскому человеку известно, что КПСС тоже на все лады пропагандирует подобные утверждения. А уж что-что, но пропагандировать свои лозунги товарищи из КПСС умеют профессионально и влиятельно! Тем не менее, ни они, ни арабы не достигают в этой пропаганде никакого успеха — как и уже упомянутые представители израильского “нацлага” со своей идеей мифичности палестинского народа. Думается, причина провала тут одна и та же. Видимо, в этой попытке объявить борющийся народ неким пропагандистским мифом, придуманным в тактических целях, есть нечто такое, что отвергается современным сознанием, — независимо от того, израильтяне или арабы, националисты или коммунисты пытаются предложить ее на рынке идей.

Что же именно? Ну, прежде всего, подобная концепция фактически отрицает законность существования б о л ь ш и н с т в а современных наций. Она это большинство оскорбляет и, естественно, не найдет у него понимания. Вот, к примеру, Гордон насмешливо пишет: “Палестина была географическим понятием наподобие Галилеи. Поэтому говорить о создании палестинского государства было долгое время так же нелепо, как провозглашать создание, скажем, галилейского государства”. Но ведь на самом-то деле ничего особо нелепого в гипотетическом создании такого галилейского государства нет — ведь существуют же, скажем, Канадская федерация или Австралийский союз, получившие свои названия именно из географии. К этому списку можно добавить и Венесуэлу (“Венецийку”), и Панаму, и — позднее — Шри Ланку, и тот же Кипр. Другое возражение А. Гордона против реальности палестинского народа связано с тем, что “у них нет ни палестинского языка, ни палестинского фольклора, ни палестинской литературы”. Но ведь точно так же не существует ни американского языка, ни аргентинского, ни бразильского! Точно так же до возникновения собственных государств не было, скажем, особого уругвайского фольклора или чилийской

литературы. А если говорить о тождестве палестинцев с остальными арабами, то ведь ни под каким микроскопом вы не найдете этнической разницы и между костариканцем и никарагуанцем. Вот и получается, что совершенно невольно — это-то я понимаю! — подобная аргументация оскорбляет сегодня почти все народы, расселившиеся вне Европы и Азии. Мудрено ли, что выдвигающие ее лица вызывают в мире всеобщую неприязнь? Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен швыряться камнями... В конце концов, и советские евреи не имели, как правило, ни своего национального языка (на идише говорили лишь 17 процентов из них), как почти не имели своего фольклора, литературы и представления о своей истории, и тем не менее для многих из них отказ в признании их народом означал почти то же самое, что покушение на их жизнь!

Если же говорить строго теоретически, то следует напомнить, что современная наука считает, что е д и н с т в е н н ы м признаком, обязательным для существования национального этноса, является его с а м о с о з н а н и е . Вот почему, к примеру, советские евреи, хоть и лишённые буквально всех признаков нации — языка, национальной культуры, религии, не говоря уже о национальной территории или экономике — все же являются частью еврейского народа. Поэтому если А. Гордон признает, что есть люди, с ч и т а ю щ и е с е б я палестинцами, он тем самым фактически признает существование палестинского народа, независимо от всех его оговорок. Более того — любые его оговорки на сей счет вредны, для евреев прежде всего, для советских евреев в частности.

Дело, однако, не ограничивается чистой теорией. Легкомысленное отношение "правого", "национального лагеря" к теоретическим проблемам национального вопроса приводят, в конечном счете, его представителей к крупнейшим провалам и в политической практике. Возьмем, например, типическое рассуждение А. Гордона: "Ливан — творение Франции — создан по названию географической местности. Сегодня очевидно, до какой степени он является искусственным и нелепым образованием ... Сейчас Ливан находится на пути к оккупации его Сирией". Видимо, последняя фраза — просто оговорка автора: Ливан уже оккупирован Сирией, и А. Гордон, по всей вероятности, имел в виду не оккупацию, а аннексию. Между тем очевидно, что если бы Асад не ощущал, что в Ливане ему противостоит н а ц и о н а л ь н о е

сопротивление, он давно бы аннексировал Ливан — ведь идеологически Асад полностью согласен с Гордоном и никакую ливанскую нацию не признает, а практически: кто бы стал ему и з в н е противодействовать (тем более силой) ?

Помню, как накануне гибели Башира Джумайеля израильские газеты напечатали интервью с его отцом, основателем партии фаланг Пьером Джумайелем. В ответ на вопросы нетерпеливых израильтян старик отвечал одно и то же: “Вы не понимаете чужую политическую карту”. Это значило, что посаженный израильтянами на президентское кресло его сын Башир не может действовать против воли своего н а р о д а — даже если он сам с этой волей был не согласен. Мы знаем судьбу Башира, как и аналогичную судьбу главного сирийского ставленника в Ливане — Рашида Караме. Пусть А. Гордон поймет меня правильно: как и он, я считаю, что воля ливанцев была губительной для их собственного народа, это была дурная, злая воля — как воля иранцев в конце 70-х годов или аргентинцев в дни Фолклендского кризиса. Но принимая решение о начале действий в Ливане, наши политические руководители из “нацлага” (какая все-таки ужасная терминология!), видимо, начисто упустили из виду, что перед ними не искусственное и нелепое образование, а все-таки уже н а ц и я , сознающая свое единство, вопреки тому, что она охвачена гражданской войной — и это ошибочное понимание ливанской национальной проблемы привело к тому, что именно там Израиль потерпел первое в своей истории поражение в войне (как в аналогичной ситуации на пути к поражению в Ливане находится сейчас и Сирия, хотя у нее нет ни “Шалом ахшав”, ни вообще “мирлага”).

Меньше всего я бы хотел, чтобы мои рассуждения показались читателю очередной полемикой с “нацлагом”. Сила и величие Владимира Жаботинского заключались в том, что анализируя национальные проблемы, он не искал выгод “для своих”, а объективно и честно разбирался в сути действительности, убежденный в том, что именно п р а в д а (а не “свои мифы”) в ы г о д н а его народу. К сожалению, некоторые из его политических наследников пренебрегают теми принципами, которые были завещаны этим великим человеком. Они практики, они ищут политических выгод — но вместе с и с т и н о й теряют и эти выгоды. Я не веду полемику — я хочу напомнить об истине...

3. Адвокат дьявола. Вторая половина статьи А. Гордона посвящена опровержению идеи международной конференции по Ближ-

нему Востоку. Я был бы очень рад, если бы он убедительно доказал читателям, что эта идея несостоятельна; мне и самому мысль о присутствии и вмешательстве в наши дела как советских, так и китайских товарищей глубоко неприятна. Поэтому мои претензии к А. Гордону сводятся, собственно, к тому, что он плохо доказывает неприемлемость для нас такой конференции. Его возражения немедленно провоцируют куда более убедительные контрвозражения. Вот почему я и назвал эту главку "Адвокат дьявола".

Начнем с обращения А. Гордона к Англии: вам уже однажды не удалось за целых тридцать лет наладить арабо-израильские отношения. Я живо представляю себе, как английский делегат говорит: но с тех пор прошло сорок лет; мы стали мудрее, мы нашли взаимоприемлемые решения в Кении и Родезии, в Малайе и Гонконге, предотвратив там военные конфликты; быть может, сейчас мы и на Ближнем Востоке найдем нужное решение.

Гордон: "СССР, захвативший столько чужих земель, собирается поучать Израиль, что нехорошо захватывать территории (свои)".

СССР: Если мы захватывали территории, то делали их жителей своими гражданами. И не допускали демографического взрыва. Когда Мао Цзэ-дун предложил нам ввести КНР в состав СССР, мы отказались, чтобы не попасть в опасную демографическую ситуацию. Если мы что-то были не в силах переварить, то старались и не заглатывать. И вам, исходя из собственного опыта, советуем то же самое.

Гордон: "Франция — сторонница проарабской линии".

Франция: Мы — сторонники профранцузской линии. Разве не мы снабжали вас оружием для победы в 1956 или 1967 годах? А кто построил вам атомный реактор, тот самый, на котором работал Ваануну?

Гордон: "Ни одна европейская держава не идет на территориальные уступки, но требует их от Израиля".

Европейские державы: Это неверно. В ситуации с басками, о которой вы упоминаете, из многочисленных опросов известно, что две трети басков удовлетворены автономным управлением и террор ЭТА поддерживает меньшинство народа. То же — с корсиканцами. Шотландцы и валлийцы сами, путем референдума, отвергли предложенный им Англией свой провинциальный парламент. То же — с Квебеком, на референдуме отвергнувшим идею независимости. Но когда европейские страны не в силах контро-

лизовать демографическую ситуацию — такую, как у вас, — они именно идут на уступки. Франция отдала Алжир, где французы, сотни тысяч французов, жили четыре поколения, с 40-х годов прошлого века. Это было очень нелегкое решение, но пришлось на него пойти. Испанцы отдали Испанское Марокко, принадлежавшее им четыреста лет!

... И так далее, и тому подобное. Если подвести итог, выясняется следующее: главная наша проблема не только для самих себя, но и в отношениях с окружающим миром — демографическая. Ибо ни о каком соевещании и ни о каких границах не возникла бы речь, если бы евреи в с е м н а р о д о м поселились на своей исторической родине, если бы нас здесь было тринадцать или четырнадцать миллионов! И арабы вели бы себя по-другому, будь мы тут в несомненном большинстве. И наши несомненные исторические права на Иудею и Самарию даже в наших собственных глазах выглядели бы по-другому. Потому что п р а в о на эти земли обещано по Завету в с е м у народу Израиля, и если народ не выполнил свою часть договора, то он не чувствует себя в достаточном праве требовать его исполнения с Той стороны... Но именно потому, что здесь не возникло государство Машиаха, Бен-Гурион один раз уже отдал арабам Иудею, Самарию и Газу — в 1949 году. Включая, кстати, и земли, издавна населенные евреями: Еврейский квартал старого Иерусалима и Гуш-Эцион.

Поэтому и сейчас граница между двумя народами пройдет там, где она будет определена политиками — и только потому, повторяю, что нас тут мало, что мы не исполнили Завет. Так что винить нам следует прежде всего самих себя.

В сущности, в наше время продолжается старый спор практического и политического сионизма. Некогда движение Жаботинского предполагало, что достаточно возникнуть политической рамке в виде еврейского государства, а уж народ сам, естественным образом, заполнит эту подготовленную для него политиками-активистами форму. Вейцманисты же заявляли, что нашим станет только то, что будет у ж е з а с е л е н о евреями. Будет содержание (народ на своей земле), и неизбежно появится его политическая форма — свое государство. Шутница-история поставила эксперименты с обеими версиями. Сначала она дала Бен-Гуриону и его сподвижникам провести в жизнь свою концепцию, и появилось государство Израиль. Причем ирония эксперимента

заклучалась в том, что еврейское государство удалось создать и на тех территориях, где евреи были в меньшинстве (Хайфа, Лод, Рамле, часть Галилеи). Теперь аналогичная возможность проверить правильность своих концепций предоставлена наследникам Жаботинского: границы Израиля (пустая "рамка") практически раздвинулись до планируемых пределов (на Заиорданье п р а к т и ч е с к и никто не претендовал), — и выяснилось, что главным препятствием для воплощения этой идеи в жизнь стало отсутствие в этих границах (на территориях) достаточного еврейского населения и, напротив, наличие там палестинцев. И тогда в кругах "наследников Жаботинского" возникла надежда тем не менее сохранить территории даже без евреев, объявив палестинцев несуществующим народом ("мифом") и противопоставив этому успешному арабскому мифу какой-нибудь такой же удачный "еврейский миф".

4. Наука умеет много гитик, но все-таки это наука. Статья А. Гордона — вопль отчаяния человека, почти потерявшего надежду на нашу победу. "Мы хорошо сражаемся на войне, но бессильны победить. Одна из причин этого состоит в том, что пушки бессильны против мифов. Против нас установлены дорогостоящие и дорого обходящиеся нам мифометы, а у нас нет подходящего антимифического оружия"⁷, — пишет он и заключает: "Поэтому нужно создать новую реальность, максимально очищенную от арабских мифов". В качестве конкретного рецепта предлагается, например, создать фонд для поддержки палестинских беженцев в арабских странах, ибо "на столь гуманном предложении Израиль мог бы заработать немало очков".

Я понимаю, что общественная жизнь, как объект наблюдения и изучения, много сложнее для понимания, чем физические реальности: ведь люди куда сложнее, чем твердые тела. Но непроходимой пропасти между физикой и политикой нет, и навыки, приобретенные физиком, вовсе не следует отбрасывать при анализе общественных явлений.

В сущности, в предложении А. Гордона: очистить реальность от арабских мифов и "создать новую реальность", в которой торжествовали бы мифы еврейские — нет ничего циничного. История в той же степени поле конкуренции национальных мифов, укоренившихся в сознании народов и управляющих их поведением, как наука — поле конкуренции придуманных учеными гипотез, овладевших умами тех или иных групп. Нет ничего не-

приемлемого для “прогрессивного человечества” (то есть для интеллигентов как иронизирует автор) и в мысли о возможности сознательного создания определенных новых мифов. На самом деле, эта идея А. Гордона попросту перефразирует (недаром он все-таки физик) известную мысль Нильса Бора, что для решения достаточно сложных проблем нужны безумные, кажущиеся нереальными идеи. Такой, например, была когда-то теория относительности, которую не то, что принять — понять и то было не в состоянии современное ее автору большинство ученых.

Но на самом-то деле создание успешных гипотез в физике, как и создание успешных мифов в политике (что в принципе одно и то же) вовсе не сводится просто к эффектной выдумке или удачной умственной спекуляции. Вспомним, что параллельно с теорией относительности возникали десятки блестящих по выдумке и тонких по остроумию теорий, пытавшихся объяснить те же факты. Гипотеза Эйнштейна победила в исторической конкуренции, несмотря на парадоксальность ее постулатов, лишь потому, что она в е р н е е остальных описывала и с т и н н у ю р е а л ь н о с т ь ; это выявилось лишь через пятнадцать лет, после экспериментальной проверки Эддингтона.

Так вот, то же относится к социальным гипотезам, которые А. Гордон называет мифами. “Миф сионизма” (а это поначалу был именно миф, такой же как Моисеев миф об избранности евреев; не случайно Герцль говорил: если з а х о т и т е , это не будет с к а з к о й) — так вот, миф сионизма сумел создать “новую еврейскую реальность” (государство Израиль) потому, что он точнее описывал истинное положение вещей, чем более, казалось бы, благоразумные гипотезы биробиджанского укоренения евреев или сверкающие мечты о приходе Машиаха. Правильность “безумной” идеи сионизма была доказана в социальном эксперименте Бен-Гуриона и К^о.

(Параллельно: палестинский миф тоже утверждается сегодня в действительности, потому что он более верно описывает существующую реальность, чем панарабский миф Насера или пансирийский миф Асада. А. Гордон может сколько угодно цитировать высказывания арабских политиков, признающих что они п р и - д у м а л и палестинский миф в своих тактических целях. Эти признания характеризуют лишь самих этих политиков, но не качество мифа. Король Абдалла за противодействие палестинскому мифу вполне реально поплатился жизнью; король Хуссейн едва не поте-

рвал трон: вырезав семь тысяч бойцов ФАТХа и одержав над ними военную победу, он тем не менее счел благоразумным отречься от претензий на Палестину. Но, в конце концов, все это "не наше дело", не правда ли?)

Поэтому выдвижение национальных, политических или социальных лозунгов, то есть "мифов современности", требует от их авторов тех же качеств, что и сочинение гипотез в теоретической физике: всеобъемлющего знания всей совокупности известных науке фактов, глубокого их анализа и, наконец, полета фантазии, пусть безумной, но ухватывающей глубинные связи реальных явлений. Тот, кто предполагает, что достаточно придумать очередную идейку и удачно продать ее газетчикам, чтобы изменить историю, плохо представляет себе реальные общественные процессы.

Это имеет отношение, в частности, и к тому конкретному рецепту, который упоминает А. Гордон — созданию фонда для устройства палестинцев в арабских странах, в первую очередь, в Иордании. Теоретически такой рецепт противоречит тому глубокому и честному тезису В. Жаботинского, на котором была основана вся доктрина Ликуда: "Именно потому, что арабы живой народ, а не сброд, они никогда не уступят нам своей земли. Ни один живой народ не уступает в таких громадной важности жизненных вопросах" (откуда и вытекал выдвинутый Жаботинским принцип "железной стены", как единственного убедительного средства для переговоров с арабами). Это положение до сих пор полностью оправдывало себя в процессе исторического развития! А практически?.. Представим себе, что какой-нибудь арабский политический деятель создаст на базе ливийских миллионов фонд для поощрения израильтян, выезжающих в США (ведь существует же йерида, не правда ли?). Неужели А. Гордон думает, что такой политик всерьез повлияет на баланс сил в нашем регионе? Или "наберет очки" в мировой игре? Скорее, все-таки, его сочтут за глупого, хотя и наглого дилетанта...

Пусть не обижается Гордон, но его уверенность, что западных гуманистов (он неизменно иронически произносит это слово) можно облапошить ловким фуфлом, напоминает мне убеждение блатного, что все лица, не принадлежащие к кругу воров, просто "фрайеры" — его, блатного, законная добыча. В самом деле, они "колес не глотают", по карманам не шарят, выдают ему, вору,

велфер или пособие по безработице и прочее — ну, конечно, дешевки...

Если кто-нибудь хочет придумать настоящий миф, подобный тому, который сочинил Герцль (или теоретики палестинского мифа в наши дни; или авторы "негритюда"), пусть придумает гипотезу, поверив в которую миллионы евреев хлынут в нашу страну. Вот это будет та реальность, отталкивающая сегодняшние арабские мифы, о которой мечтает А. Гордон — и не он один в нашем "нацлаге"...

6. **Трансфер.** В заключение мне трудно отказаться от разбора мифа, который некоторые идеологи "нацлага" особенно настойчиво пытаются сегодня противопоставить палестинскому мифу, а именно — мифа о "трансфере", а попросту говоря — о насильственном изгнании арабов из Эрец-Исраэль (надеюсь, читателям А. Гордона ясно, что он хотя и робкий, но сторонник той же линии)*.

Я — литератор и потому неизбежно большой поклонник свободы слова и печати. Тем не менее, если бы мне дали на одну минуту диктаторскую власть, я бы использовал ее для того, чтобы объявить такой декрет: всякий еврей, высказывающийся за "трансфер", провозглашается злейшим врагом еврейского народа и нашего государства и карается большим штрафом, а потом тюрьмой. Мотивировка закона: пропагандисты "трансфера" являются эффективными агентами влияния ООП в нашей стране и подлежат такому же наказанию, как те лица, которые действуют по прямому заданию врага.

Прежде чем объяснить свою позицию, должен оговорить одно обстоятельство. Среди сторонников "трансфера", возможно, есть еврейские нацисты, насильники, враги гуманизма и демократии. Я объясняю тут свою позицию не и м. В мире неизбежно существуют люди, генетически предрасположенные к убийству, и они подбирают себе идеологию, которая способна оправдать эту заложенную в них тягу к насилию. Убежден, что таких субъектов много, прежде всего, среди террористов. Разговаривать с людьми такого типа бессмысленно; они биологически (а не логи-

* Именно эта идея фактически скрывается за всеми разговорами об Иордании как "палестинском государстве" или о ста миллионах арабов в двадцати одном государстве, которым-де ничего не стоит "принять" у себя еще 2,5 миллиона палестинцев.

чески) запрограммированы на убийство; идеология же лишь определяет выбор объектов для убийства, не более того.

Но есть среди сторонников "трансфера" люди, которых я условно классифицирую как "тип Андрея Болконского". Я имею в виду разговор Андрея с Пьером накануне Бородино, когда князь Андрей предлагает ... убивать пленных! Не потому, что князь злодей и убийца, а как раз наоборот: потому что война — самое гадкое и жестокое дело на земле и гнусно, по его мнению, изображать некое рыцарство, когда тебя вынуждают заниматься таким омерзительным делом. Только когда безумный облик войны станет ясен всем ее участникам, в том числе и зачинщикам, они будут, по Болконскому, ответственнее понимать, что именно затевают, решаясь на войну...

По-моему, среди некоторых наших "крайних" (а в их число я включаю и А. Гордона) господствует такое же умонастроение. Эти люди по своим исходным данным нисколько не отличаются от своих оппонентов из "мирлага" — они благородны, гуманны, демократичны, но, вызванные на войну, где убивают их близких, где ежедневно ставят под сомнение право их (то есть нашего) народа на существование, где оскорбляют жизненно присущие им ценности, они, взвесив на весах своего духа демократию, гуманизм, милосердие, с одной стороны, и угрозу их народу, их близким, их вере, с другой, с нелегкой душой приняли решение: интересы нации перевешивают все. Поэтому бессмысленно напоминать им, как это делает Давид Леви, о еврейских ценностях в данном вопросе — они про них давно знают. Бессмысленно говорить им об ущербе для гуманизма и демократии — они про них не забыли. Их выбор дался им нелегко, в это я верю, и упоминания о демократии, гуманизме, о судьбе евреев в СССР и т. д. кажутся им ненужными пошлостями со стороны тех, кто не прошел их школу духовного искусства.

Вот почему — и только поэтому! — я не буду здесь с ними об этих ценностях говорить. Но существует другой язык, который, надеюсь, будет ими понят.

Любая политическая акция, в том числе и "трансфер", строится по своим законам, как по своим законам ставится любой опыт в физике или биологии. Тот, кто нарушает правила постановки опыта, получает не тот результат, на который рассчитывал — надеюсь, хотя бы ученых в этом убеждать не надо.

Товарищ Сталин был выдающимся, уникальным негодяем,

но — будем справедливы — и великим политиком XX века. Товарищ Сталин, подобно нашим сторонникам “трансфера”, производил выселения народов в целях стратегических и демографических, а вовсе не расовых. Например, корейцев он выселил подальше от японской армии, а мусульман — крымских татар — подальше от их родственников в Турции.

Я был современником этих событий. У з н а л же я о выселении народов в СССР десятилетия спустя. Потому что у Сталина это была государственная тайна высшей степени секретности — даже п о с л е акции, а не то, что д о ...

Товарищ Сталин, большой мастер политических ходов, знал: д е л а т ь это (с его точки зрения, конечно) можно и нужно. Г о - в о р и т ь же об этом ни в коем случае нельзя! Кстати, сходной точки зрения придерживался Бен-Гурион, тоже политик немалого масштаба; он выселял арабов с захваченных земель, но даже в Израиле, где все говорят и обо всем пишут, писать об этой стороне бенгурионовской политики до сих пор не принято и не прилично (как и о многих других сходных акциях) .

Когда речь зашла о международной депортации — например, немцев из Польши и Чехословакии, — товарищ Сталин мог бы осуществить ее одной лишь своей волей — выселив немцев из этих стран в советскую зону оккупации Германии. Но даже он не хотел это решение взять на себя: для осуществления депортации, у которой практически не имелось противников, он тем не менее предпочел заручиться решением Большой Тройки; то есть, говоря нынешним языком, правительства Польши и Чехословакии действовали тогда на основании решения тогдашнего Совета Безопасности, причем принятого единогласно. Так спланировал трансфер профессиональный, выдающийся в своей решительности и беспощадности политик Сталин.

Если же игнорировать э т и п р а в и л а данной акции (то есть покровительство великих держав и соблюдение полной тайны до начала операции), то страна, решившаяся на это, терпит величайший удар с внешней стороны (Иди Амин изгнал индийцев, и после этого его соседям позволили оккупировать Уганду) и, заодно, — с внутренней. Это мы уже сегодня наблюдаем воочию. Поначалу нам еще удалось как-то отпереться от рава Кахане, объявив его парией израильской политики; но когда о “трансфере” заговорили такие политики “основного потока”, как Зеев Ганди или Декель, мы получили в ответ Хануку 1987 года с ее камнями и горя-

щими покрывками. И по правде сказать, пока дешево отделались. Пока...

В завершение хочу напомнить: не было у палестинцев более выгодного для нас тезиса, чем пункт в программе ООП об уничтожении Израиля; не было у них более выгодного для нас лозунга, чем провозглашенное в 1967 году "сбрасывание евреев в море". Зачем же их тогдашнюю глупость хотят скомпенсировать сегодня наши пропагандисты "трансфера"?

Выводы. Мы — далеко не самые умные политики. Но до сих пор нам очень помогала в борьбе темпераментная дикость наших противников. До сих пор!

Теперь они, увы, поумнели. Оказалось, что к борьбе с поумневшим противником мы не готовы...

Я вовсе не против выдвижения хороших пропагандистских идей: у нас их действительно маловато. И если бы А. Гордон реально предложил нам такую идею, я бы только приветствовал ее.

Когда Шимон Перес выступает со своей идеей кондоминиума (совместного управления территориями) — это новая идея, новая концепция. С нею можно спорить, ее можно опровергать, доказывать ее несостоятельность — пожалуйста. Но все же это новая идея, способная (возможно) создать новую реальность.

Когда же я читаю статью А. Гордона, я ощущаю, что мне предлагают, образно говоря, воссоздать концепцию эфира, хотя и с некоторыми поправками. И выдают это за создание новой реальности, свободной от старых мифов! Все дело в том, что в нынешней ситуации нам нужна безумная по новизне идея — по Бору. Когда же нас угощают предложениями, обсуждавшимися десятилетия назад и тогда же доказавшими свою несостоятельность, невольно возникает разочарование и предчувствие провала. От наших ученых, взявшихся писать публицистические статьи, мы вправе ждать такого же напряжения умственных сил, какое ощущается в процессе их профессиональных занятий. Иначе — не нужно баловаться. Профессиональных политиков в Израиле хватает без них.

Михаил Хейфец — писатель и журналист, автор книги "Место и время", "Украинские силуэты" и др., бывший узник советских лагерей; живет и работает в Иерусалиме.

Статьи А. Гордона и м. Хейфеца наглядно демонстрируют, на мой взгляд, общий характер полемики между "левыми" и "правыми" в Израиле. Хотя Хейфец всячески стремится не определять однозначно собственных политических симпатий (к чему его побуждает искренняя любовь к Владимиру Евгеньевичу Жаботинскому), но в ходе своего спора с явно "правым" А. Гордоном он — вольно или невольно — пользуется методами явно "левой" аргументации.

Мне не известно, какой физик А. Гордон, но М. Хейфец, несомненно, весьма эрудированный историк. И в той части его статьи, где он оперирует конкретными историческими фактами, с ним нельзя не согласиться, он действительно вполне объективен. Чего никак нельзя сказать о весьма значительной части его текста, где превалируют уже не факты, а эмоции. И эти эмоции воочию демонстрируют общие приемы "левой" пропаганды. Наиболее распространенный из них — обвинить оппонента в том, чего он вовсе не говорил, а затем негодовать по этому поводу.

С первых же строк Хейфец обвиняет Гордона в неправильной терминологии, хотя тут же сам придумывает словечко "нацлаг" (по аналогии с "мирлагом"), широко пользуется сим

Виктор Богуславский

**НАШ СОЮЗНИК —
АРАБСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ**

придуманном термином, а затем сам же содрогается от его неблагозвучия. Элегантно, ничего не скажешь...

Засим он обвиняет Гордона в "несимметричности" его терминологии — мол, "мирному" должен противостоять "военный", а национальному — универсальный. Но тут уже физик Гордон мог бы возразить стороннику формальной логики, что не только в политике, но и в природе не всегда соблюдается строгость зеркальной симметрии: гравитационному полю не противостоит поле антигравитационное, фотону света не противостоит антифотон тьмы и так далее. Гармония — и в мире, и в политике — достигается более сложным путем.

Наконец, показав — и весьма убедительно — слабую доказательность исторических экскурсов А. Гордона в прошлое, М. Хейфец (следуя, очевидно, столь излюбленной им симметрии) обрушивается на оппонента и в его прогнозах на будущее. И гневно, и страстно обвиняет он Гордона ... в призыве к трансферу. О чем тот вообще не говорил. Говорил об этом в действительности совсем другой правый — генерал в отставке Р. Зеви (Ганди).

А поскольку в статье Гордона об этом ничего нет, отвечать на гневную филиппику Хейфеца придется мне.

Сионистское государство Израиль на протяжении всех сорока лет своего существования (а сионистское движение — за много лет до того) систематически и целеустремленно осуществляет самый настоящий трансфер. Йеменские евреи "на крыльях орлов", евреи Магриба и беженцы Европы на кораблях и лодках, советские евреи на самолетах Эль-Аля, вся алия в Израиль (о недостаточности которой все мы сожалеем вместе с Хейфецем) — это и есть трансфер.

Так где же в таком случае пресловутая любовь Хейфеца к симметрии? Почему его стремление к симметрии отказывает именно тут? Почему привезти Михаила Хейфеца за 3000 километров, в страну с чуждым ему климатом, незнакомой социальной структурой и абсолютно неизвестным языком, с тремя чемоданами и сотней долларов в руках (и все это только ради удовлетворения его националистических эмоций!), — это хорошо, а подвинуть ради той же цели араба всего на пятнадцать километров к востоку, в той же климатической, социальной и языковой среде, со всеми его пожитками, — это так уж плохо?

Я понимаю, что у моих оппонентов уже вертится на языке выражение: но ведь то добровольно, а это — насильственно! О наси-

лии я еще скажу. Сейчас отмечу другое важное обстоятельство, которое “левые” почему-то предпочитают не замечать. В предложениях Ганди (и, кстати, профессора Ю. Неемана, Декеля и других сторонников трансфера) не идет речь о к о р е н н о м населении Иудеи, Самарии или Газы (в которой его почти и нет) — речь идет т о л ь к о о б е ж е н ц а х , уже сорок лет живущих в чудовищных условиях лагерей: 600 тысяч в Газе и 400 тысяч в Иудее и Самарии (миллион из полутора миллионов населения территорий)!

И вот тут уж я, в свою очередь, вынужден обвинить Хейфеца в недостоверности исторических аналогий. Он говорит о депортации Сталиным немцев из мест их проживания в лагеря беженцев после проигранной ими войны. Но в нашем случае не победители, а п о б е ж д е н н ы е (арабы) поместили с в о и х беженцев в такие лагеря. Федеративная республика Германия, едва став самостоятельным государством, приняла 14 миллионов (!) беженцев и “перемещенных лиц” из лагерей и абсорбировала их для нормальной жизни. Вот где аналогия, вот чего требуют от палестинского государства Иордании сторонники трансфера.

Кстати, тот же Ганди еще восемнадцать лет назад, в дни “Черного сентября” 1970 года, обвинял правительство Израиля в поддержке феодального антидемократического режима Хуссейна, призывая вместо этого помочь созданию за Иорданом демократического палестинского государства. Так что не такой уж он мракобес, этот генерал в отставке, нынешний директор музея Земли Израиля. Неправ он был, на мой взгляд, только в одном — палестинский национализм арабов территорий и Израиля тогда еще недостаточно созрел. Сегодня он созревает. А созрев — осмелюсь высказать парадоксальную мысль — станет нашим е с т е с т в е н н ы м союзником.

Много лет назад глупые русские правые пытались решить “еврейский вопрос” в России путем погромов. Глупые русские левые тогда же пытались решить его (не знаю, вполне ли искренне), призывая евреев под революционные знамена. И только умные русские правые поддерживали сионизм (то есть еврейский национализм, ориентированный на репатриацию в Палестину), понимая, что п о д л и н н ы й еврейский национализм — естественный союзник русского национализма, ибо избавляет Россию от еврейского присутствия. Тогда победили глупые. (Увы, они, как правило, побеждают.) Результаты — и для евреев, и для России —

нам известны. Сегодня следовало бы учесть этот опыт. Следовало бы понять, что палестинский национализм наших арабов (если только это подлинный, серьезный национализм, не могущий примириться со статусом граждан второго сорта) — единственный шанс существования еврейского демократического Израиля.

Ибо не призывы евреев к трансферу, а только всплеск, мощный всплеск национальных чувств (плюс соответствующее условие) может побудить арабов покинуть территорию (и “территории”) Израиля и поселиться в своем палестинском государстве (как это некогда сделали мы), избавив нас тем самым от необходимости подавления значительного полулояльного, полувраждебного арабского меньшинства в нашей стране недемократическим путем. (Мой сын в восемнадцать лет пойдет в армию, а сын Мусы — в университет. Какая уж тут демократия!)

И здесь место сказать о пресловутом “насилии”. Ведь с таким же успехом этот всплеск арабского национализма, на который я предлагаю уповать, может обратиться на “отвоевание” Луда, Рамле и Яффо, не так ли? (И именно на это, а не на “территории” он, в сущности, сейчас и обращен, не стоит обманываться.) Как же направить его “наружу” без насилия?

Ну, что ж. Я тоже когда-то в юности мечтал превратить Васильевский остров в “еврейское государство”; ну, если не родной Васильевский, то на худой конец Одессу! Мне дали понять: в России будет и останется советская власть, а ты, Виктор Ноевич Богуславский, должен согласиться быть при этой власти второсортным гражданином — или ... Впрочем, тогда никакого “или” еще не было, — если не считать возможности биться головой о стенку. Мы бились — и ворота приоткрылись на какое-то время. Мы поняли намек — и теперь мы здесь, в том еврейском государстве, которое оказалось единственно возможным в существующей политической реальности. Те “соответствующие условия”, о которых я говорил выше, требуют всего лишь четко и решительно сказать арабам, что здесь, в Израиле, в таких-то границах, всегда будет еврейское государство — со всеми вытекающими отсюда для них последствиями. Настоящий националист поймет намек, если ощутит за ним окончательную четкость и окончательную решимость. Конечно, для этого нужны и четкость большой политической мысли, и решимость большой государственной воли. Вот только где их в Израиле взять?

Чтобы оценить — и направить — возможную динамику арабского национализма, нужно прежде всего относиться к нему с уважением и достоинством. Но это именно то, чего не хватает как нашим левым, так и нашим правым. Правые — в основном — делают вид, что соперника и вовсе не существует, а если даже имеет место, то в столь ничтожном виде, что и названия не достоин.

Левые, как бы в пику правым, постоянно твердят о наличии соперника, но при этом непременно скорбят о его убожестве, несчастье и несостоятельности, в преодолении которых непрерывно хотят ему помочь.

Правые делают точно ту же ошибку, что и арабские лидеры сорок лет назад по отношению к сионизму. Они считали, что презрения и ненависти достаточно, чтобы уничтожить противника, — и поплатились за это и политическими, и физическими потерями. Только король Абдалла, который отнесся к сионистскому сопернику с должным достоинством и серьезностью, выиграл в той ситуации.

Сегодня, при должном отношении, у нас есть шанс выиграть этот тур — быть может, окончательный тур соперничества с палестинским национализмом. Он моложе сионизма на несколько десятков лет, но он весьма способный и преуспевающий ученик (как это с горечью констатирует Гордон). Он отнюдь не убог и не жалок, как полагают наши левые: пользуясь политической поддержкой всего третьего мира (во главе с СССР), деньгами всех арабских шейхов и — в значительной мере -- благами израильской демократии, он сегодня находится на подъеме, а отнюдь не в жалком положении. А что до молодости, то и сионизму для начала своей реализации понадобилось пятьдесят лет и два мировых катаклизма.

За сорок лет своего существования Израиль убедил палестинцев, что ставка на тотальную арабо-израильскую войну нереальна. Израиль вышел на первый тур непосредственного военного конфликта с палестинцами шесть лет назад, в Ливане, — и не смог воспользоваться столь благоприятной для него ситуацией. А ведь всего через неделю после начала операции все вооруженные силы палестинцев были у нас в руках — в Бейруте. Как красиво могло бы сыграть в этот момент рыцарское отношение к сопернику и к Истории! Войти в контакт с поверженным врагом и продиктовать ему с в о и условия достойного для обеих сторон мира —

нашу военную поддержку в создании палестинского государства на восточном берегу Иордана с неременным условием расселения там всех палестинских беженцев и свободным приемом всех желающих палестинских эмигрантов из восточного и западного мира. Одновременно такое соглашение устранило бы препятствия к созданию дружественного и стабильного христианского государства в Ливане — и все проблемы непосредственных израильских соседей были бы разрешены. И даже пресловутый “мир с Египтом” обрел бы свой смысл.

Я не утверждаю, что и при нашем рыцарстве события развернулись бы именно по этому фантастическому сценарию. Палестинские лидеры могли бы размышлять о превращении Бейрута в “Сталинград” и упустить свой исторический шанс. Но события могли пойти и по такому сценарию — стоило, во всяком случае попытаться. Однако убожества нашего “правого” руководства хватило лишь на то, чтобы разводить руками под унылые вопли “левых” плакальчиков, и левые в результате вынудили армию к бездействию и уходу, сделав жертвы обеих сторон бессмысленными.

Так был упущен один из шансов Истории.

Сегодня палестинцы начали новый тур — тур “борьбы за мир”, точнее — “войны на истощение”. И вполне можно предположить, что отнюдь не “правые” высказывания о трансфере (как полагает М. Хейфец), а, скорее, “левое” стремление к “мирной конференции” было тем главным, что побудило их швырять камни и “бутылки Молотова” в еврейские автомашины и автобусы.

По всей видимости, среди палестинского руководства гораздо больше разумных людей, чем среди израильской “левой” (или просто меньше мазохистов?!) — во всяком случае, они прекрасно понимают, что в случае войны это мы будем “давать” им палестинское государство и на наших условиях, тогда как в случае “мира”, то есть “международной мирной конференции” это их палестинскому государству будут “давать” нас.

Сначала дадут Иудею, Самарию и Газу.

Затем — Акко, Нацерет и Луд.

Потом — Хайфу, Яффо и Иерусалим.

На оставшейся территории, может быть, и хватит места для редколлегии журнала “22”, но уж точно не хватит места для его читателей.

Виктор Богуславский — архитектор, журналист, бывший узник Сиона; живет и работает в поселении Баркан (Шомрон).

СУДЬБЫ ИДЕЙ

История, как и наша собственная жизнь, идет единственным путем; поэтому каждый зигзаг на этом пути ставит перед воображением томительную загадку: был он единственным возможным или все могло пойти иначе?

Может быть, именно эта неустранимая загадочность истории и ведет к тому, что из нее нельзя извлечь однозначных уроков? Наш разум всегда может оспорить тот вывод, который ему предлагают в назидание; мы всегда можем предположить, что все могло пойти иным путем, если бы то-то сложилось не так, а этак. Может быть, именно эта внутренняя убежденность людей в безграничной податливости истории и рождает их бесконечные попытки преуспеть там, где потерпели поражение их предшественники?

Даже подняв все документы той эпохи, никто не сможет с достоверностью сказать, чем было вызвано решение британского правительства отказаться от мандата на Палестину, объявленное 2 апреля 1947 года. Стандартный учебник излагает ход событий следующим образом: война привела к уничтожению шести миллионов европейских евреев и, как результат, к массовой эмиграции оставшихся в Палестину; британское прави-

Михаил Вартбург

ПЛАТА ЗА СИОНИЗМ

(окончание; начало см. № 56)

тельство пыталось воспрепятствовать этой эмиграции, для чего назначило соответствующую “комиссию по расследованию”; когда эта комиссия тем не менее рекомендовала немедленно открыть ворота эмиграции, ее рекомендации были отвергнуты; естественным следствием такой политики было восстание евреев Палестины и возникновение нелегальной иммиграции; поняв, что подавить эти процессы силой не удастся, Великобритания объявила, что передает палестинский вопрос на усмотрение ООН.

Такое изложение приводит к очевидному выводу: даже мощная Британская империя не смогла подавить национально-освободительное движение крохотного еврейского ишува в Палестине; следовательно, л ю б о е подобное движение неизбежно “обречено на победу”, как противостоящая ему власть — на поражение. Принять этот вывод соблазняет нас и вся последующая история распада колониальных империй в азиатских и африканских странах. Существуют, однако, историки, оспаривающие этот вывод. Одни напоминают, что Великобритания была ослаблена только что окончившейся войной; другие говорят о непопулярности самой идеи войны против исстрадавшихся евреев в британском послевоенном обществе; третьи объясняют исход событий ролью международного общественного и государственного давления на Великобританию в пользу евреев; четвертые вспоминают о геополитических интересах Советского Союза и Соединенных Штатов — и так далее, до бесконечности. Все эти бесспорные соображения сводят еврейское восстание 1947 года на роль лишь одного из множества факторов, которые в своем переплетении образовали данную конкретную и уникальную ситуацию с ее конкретным и уникальным результатом; но тогда интеллектуальная честность заставляет признать, что мы не знаем, каким был бы этот результат, изменись та или иная составляющая; а стало быть, мы не можем и переносить его на другие подобные, но по-своему уникальные ситуации.

Но для сионистского руководства ишува весной 1947 года вопрос стоял совершенно иначе. Как любой участник непосредственного исторического процесса, это руководство исходило из своих собственных интересов и возможностей и стремилось бросить их на чашу весов с максимальным эффектом — в свою пользу. Вот почему в сложившейся ситуации, когда ООН начала обсуждение палестинского вопроса и создание еврейского государства стало реальной возможностью, лидеры “нового ишува”

предприняли лихорадочные попытки объединить все силы еврейства во имя "последнего нажима". Одним из самых сомнительных участков "единого фронта" был стык секулярного и религиозного лагерей в Палестине. Если сотрудничество умеренно-религиозной Мизрахи можно было считать обеспеченным, то благосклонность ультраортодоксальной Агудат Исраэль следовало еще завоевать. По этой причине сионистское руководство предложило лидерам Агуды начать переговоры о совместных действиях. 19 июня 1947 года между "высокими договаривающимися сторонами" было достигнуто соглашение. Оно было куплено дорогой ценой: Еврейское Агентство обязывалось приложить все силы к тому, чтобы в будущем еврейском государстве вопросы личного статуса регулировались еврейским религиозным законом; обеспечить, чтобы суббота была официальным днем отдыха; предусмотреть, чтобы кашрут соблюдался во всех управляемых государством сферах жизни; гарантировать, что доступ желающих к религиозному образованию будет совершенно свободным. Компромисс состоял, таким образом, в том, что вместо провозглашенного некогда Герцлем принципа "отделения религии от государства", теперь, во имя национального единства, принимался принцип "сосуществования религии и государства" — с установлением четкой демаркационной линии между сферами их влияния. Как всякий компромисс, он давал выход из сиюминутного тупика, не был до конца приятен обеим сторонам и содержал в себе зерно будущих конфликтов. Можно снова открыть бесконечные и бесплодные дебаты о том, не лучше ли было на этом судьбоносном историческом повороте еврейской истории пойти по пути, предложенному Герцлем; фактом остается то, что те люди, именно так, а не иначе понимавшие ситуацию, выбрали этот, а не иной путь. И он обеспечил им желаемый в тот момент результат: выступая перед комиссией ООН в Иерусалиме лидер Агуды рав Меир Левин присоединился к требованию о создании еврейского государства. Не забудем, что решение об этом висело на волоске; достаточно было какой-то части палестинского ишува заявить о своей несогласии, и неизвестно, как обернулось бы голосование в ООН.

Теперь же мы знаем, как оно обернулось: 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН двумя третями голосов одобрила раздел Палестины на еврейское и арабское государства. Британское правительство немедленно объявило, что 15 мая 1948 года

его войска покинут страну. Арабские лидеры заявили, что отвергают план раздела и будут сопротивляться ему вооруженной силой. И 14 мая 1948 года, накануне ухода британских войск, лидеры ишува собрались на историческое заседание, чтобы провозгласить Декларацию Независимости Государства Израиль.

Здесь мы получаем редчайшую возможность увидеть историю в становлении. Ибо ни у кого, я думаю, не вызывает сомнения, что в спорах той небольшой группки людей, которые выработывали формулировки Декларации, закладывалась будущая история нашего государства.

Споры эти возникли уже в подготовительной комиссии. Представители религиозных партий настаивали, чтобы в текст было включено упоминание о Боге, обетовавшем Эрец Исраэль Народу Израиля. За этим настоянием стояла мысль, что права еврейского народа на Палестину являются не просто национально-историческими, а — Божественными. Настояние это встретило оппозицию, особенно резкую со стороны левых сионистских партий. Чтобы избежать раскола, снова прибегли к компромиссу: в ивритском тексте Декларации заключительный параграф сформулировали так, что, мол, подписывающие “возлагают свою веру на Цур Исраэль”; в английском это выражение было переведено как “Рок Израэл”, а по-русски оно звучит совсем уж туманно: Скала Израиля. Однако, тем, кто сидел в той прокуренной комнате, было известно, что в еврейской традиции “Цур Исраэль” — одно из эвфемистических наименований Господа; в то же время при желании можно было сделать вид, что это просто высокопарное обозначение “чего-то еврейского”. Поистине — Соломоново решение.

Но если составители Декларации отказались от ссылки на Божественное обетование, то чем они аргументировали право еврейского народа на Палестину? Анализ Декларации показывает, что аргументация эта была насквозь секулярной. Такой анализ проделал недавно профессор-политолог израильского университета Бар-Илан Поль Эйдельберг. Это не первое, но, наверно, самое последовательное — в смысле формальной логики — рассмотрение вопроса; этим оно и интересно.

Декларация начинается утверждением, что “Земля Израиля была местом рождения еврейского народа”. Уже это, с религиозной точки зрения, неверно — еврейский народ родился в момент дарования и принятия Торы на горе Синай и именуется в

Библии “народом” задолго до завоевания Ханаана, еще во время странствий в пустыне. Далее Декларация продолжает: “Здесь (в Земле Израиля) сформировались духовные, религиозные и политические особенности (народа)”. Но не только термин “политические” — даже слово “религиозные” чуждо еврейскому религиозному словарю: в строго ортодоксальном понимании иудаизм не является тем, что другие народы называют “религией”. Знаменитый мудрец прошлого века рав Самсон Рафаэль Гирш разъяснил этот неожиданный, вероятно, для многих парадокс следующим образом: “Под религией мы понимаем представления о Боге, сформированные людьми; поэтому все человеческие религии являются творениями человеческого ума ... и как таковые, могут возникать и исчезать. Тора, однако, не была создана смертными; она была дана свыше; это следует из того, что она уже изначально настолько превосходила культурный уровень народа, которому была дана, что он до сих пор не сумел до конца воплотить ее в жизнь”. Поэтому когда Декларация утверждает, что в Земле Израиля “еврейский народ создал культурные ценности национального и общечеловеческого значения” (неявно имея в виду десять заповедей и всю этику иудаизма, лежащие в основе современной цивилизации), она входит в противоречие с ортодоксальной трактовкой, по которой все это было даровано Богом (и, в частности, только потому является вечным, а не преходящим). В этом месте Эйдельберг делает любопытное примечание: “Трехлетние исследования текста Торы на компьютере хайфского Техниона, — утверждает он, — неопровержимо доказали, что Книга Бытия имеет одного-единственного автора (а не двух, как полагали ранее) и что она может быть дешифрована так, что в ней обнаруживаются имена и события, относящиеся к нашей современности”.

Продолжим, однако, наш анализ. Переходя к обоснованию прав еврейского народа на Эрец Исраэль, Декларация перечисляет следующие аргументы: “историческое право”, “национальное право” и “международное право”. Рассмотрим их вслед за Эйдельбергом. Исторические права — понятие сомнительное, поскольку если его не ограничивать никакими хронологическими рубежами, то чуть не все народы смогут предъявить требования на ту или иную землю, принадлежавшую им в прошлом; если же провести такие рубежи, то непонятно, почему они должны быть выбраны именно в пользу евреев, а не, скажем, арабов? С “националь-

ными правами дело обстоит не лучше: они ведь не так незыблемы, как законы природы; многие политологи попросту не признают, что любой и каждый народ в любых обстоятельствах имеет "право" на свое национальное государство. Что касается "международного права", то здесь Декларация Независимости сначала ссылается на Декларацию Бальфура, а затем — на решение ООН. Не говоря уже о том, что Декларация Бальфура вовсе не предусматривала создания "еврейского государства" (она говорила только о "еврейском национальном очаге" в Палестине), ни Великобритания, ни ООН сами не имели "прав" на Палестину, а потому никак не могли ею распоряжаться... С чем же мы, грубо говоря, остаемся? В этом месте Эйдельберг напоминает примечательные слова Голды Меир. Когда французская газета "Ле Монд" спросила ее, как она относится к тому, что арабы не признают государство Израиль, Голда Меир ответила: "Наше государство существует в силу обетования, данного самим Господом. Нелепо думать, будто ему нужно еще чье-то признание". Именно это, — полагает Эйдельберг, — и является единственным несомненным аргументом; все прочие — от лукавого, то есть от того духа секуляризма, который воодушевлял составителей Декларации Независимости. Уйдя от этого "единственно бесспорного аргумента", они ушли и от "главного вопроса": какими законами должно управляться будущее еврейское государство. Ибо признание того факта, что это государство основано на Торе, требовало — по логике — признания, что оно должно управляться законами той же Торы; в противном случае мы поступили бы, как люди, обосновывающие свое право на одну вещь и на этом основании хватающие у соседа совершенно другую. Между тем составители Декларации записали в ней, что еврейское государство будет основываться на таких ценностях, как "свобода, справедливость и мир, провозглашенные пророками Израиля", и что оно обеспечит такие возможности, как "полное равенство социальных и политических прав независимо от вероисповедания, расы и пола". Все это — секулярные ценности; Тора вовсе не предусматривает равных прав в Земле Израиля для евреев и неевреев; пророки Израиля отнюдь не были современными либеральными демократами или моральными плюралистами и потому вовсе не сводили "справедливость" к формальному равенству; и "мир" в понимании еврейских мудрецов всегда означал состояние "полноты в Торе", а не чисто политическое понятие.

какое счастье, заметим мы в скобках, что составители Декларации, включая и религиозных среди них, понимали, что мир держится не на формальной логике, а на исторически сложившихся и общепринятых (при всей их несомненной относительности) понятиях и столь же исторически сложившихся компромиссах. В противном случае мы, возможно, вообще не имели бы своего национального государства! Тем не менее Эйдельберг прав — не только в своем разъяснении этой неустраимой относительности политического существования всего современного мира, включая Израиль, но и в том, что составители израильской Декларации Независимости всеми силами стремились избежать "абсолютного", то есть окончательного решения всех этих вопросов. И не только потому, что поиск такого решения наверняка закончился бы безрезультатно (это все они сознавали вполне ясно), но еще и потому, что в отсутствии окончательного решения каждая сторона сохраняет возможность дальнейших усилий в свою пользу. Вот почему на том же историческом заседании было решено временно отложить вопрос о будущих законах будущего государства (то есть, по существу, о Конституции страны) и сохранить уже существующие законы и учреждения — в той мере, в какой они не противоречат Декларации Независимости и всем вытекающим из нее изменениям политической реальности.

Это решение обеспечило новому государству юридическую преемственность; оно заполнило вакуум права, образовавшийся с уходом мандатных властей; но одновременно оно увековечило те религиозные суды и религиозные законы, которые были утверждены в свое время этими властями (мы писали о них в первой части нашего очерка); оно восприняло из прошлого существование официального раввина и религиозных учреждений, поддерживаемых на деньги всех налогоплательщиков; короче — этим решением было создано то "статус-кво", та демаркационная линия между религией и государством, на которую сегодня так напирают с обеих сторон секулярный и религиозный лагеря в Израиле.

Впрочем, это еще не был конец споров. Поначалу дело было только отложено, а не решено. Декларация Независимости, среди прочего, провозглашала, что только что созданное правительство Израиля будет временным — вплоть до "создания избранной, постоянной власти государства в соответствии с Конституцией, которая должна быть одобрена выборной Конституцион-

ной Ассамблеей не позднее 1 октября 1948 года". Война с арабами сдвинула все сроки, а тем временем действующее правительство утверждало один за другим законы, которые в совокупности становились некой "малой конституцией" Израиля и необратимо формировали его характер как парламентской демократии с определенными специфическими еврейскими особенностями. "Закон о днях отдыха" утвердил официальными нерабочими днями — для всех граждан государства — нерабочие дни субботу, два дня еврейского нового года Рош ха-Шана, Йом-Кипур и другие еврейские религиозные праздники; "Закон о кашруте" ввел обязательные правила еврейской религиозной кулинарии во всех армейских частях Израиля (вопреки тем, кто предлагал разделить армию на секулярные и религиозные части); таким образом, сионистское руководство выполняло те обязательства, которые дало религиозным партиям накануне провозглашения независимости. В свою очередь, религиозные партии не возражали, когда был принят весьма чреватый последствиями "Закон Перехода", согласно которому избранный наконец израильский парламент (Кнессет) провозглашал себя чисто законодательным учреждением, а не Конституционной Ассамблеей, как предусматривала Декларация Независимости. Они не возражали и против того, что этим законом утверждалась израильская политическая система, — скопированная, насколько это было возможно, с британской модели: с президентом, имевшим права конституционного монарха, правительством, премьер которого назначается президентом, и парламентом, который имеет право на вотум недоверия правительству. Основные пункты этого закона сохранились до сих пор, хотя сам он был впоследствии многократно изменен и даже заменен другим. В одном, но весьма существенном отношении израильская система, однако, отличалась от британской: там выборы происходили по отдельным избирательным округам, что привело к возникновению двухпартийной (в основном) политической структуры, тогда как в Израиле они предусмотрены в соответствии с пропорциональным представительством, то есть вся страна была объявлена единым избирательным округом. Результатом такой структуры было стремительное размножение политических партий — явление, которое оказало решающее воздействие не только на израильскую политическую жизнь в целом, но и на отношения религии с государством в частности.

Традиция многопартийности была такой же изначальной в со-

временной еврейской политической жизни, как и традиция рассматривать весь палестинский ишув как единое целое, как объект "борьбы за влияние" между всеми существовавшими в ишuve партиями. Возникшие к тому времени в секулярном сионизме, равно как и в религиозном лагере малые партии, группы и движения не могли согласиться с британской избирательной моделью — такое согласие было бы для них равносильно политическому самоубийству: в стране, разбитой на множество избирательных участков, они просто не прошли бы в Кнессет. Мы можем понять их лидеров, даже сознавая — или мечтательно размышляя, — насколько иной могла быть израильская история, поступись они интересами партийными во имя "национальных". Но ведь они были уверены, что ими движут как раз "национальные интересы" — в и х понимании! И разве мы сегодня поступаем иначе? Как "общечеловеческое" возникает только через "национальное", так "общенациональное" слагается только из взаимодействия различных групп, движений и партий внутри нации, у него попросту нет иной (реальной) формы существования...

Какова же была расстановка этих партийных сил накануне решающей битвы "за или против Конституции", разыгравшейся в Кнессете между 1 февраля и 13 июня 1950 года?

В сионистском ишuve центральное место занимала рабоче-социалистическая партия Мапай во главе с Бен-Гурионом. В тридцатые годы ей удалось изолировать в сионистском движении своего главного конкурента в борьбе за влияние на рабочие массы — ревизионистское движение Жаботинского, и с тех пор Мапай стала несомненным гегемоном на политической арене. Однако в период борьбы с мандатной властью военная организация ревизионистов, Херут, во главе с Бегиним сыграла настолько заметную роль, что в значительной степени вернула движению Жаботинского его прежнюю политическую роль. Мапай в эти годы возглавляла главную организацию еврейской самообороны — Хагану. Ударные отряды Хаганы, Пальмах, напротив, тяготели преимущественно к левосоциалистической партии Мапам, опиравшейся на кибуцное рабочее движение. Наконец, мелкая буржуазия в еврейских городах и поселках поддерживала либеральную партию "общих сионистов". В религиозном лагере основной по численности и организованности силой была умеренно-сионистская Мизрахи (будущий Мафдал). Ультраортодоксальные элементы ишuve и диаспоры группировались вокруг Агудат Исраэль;

наконец, круги верующих, стоявшие на крайней позиции неприятия сионистского еврейского государства, противоречившего абсолютному религиозному идеалу, имели свою организацию в Иерусалиме — Нетурей Карта.

Борьба между различными движениями и партиями была, конечно, прежде всего, идеологической, так как все они были носителями глубоко различных представлений о путях еврейского народа. На практике, однако, эта борьба, естественно, приобретала формы соперничества за влияние и власть. Создание государства с его могучими — как политическими, так и экономическими — рычагами влияния на избирателей неизбежно и резко обострила это соперничество. В условиях парламентской демократии оно сконцентрировалось на чисто политическом вопросе — кто сформирует правительство?

Первым претендентом на эту роль была, естественно, Мапай; однако сложность ситуации состояла в том, что ее парламентских мандатов не хватало для того, чтобы сформировать такое правительство в одиночку; Бен-Гуриону нужны были коалиционные партнеры. Такими партнерами не могли быть левые сионисты — они в то время открыто ориентировались на Советский Союз и выступали против прозападной ориентации еврейского государства, сразу же заданной Бен-Гурионом. Не могли быть партнерами и правые партии: либералы требовали неприемлемых для рабоче-социалистического движения уступок в экономической области; ревизионисты были исконными врагами Мапай почти по всем идеологическим вопросам. Политическая арифметика приводила к выводу, что умеренно-религиозные круги, а в случае необходимости, как ни парадоксально, даже ультраортодоксы предпочтительнее в качестве партнеров Мапай по коалиционному правительству, чем все прочие сионистские партии. В конце концов, религиозные партии были, что ни говори, "слабыми" партнерами и сфера их интересов, а стало быть — и коалиционных требований, в конечном счете, не затрагивала напрямую те политические и социальные проблемы, которые Мапай хотела сохранить в своем монопольном владении. Напротив, любая другая коалиция неизбежно превратила бы правительство в арену борьбы именно по этим проблемам.

Результатом этих очевидных тактических соображений был тот громадного значения факт, что с 1948 по 1967 год (исключая краткий промежуток 1952—1954 годы) Израилем правила со-

циалистически-религиозная коалиция (явление, кстати, не столь уж редкое в современном западном мире).

Однако компромисс, положенный в основу рабоче-религиозной коалиции, скрывал под собой резкую противоположность идеалов; эта противоположность не могла не выявляться, едва лишь самым ходом жизни на повестку дня выдвигались проблемы, непосредственно затрагивавшие "вопрос вопросов" — место еврейской религии в еврейском государстве.

Позиция религиозного лагеря в этом отношении была, как ни странно, далека от единой и однозначной. Следует понять, что этот лагерь впервые за все тысячелетия своего существования столкнулся с политическими проблемами современного государства. Все эти тысячелетия Галаха развивалась в условиях отсутствия еврейской политической независимости. Она вынуждена была ограничиваться вопросами жизни меньшинства, живущего во враждебном нееврейском мире, где все государственные проблемы решаются чужим большинством. Поэтому развитие Галахи пошло по пути все более скрупулезного уточнения правил индивидуального и семейного поведения евреев и все более принципиального пренебрежения теми сторонами жизни, над которыми евреи не имели никакой власти. Неудивительно, что в момент возникновения независимого еврейского государства Галаха не имела никаких ответов на все связанные с этим вопросы: должно это государство быть республикой или монархией, президентской демократией, как в США, или парламентской, как в Великобритании, нейтралистским или заангажированным в мировую политику — и так далее, и тому подобное.

Был, однако, вопрос, который религиозные партии не могли передать на усмотрение своих секулярных партнеров. Это был вопрос о самой роли Галахи в еврейском государстве. Тут все религиозные партии — по крайней мере, в принципе — сходились в том, что роль эта должна быть ведущей. Но едва лишь вопрос переходил в практический план, начинались разногласия.

Первый главный ашкеназийский раввин Израиля Исаак Герцог (отец нынешнего президента страны) полагал, что конституция еврейского государства должна быть "в принципе" основана на Торе. В то же время он признавал, что в соответствии с резолюцией ООН это государство должно быть демократическим. Решение этого противоречия рав Герцог видел в создании двух юридических систем: галахической для евреев и основанной на

принципах иных религий для других религиозных групп. В то же время галахические суды, считал рав Герцог, должны теперь перенять на себя все проблемы жизни еврейских граждан государства, а не только те, которыми их прежде ограничивали мандатные власти. В частности, их юрисдикция должна распространяться на все вопросы семейного права. Тут, однако, возникало новое противоречие. Если в области гражданского права, утверждал рав Герцог, галахические авторитеты могут ввести новые "Таканот" ("исправления") в Галаху, то в вопросах семейного права, непосредственно регулируемых Торой, это невозможно; но тогда становится неизбежным ограничение прав женщин и некоторых других категорий граждан. В итоге рав Герцог вынужден был признать, что его практический идеал еврейского государства не является "ни полностью теократическим, ни полностью демократическим".

Другой выдающийся лидер Мизрахи рав Меир Берлин предлагал иной путь. Он призывал к немедленному внесению "Таканот" во все разделы Галахи, чтобы приспособить ее к требованиям современной жизни и тем самым создать возможность превращения ее в единственный закон государства, обязательный для евреев и неевреев.

Более любопытный подход развивал третий из лидеров Мизрахи рав Иуда Лейб Маймон, выдающийся талмудический авторитет и первый министр религий в израильском правительстве. Он заявил: "Как государство Израиль не может существовать без Торы Израиля, так Тора Израиля не может вполне существовать без государства Израиль". Однако Галаха, признавал рав Маймон, пока не приспособлена к такому существованию; поэтому, заключал он, полная интеграция религии и государства требует "подняться к вершинам, которых мы не достигали в течение многих веков" — иными словами, она требует полного обновления всей Галахи; а для этого рав Маймон предлагал ... возродить Синедрион!

Это было поистине революционное предложение, даже если взглянуть на него глазами обычного еврея: ведь последний еврейский Синедрион существовал почти две тысячи лет назад; но еще более революционным оно должно было показаться ортодоксальным кругам, которые знали, что по Галахе Синедрион может быть возрожден только с приходом Мессии. Пытаясь обойти эту трудность, рав Маймон ссылался на рукописи Рамбама,

в которых, по его утверждению, можно найти мысль о допустимости возрождения Синедриона даже до пришествия Мессии, если это сочтет необходимым хотя бы половина раввинов, живущих в Эрец-Исраэль; более того, говорил рав Маймон, задача этого Синедриона будет состоять отнюдь не в "реформировании" иудаизма, но только и исключительно в введении "Таканот"; в конце концов, патетически восклицал он, "если наше поколение оказалось достойным возродить еврейское государство, то раввины этого поколения несомненно достойны возродить Синедрион..."

Возможно, в предложении рава Маймона и содержалось положительное зерно; не исключено, что воссозданный Синедрион мог дать мощный толчок раскрепощению окостеневшей галахической мысли и приведению ее в большее соответствие с реальностью современной жизни, что избавило бы израильское общество от многих последующих конвульсий; но скорее всего окостенение это зашло уже слишком далеко. Ибо на конференции раввинов, созванной равом Маймоном в Тверии для обсуждения идеи Синедриона, после его пламенной речи наступило ... полное молчание. Раввины не возражали — они попросту игнорировали призыв рава Маймона. Все последующие его попытки привлечь интерес к своему предложению закончились аналогично. Вкупе с резкой критикой со стороны ультраортодоксов из Агудат Исраэль этого было достаточно, чтобы окончательно похоронить идею рава Маймона.

Еще одна возможность решения вопроса была намечена выдающимся специалистом по Талмуду и членом Верховного суда доктором Моше Зильбергом, который предложил начать разработку "оригинального израильского закона, базирующегося на еврейском Законе, но не идентичном с ним"; поскольку, однако, выполнение такой задачи требовало многих лет работы, идея доктора Зильберга не могла ничего дать политикам, нуждавшимся в немедленном практическом компромиссе.

Поэтому в ходе обсуждения вопроса о Конституции лидер Мизрахи Зера Варгафтик выступил за отсрочку любого "окончательного" решения. "Даже Тора, — аргументировал он, — не была дана сразу; это потребовало сорока лет". Пока же Мизрахи предлагала принять принцип утверждения Кнессетом временных "основных законов" по тем вопросам жизни, которые не терпят отлагательств.

Представитель Агудат Исраэль Меир Левинштейн отверг идею Конституции при любых обстоятельствах. "Израиль не нуждается в конституции, созданной людьми, — заявил он. — Если она противоречит Торе Израиля, то это бунт против Всевышнего, если же она совпадает с Торой Израиля, то это излишне. Введение Конституции неизбежно поведет к беспощадной "культурной войне" ... Любая секулярная конституция подвергнется бойкоту со стороны евреев, верных Торе, и не только в Израиле, но и во всей диаспоре".

Нужно припомнить, что это были времена, когда само существование еврейского государства еще не было гарантировано и зависело от его внутреннего единства; только тогда мы сможем в должной мере оценить скрытую угрозу, содержащуюся в словах Меира Левинштейна. Еще дальше пошел его соратник по Агуде рав Левин, который открыто выдвинул радикальный тезис ультраортодоксов: "Не Тора должна приспособливаться к жизни, а скорее это жизнь должна приспособливаться к Торе. Тора не может быть изменена. И если вы попытаетесь навязать нам Конституцию, которая будет идти вразрез с Торой, мы отвергнем ее. Это приведет к расколу народа, и я не думаю, что такой раскол пойдет на пользу нашему молодому государству; более того — я уверен, что это будет означать для него катастрофу".

Судя по страстным словам раввинов, предостерегавшим, что они готовы на любые "мучения" во имя своей программы, можно было подумать, что сторонники Конституции стремятся ограничить свободу вероисповедания в Израиле, как то делали нееврейские власти в прежнем галуте. В действительности никто из стоявших за Конституцию не посягал на права иудаизма в еврейском государстве; более того, все они выражали глубочайшее уважение к еврейской религии, предусматривали гарантии ее свободы и стояли за поддержку государством религиозных учреждений. Если они в чем и расходились, так это в вопросе о принципиальном положении религии в государстве: одни полагали наилучшим полностью отделить их друг от друга; другие предлагали, чтобы Конституция обеспечивала государственную поддержку иудаизму, как официальной религии Израиля; третьи считали, что Конституция вообще не должна заниматься этим вопросом, который лучше оставить в ведении обычного, повседневного законодательства. Общим же для всех было убеждение, что про-

блема еврейской религии в еврейском государстве не должна быть помехой принятию Конституции; само это принятие они считали непременно необходимым. Великобритания с ее давними демократическими традициями, аргументировали они, может обойтись и без писаной конституции; но новосозданное еврейское государство, рассчитанное на прием репатриантов из стран без таких традиций, нуждается в Конституции как самом мощном объединяющем и воспитывающем факторе.

Как мы видели, религиозный лагерь, при всех своих практических расхождениях, столь же решительно отвергал идею принятия Конституции, угрожая в противном случае "расколом". В этой ситуации решающее слово оказалось за лидером доминирующей партии Кнессета и страны Бен-Гурионом. Он выступил против Конституции.

Население Израила, — заявил Бен-Гурион, — пока представляет лишь ничтожное меньшинство еврейского народа; как же это меньшинство может решать за весь народ? Тем более, если это грозит расколом уже в самом начале государственной жизни?

Выступая против Конституции, Бен-Гурион в действительности, однако, меньше всего руководствовался демократическими соображениями; они были чужды если не его политическому мышлению, то его политическому поведению. Исходил он попросту из хорошо осознанного и вполне понятного нежелания в самом начале государственного пути связывать себя какими-либо жесткими рамками, которые могли бы потом помешать тем или иным непредвидимым сейчас, но могущим стать государственной необходимостью в будущем политическим поворотам. Такая "опportunистическая" линия была некогда сформулирована в Мапай ее духовным вождем Берлом Кацнельсоном, который говорил: "Пока ты не принимаешь чужой принцип — ты на твердой почве: ты можешь возражать против него, бороться с ним, отвергать его. Но с того момента, как ты этот принцип принимаешь, возникают непредвиденные осложнения, а ограничения, на которые ты полагался, остаются на бумаге..." Динамичное развитие нового государства, был убежден Бен-Гурион, может только пострадать от наличия писаной и статичной Конституции; куда лучше гибкая британская система "конституционных прецедентов": она не требует громоздкой процедуры для любого ничтожного изменения политики. К тому же унитарное государство (а именно таким Бен-Гурион видел будущий Израиль) вполне может

обходиться без конституции; твердая власть одной партии позволит ему набраться парламентарного опыта и воспитать у своих граждан минимум демократических традиций, что постепенно приведет к "кристаллизации" Конституции естественным путем.

13 июня 1950 года на рассмотрение Кнессета было внесено три предложения: правых и левых сионистских партий, призывающее к немедленной выработке проекта Конституции; религиозных партий, отвергающих Конституцию во имя "основных законов"; и Мапай, которая предлагала компромисс: Кнессет ограничит свою законодательную деятельность выработкой "основных законов", но сами эти законы будут "главами" будущей Конституции страны (которая, таким образом, принимается в принципе, хотя ее окончательная кристаллизация откладывается на неопределенное будущее). Первая резолюция собрала 39 голосов, вторая — 14, третья — 50; она и стала решением Кнессета. Так — небольшим большинством — был утвержден компромисс, который сохранился на многие десятилетия и за свою долговечность получил название "исторического". За возможность осуществления своих главных целей: создание еврейского государства и соби́рание в него как можно больше групп еврейства — сионизм уплатил такими уступками традиции, которые исключили не только реализацию утопической идеи Ахад-Гаама, но и куда более скромного "светского" идеала Герцля. В свою очередь, религиозный лагерь уплатил по сионистским счетам дальнейшим окостенением традиции: ухватившись за единственную остававшуюся ему практическую возможность существования в противоречившем его идеалу государстве, он тем самым отказался от уникального шанса на религиозную революцию.

В одном, однако, мудрецы оказались правы: ничто, созданное людьми, не может сохраняться вечно. Даже "исторический компромисс".

Поэтому сегодняшнему поколению приходится платить по чужим счетам. По обоим.

Основной фактический материал для данного очерка почерпнут из замечательной книги бывшего члена Кнессета (от либеральной партии) Залмана Абрамова "Извечная дилемма" (США, 1976). Однако трактовки и выводы остаются целиком на моей ответственности. — М. В.

Михаил Вартбург — псевдоним нашего постоянного автора, опубликовавшего в "22" ряд статей обзорного характера.

РУССКИЙ ВОПРОС

*(к 70-летию
Октябрьской революции)*

Михаил Агурский

**СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЭПОХА
РУССКОЙ ИСТОРИИ**

Нет никакого сомнения в том, что большевистская революция — один из поворотных пунктов мировой истории, который определил судьбы человечества на десятки, а может — и на сотни лет вперед.

Историкам хорошо знаком тот неумолимый факт, что непосредственные участники событий не отдают себе отчета в том, куда ведут их действия. Они преследуют одни цели, а развитие событий ведет к другим. Нам, потомкам, значительно легче, — чем дальше уходит от нас та или иная историческая эпоха, тем лучше мы начинаем ее понимать (хотя бы потому, что нам становится известно многое, скрытое от участников событий). Историк поэтому силен задним умом, — он знает победителя. Но и при этом мы зачастую, точнее — почти никогда — не знаем подлинного итога события: ведь последствия поистине крупных событий могут отзываться только через столетия. Наше отношение к ним зависит от того, что произойдет в будущем. Наше настоящее зависит от грядущего...

Что мы можем сказать о большевистской революции уже сегодня? Можно ли говорить о ее успехе? Но успехе чего? Идей революции? Страны, в которой она произошла? Каждому

думающему человеку ясно, как трудно ответить на такие вопросы. Надо прежде определить, что называть успехом и на каком историческом отрезке следует его измерять. На первый взгляд ясно лишь одно: вожди революции и создатели советского государства не могли себе и представить, во что выльется их затея. Вышло нечто, совершенно отличное от того, что они хотели.

Чем дальше мы отдаляемся от 1917 года, тем очевиднее становится, что большевистскую революцию нельзя рассматривать как восстание русского рабочего класса против русских капиталистов. Более того — вообще нельзя рассматривать ее как результат одного лишь внутреннего социального развития России. В действительности революция была в гораздо большей мере обусловлена международным положением России и ее геополитическим конфликтом с Западом, прежде всего — с Германией.

К началу XX века Россия контролировала огромные территории Европы и Азии, включая в себя Польшу, Финляндию и Турецкую Армению, которые с тех пор были ею утеряны. Совершенная Петром революция сверху привела к тому, что в русских городах возникла цивилизация европейского типа, в которой видную роль играли иностранцы (в особенности немцы). Эта городская цивилизация была лишь тонкой и хрупкой коркой над океаном примитивного крестьянского мира, раскинувшегося на огромных пространствах империи. Многие наблюдатели видели эту коренную двойственность русской общественной жизни. Одни, как маркиз де Кюстин, приписывали примитивизм и варварство всей России, другие, как славянофилы, идеализировали этот примитивизм и говорили о вредном влиянии на народ европейской цивилизации, но были и третьи, которые понимали, что перед ними — органическое противоречие. К числу таких пронизательных наблюдателей относился, например, Горький, который уже в 1916 году сформулировал, что в русском народе есть две души: европейская — славянская и азиатская — монгольская. Европейская душа русского народа, по Горькому, представляет его активное начало, азиатская — пассивное; эти две души образовались, как считал Горький, в результате татаро-монгольского нашествия.

В целом, однако, русская радикальная интеллигенция, начиная с Чернышевского, была очень плохого мнения о своем народе, считая его преимущественно народом рабов. Конечно, русские радикалы не могли не замечать постепенную модернизацию стра-

ны, но их приводила в отчаяние медленность этого процесса, связанная с огромными ее размерами и отставанием от современной западной цивилизации.

Вероятно, если бы русское правительство обратило все свои силы на эту проблему, ее удалось бы решить. Но Россия была поражена еще одним бедствием. Огромные размеры неизбежно влекли к еще большей экспансии, и русские правители полагали, что они могут решить свои внутренние проблемы не на пути реформ, а на пути внешнеполитических успехов. Между тем этот путь неминуемо приводил Россию к конфликту с Западом. В начале XX века это противостояние приобрело черты глобального и стало чревато фатальным исходом.

В своем экспансионизме Россия претендовала на территориальное наследие двух тогдашних "больных людей" Европы и Азии — Австро-Венгрии и Османской империи. Поэтому Германия справедливо опасалась, что распад Австро-Венгрии приведет к концентрации под русской властью всех славянских народов неминуемым претензиям расширившейся России на земли, находящиеся под властью турков. Это рассматривалось в Берлине как жизненная угроза национальному существованию Германии и толкало немецких правителей поддержать Австро-Венгрию и Османскую империю. С другой стороны, Англия и Франция не могли допустить чрезмерного усиления прусского блока. Этот запутанный конфликт нашел выражение в расстановке сил во время первой мировой войны, ход которой привел к угрозе национальному существованию России. Февральская революция, приведшая к власти в Петербурге русских либералов, настроенных еще более воинственно, чем самодержавие, не решил главного в то время вопроса — о выходе из войны.

Политический расчет Ленина состоял в том, чтобы возглавить русский крестьянский бунт с помощью временных лозунгов о мире и земле, а затем, после консолидации захваченной власти, прибрать и крестьян к рукам. Первая часть ленинского плана удалась блестяще: в октябре семнадцатого года большевики легко захватили власть. Однако именно в этой победе таилось зерно их будущего поражения.

Русская революция была, по существу, решительным отказом от марксизма, поскольку последний никогда не предусматривал пролетарскую революцию в крестьянской стране, тем более —

совершенную уставшей воевать крестьянской массой, состоявшей из одичавших от ужасов войны людей.

Не только демократические социалисты западного типа, но и некоторые большевики указывали на опасность опоры большевиков на крестьянство. Горький открыто предсказывал, что русское крестьянство может уничтожить начатки европейской цивилизации в России. В то же время он считал, что большевики являются новой цивилизующей силой, каковы бы ни были отрицательные черты их власти.

Ленин меньше всего заботился о том, соответствует ли его программа классическому марксизму. В сущности, он стремился к мировой революции, но ... с центром в России. Ленин понимал, что победа мировой революции немедленно превратит отсталую Россию в задворки мирового социализма; иными словами, всемирный социализм совершил бы то, что не удалось всемирному капитализму — уничтожил бы Россию как великую державу. Ленин же, напротив, хотел сделать именно Россию центром новой мировой цивилизации, своего рода Третьим Римом, и таким образом воплотить старинную мечту русских великодержавных идеологов. Если немецкие социалисты мечтали о своей социальной революции на манер великой французской, рассчитывая, что победоносный социалистический вермахт принесет России социализм на своих штыках, то Ленин стремился к "русскому 1793 году", когда социализм будет принесен в Европу на штыках Красной Армии. (Эта борьба за социалистическое первородство началась очень давно: ее следы можно обнаружить в полемике Маркса и Энгельса с Бакуниным, который утверждал, что немецкие социалисты продолжают политику германских милитаристов, пытаясь закабалить славянство.)

Начиная с 1918 года, внешняя политика Советской России была направлена именно на создание предпосылок мировой социалистической революции с центром в Москве — и только в Москве. Этой цели было подчинено и создание могущественной армии, и муштровка послушных коммунистических партий, как базы будущего влияния, и политика индустриализации, которая должна была подкрепить русские претензии на мировую гегемонию в будущем социалистическом мире.

Но были и другие цели. В традициях прежней русской радикальной интеллигенции Ленин придерживался крайне низкого мнения о русском человеке и, прежде всего, как о работнике;

он видел в русских нацию Обломовых. Поэтому социальную революцию он понимал как переделку русского Обломова, подъем его до уровня передовых европейских наций, а не просто установление социальной справедливости. Справедливость могла подождать; социализм для Ленина был прежде всего ультрасовременной цивилизацией, для создания которой русский народ не был готов ни по своему культурному уровню, ни по своей ментальности. Поэтому следовало прежде всего "перевоспитать" народ и притом — любой ценой.

Обе эти цели сливались в рамках величественной социальной утопии — создания "нового мира" с "новым человеком" и "новой" (то есть покоренной им) природой, в которой побеждены не только стихийные бедствия, но и сама смерть. Поистине, в таком мире не было места Богу, и не случайно Ему была объявлена смертельная война.

Точно так же, как нет сомнений в том, что большевистская революция привела к глубочайшим изменениям в жизни России, нет и сомнений в том, что ни одна из поставленных Лениным целей не была достигнута. Россия после семнадцатого года действительно усилилась, как никогда, но ей не удалось стать центром новой цивилизации, и теперь можно с уверенностью сказать, что это ей не удастся никогда. Большевики действительно спасли Россию, как великую державу, но эта держава вновь противопоставила себя Западу — на этот раз как новая социальная система, — и динамика этого противопоставления привела к тому, что в поисках союзников Россия обратилась — к Азии. Иными словами, она встала во главе всего, что есть отсталого и примитивного в мире, — против всего передового и прогрессивного. Сделать это было тем легче (и до определенной степени тем неизбежнее), что в результате первой мировой войны и того крестьянского бунта, который именовался русской социалистической революцией, Россия сама в значительной мере вернулась к примитивному варварству. И здесь, возможно, таится самый глубокий парадокс большевистской революции. Переворот, ставивший перед собой ультрасовременные цели переустройства человеческого общества, оказался оплотом примитивизма и варварства; система, устремленная к преобразованию Запада посредством социальной революции, возглавила вторжение Азии в современный мир.

Но как смогла в таком случае страна, выбравшая из своих двух

корней азиатский, стать второй в мире промышленной и военной державой?

Дело в том, что большевистская революция не устранила коренной двойственности России — наличия городской цивилизации и крестьянского примитивизма. В первые пятнадцать-двадцать лет большевистская партия была тем активным европеизирующим элементом страны, который с помощью политического террора и принуждения, подобного петровскому, пытался модернизировать Россию. Большевикам, как и Петру, удалось создать высококвалифицированную элиту, вполне отвечающую большевистскому идеалу “нового человека”. Но это опять была лишь элита, пришедшая на смену изгнанной (и частично уничтоженной) прежней элите царских времен; как та, она опять-таки в значительной мере состояла из “пришлых элементов”, — остатков интеллигенции, небольшого числа рабочих, еще меньшего числа крестьян и огромной массы представителей нацменьшинств, среди которых самую заметную часть составляли евреи. Эта-то высокодинамичная элита и обеспечила создание новой (преимущественно — военной) индустрии, организованной армии, современного государственного аппарата, короче — той европейской городской цивилизации, которую уже однажды создал в России Петр. Но ей не удалось изменить страну как целое. Ее возникновение не затронуло народных глубин. Русский народ остался во многом примитивным. Да, большевикам удалось — путем коллективизации и экспроприации крестьянства — заставить десятки миллионов русских крестьян покинуть деревни и переселиться в города; но результатом было лишь разорение сельского хозяйства и примитивизация городской жизни. Разоренная деревня наводнила город и, по существу, завладела им.

Вот почему то, что мы называем эпохой сталинизма, было, фактически, не чем иным, как реваншем примитивизма за революцию. Кошмарный феномен сталинизма нельзя объяснить одной лишь тиранией Сталина, хотя тирания эта, конечно, играла важнейшую роль. Когда Сталин решил установить свою личную диктатуру, он не мог не столкнуться с новой, слишком динамичной элитой, и тогда, в борьбе с ней, он взял курс на опору на крестьянство, начавшее к тому времени преобладать в городах, да и в самой партии. Оперевшись на этот примитивный слой, органически враждебный всякой модернизации, Сталин,

по существу, совершил глубинную контрреволюцию, вернув Россию, как целое, к временам варварского средневековья.

После окончания второй мировой войны советская Россия распространила этот победоносный примитивизм и за своими пределами. В оккупированных им странах Советский Союз опирался на самые отсталые слои; революционная элита, помогавшая Советской Армии установить московское господство, была уничтожена теми же способами, как и в СССР, а политической базой нового строя стали люмпены и подонки, самые примитивные слои населения.

В странах Третьего мира опорой СССР также оказался не местный пролетариат, а самые примитивные и варварские силы, вроде Кадаффи, Менгисту и т. п. Именно они выдавались и выдаются за "лидеров прогресса".

Ошибка Ленина состояла в том, что он полагал возможным в кратчайший срок модернизировать страну и поставить ее во главе мировой цивилизации, опираясь на самые темные, отсталые, примитивные слои общества; более того, Ленин полагал возможным сделать это в отрыве от Европы и, в известной мере, против Европы. Большевизм изменил Европе — и за это он был так жестоко наказан. В конце жизни Ленин, кажется, понял свою ошибку и пытался замедлить процесс модернизации, — но было уже поздно.

Русский народ очень медленно оправлялся после резни и контрреволюции Сталина. Он снова выделил из своей среды научно-промышленную элиту, но управление социально-общественной и государственной жизнью страны оставалось в руках того примитивного слоя, который был призван к власти Сталиным и в силу своей ментальности не мог не тормозить возобновившуюся европеизацию. Что же касается русского крестьянства, которое сегодня и составляет тот народ, который большевики хотели преобразовать в самый передовой народ мира, то оно не выдержало сталинского террора — оно надломилось. Оказалось, что можно заставить людей работать, но нельзя заставить их работать хорошо. Можно запретить продажу водки, но невозможно запретить ее пить.

То, что происходит в последние годы в России, является совокупным результатом всех упомянутых процессов. Началось неизбежное, чисто биологически, устранение сталинских приемников в руководстве страны. Поколение великой чистки, давшее

Брежневых, Сусловых, Тихоновых, Черненко, сошло со сцены. Появилось новое поколение лидеров, пришедших частично из городов, частично — из тех сельских районов, которые всегда отличались от коренных русских областей. Эта элита прошла процесс европеизации и понимает, что ее первоочередная задача — покончить с вековым азиатским варварством России.

Горбачев, как и его предшественник Андропов, — выходец из Ставропольского края — того района страны, где еще до революции практиковались современные формы сельского хозяйства, а население, состоявшее из потомков русских крестьян, бежавших в свое время от помещиков, никогда не знало крепостного права. Если добавить к этому, что и Солженицын — выходец из того же Ставрополя, то новую эпоху с некоторым правом можно именовать "ставропольской эпохой русской истории". Возможно, она окажется поворотным ее пунктом, который ознаменует конец сталинской, "азиатской" эпохи.

Для этого необходима переоценка основных концепций и целей той революции, которая в этом году отмечает свое печальное 70-летие. Россия сегодня нуждается не в экспансии, а в модернизации, ибо только модернизация способна обеспечить ее выживание как великой державы. Для этого нужно вернуться к тем целям, которые некогда ставила перед собой — и не выполнила — большевистская революция. Россия должна вернуться в Европу. У нее нет иного выхода. Тотальная конфронтация с Западом закончилась неудачей; расчет на Азию не только провалился, но и породил внутреннюю угрозу для самой России: через десять-пятнадцать лет в СССР будет свыше 100 миллионов мусульман, которых не удалось интегрировать в прошлом и тем менее удастся в будущем; в то же время русский народ не может обеспечить даже собственного воспроизведения, настолько подорвала его силы насильственная, brutальная и ускоренная модернизация. Если раньше Россия пыталась возглавить борьбу Азии против Европы, то теперь Азия угрожает России как изнутри, так и извне.

Удастся ли русскому народу решить эти задачи? Многое будет зависеть от того, как расценят полученное ими наследие революции нынешние правители России...

Михаил Азвоский — доктор наук, историк, советолог и публицист, автор книг "Идеология национал-большевизма", "Третий Рим" (англ.) и др.; живет и работает в Иерусалиме.

— Несколько лет назад, в статье “Советская глобальная стратегия” (ее перевод был опубликован в “22” № 16), вы писали: “История учит, что после всех крупных военных поражений русское правительство оказывалось вынужденным, под давлением внутренних сил, расширять политические права граждан. И теперь мы снова должны помочь гражданам СССР призвать свое правительство к ответу. Главная стратегическая цель Запада должна состоять в том, чтобы заставить СССР обратиться в н у т р ь — о т з а в о - е в а н и й к р е ф о р м а м ...” То был первый год советского вторжения в Афганистан, которое казалось еще одним безнаказанным шагом неуклонной (и победоносной) советской экспансии. Сегодня, на седьмом году афганской войны Советского Союза, ситуация оказалась такой, как вы предсказывали семь лет назад. Той, к действиям в пользу которой вы тогда призывали Запад. Что привело вас в те годы к таким выводам?

— Я много лет изучаю русскую историю. Именно это позволило мне прийти к упомянутым вами обобщениям. Вскоре после публикации этой статьи я стал одним из советников Президента по русским делам. Это открыло мне доступ к информации о внутреннем положении в СССР — не только к открытой, но и к засекреченной информации. Знакомство с ней подтвердило мои теоретические предположения. Я убедился в том, что ситуация в СССР стала попросту катастрофической. Че-

Ричард Пайнс

ПОПЫТКА ПРОГНОЗА

(интервью для журнала “22”)

стно сказать, прежде я не представлял себе подлинных масштабов этой катастрофы. Мне стало окончательно ясно, что советские лидеры будут в ы н у ж д е н ы пойти на существенные реформы. Этого требовало объективное положение вещей. Давление Запада, к которому я призывал, могло ускорить этот процесс, благотельный как для советских граждан, так и для ситуации в мире в целом.

К сожалению, мои рекомендации: приложить внешнее — экономическое, политическое — давление, чтобы побудить советских лидеров быстрее повернуть к реформам и сделать эти реформы более глубокими и последовательными — не были приняты на Западе. Такого давления сегодня нет. Мы помогаем афганским борцам за свободу, мы оказываем незначительную помощь никарагуанским “контрас”, но в целом сегодня преобладает тенденция предоставлять СССР экономическую помощь и кредиты. На Западе слишком много деловых, финансовых, торговых и прочих интересов связано с СССР, слишком много людей хотят заработать на торговле с ним, чтобы политика последовательного давления могла быть принята и проведена в жизнь.

— Мне представляется, что в те времена вы связывали определенные расчеты на преобразование России с будущей ролью русских национальных сил. Означает ли это, что вы возлагаете надежды на русский национализм как активную конструктивную силу в советском обществе?

— Только не национализм! Я никогда не был поклонником национализма. Я думаю, что русский национализм, в принципе, — весьма негативная сила. Мои надежды и расчеты связаны с русским патриотизмом. Я четко различаю между национализмом и патриотизмом. Солженицын — националист, тогда как Сахаров — патриот. Я против русского национализма. Русский национализм отличается крайней ксенофобией, антисемитизмом и многими другими нездоровыми чертами.

— Все ли разновидности национализма, по-вашему, представляют собой “нездоровые” явления? Относятся ваши слова только к русскому национализму или также и к другим националистическим движениям — в Европе, на Западе, в Израиле?

— Я отвергаю любой национализм. Конечно, некоторые его разновидности более злокачественны, чем другие. Однако любой национализм — всегда превознесение своего народа за счет других, и это — болезненное извращение. Я предпочитаю патриотизм, то есть любовь к своей стране. Когда вы говорите: “Моя страна не лучше и не хуже других, но я хочу работать именно для нее”

(как это говорит Сахаров) — вы патриот. Когда же вы говорите: “Права она или нет, но это моя страна, я не буду критиковать ее и не позволю это другим” — вы националист. Быть патриотом значит быть способным признавать ошибки и недостатки своей страны. И в этом смысле Горбачев и его соратники, скорее, патриоты. Они признают, что в СССР очень многое плохо, очень многое подлежит исправлению. А люди правого, националистического толка, вроде Лигачева, утверждают, что слишком далеко идущее признание своих ошибок “подрывает мораль” и т. п. Вот почему я против русского национализма, почему я не могу считать его конструктивной силой.

— *Однако же, и Солженицын подверг резкой критике многое в современной России. И не случайно бытует такое представление (его высказала на страницах нашего журнала М. Каганская), что Горбачев, в действительности, находится под влиянием идей Солженицына, что его программа во многом повторяет солженицынское “Письмо вождям”.*

— Видите ли, когда говорят, и совершенно правильно, что горбачевское руководство “покончило” с диссидентством как справа, так и слева, то имеют в виду, что оно подорвало его тем, что присвоило себе многое из его лозунгов, призывов и рекомендаций. Но оно заимствовало, повторяю, у самых разных идеологических групп. Поэтому в его программе, в его действиях, а в особенности в его высказываниях, можно найти созвучие со многими — как националистическими, так и демократическими — идеями; но в общем все-таки более похожими, мне кажется, на идеи Сахарова.

— *Каковы же, по-вашему, перспективы этой программы реформ, к которым наконец-то повернуло советское руководство? Не попытаетесь ли вы еще раз предсказать будущее, коль скоро вы уже однажды так точно его предсказали?*

— Более или менее точное, то есть научно обоснованное предсказание требует анализа объективной ситуации. Вы можете, например, смело предсказать, что американский доллар не перестанет падать до тех пор, пока не появятся силы, которые препятствовали бы такому падению. Я предсказал поворот СССР к внутренним проблемам, потому что к этому толкали страну объективные факторы. Сегодня будущее предсказать куда труднее, потому что оно зависит не только от объективных факторов, но и от факторов, так сказать, психологических — от особенностей тех или иных личностей, от степени “коллективной мудрости” советской номенклатуры. Я не знаю, достаточно ли

они разумны, чтобы довести этот процесс до конца. Я настроен, скорее, пессимистически. Я полагаю, что хотя им и следовало бы это сделать, возобладают те взаимогиперплетенные интересы отдельных людей и групп, которые реформам воспрепятствуют. В конце концов, такие частные интересы всегда оказываются сильнее общенациональных соображений. Я уже упоминал о том, как в Соединенных Штатах и в Европе стремление заработать на торговле с СССР берет верх над общими (национальными, стратегическими) соображениями, которые диктуют Западу толкать СССР в сторону более глубоких экономических реформ. Аналогично, в СССР личные и групповые интересы (хотя и другого толка) препятствуют расширению и углублению перестройки. Если бы мне пришлось держать пари, я бы, скорее, поставил на то, что эти реформы будут осуществлены крайне половинчато и неэффективно. Через несколько лет советские руководители вынуждены будут отказаться от своих попыток — именно в силу того, что реформы эти, ограниченные по замыслу и половинчатые по осуществлению, не принесут желаемых результатов.

— И что тогда?

— Что ж, тогда события могут развернуться по одному из нескольких сценариев. Может возникнуть глубокий социальный кризис и широкий социальный протест; может произойти возрождение сталинизма; и наконец, может наступить возвращение к экспансионизму — чтобы отвлечь людей от внутренних проблем.

— *Выходит, все ваши предсказания говорят о повторении — в том или ином виде — того, что, казалось бы, уже преодолено русской историей... Массовый социальный протест — это ведь повторение той революции, 70-летие которой мы сегодня отмечаем, сталинизм и глобальная экспансия — тоже знакомые черты недавнего советского прошлого.*

— Что ж... Если эти реформы не принесут успеха, вероятность социального протеста в стране, на мой взгляд, очень велика. Его подавление подтолкнет к сталинским методам, к неосталинизму. И к внешней экспансии, потому что напряженная внешнеполитическая обстановка прекрасно оправдывает запрещение демонстраций, подавление протеста и так далее. Я говорил недавно с одним высокопоставленным советским руководителем — одним из ближайших советников Горбачева — и спросил его, что же произойдет, **если** перестройка все же не увенчается успехом. И он ответил: **"В таком** случае Россия станет чем-то вроде Индии — страной Третьего мира..." Что ж, это еще одна возможность...

— Не означает ли все это, что Россия как бы обречена возвращаться на одни и те же круги своей истории? Вы сторонник такого взгляда?

— Русская история очень консервативна. Октябрьская революция в действительности не решила ни одной русской проблемы. Ни одна проблема, поставленная русской историей, не была решена. В XX веке единственная серьезная попытка решить эти проблемы была предпринята Столыпиным. И он был убит. Но еще до того, как он был убит, он был всеми покинут. Этот человек поистине глубоко понимал, в чем нуждается Россия — в социальном, экономическом, политическом плане. Она нуждалась в фундаментальном преобразовании. Но произошло по-другому. Произошла революция — жестокая, насильственная и, в конце концов, ничего не решившая. Поэтому все проблемы, стоявшие перед Россией в начале века, по-прежнему остаются, — разве что в еще более остром виде. Так что удивляться повторению истории не приходится. Более того, я бы сказал, что такое повторение необходимо. Необходимо восстановить тот процесс либерализации, который был прерван революцией и сталинизмом. Быть может, на сей раз это удастся. Но я пессимистичен. Я не вижу сейчас в России руководителей того калибра и глубины мысли, каким был Столыпин. Другой советник Горбачева, которого я встретил в Вашингтоне во время визита Генерального Секретаря, узнав, что я историк, решил поговорить со мной о русской истории. "Знаете ли вы, — спросил он меня, — почему Россия потерпела поражение в первой мировой войне? Потому что буржуазия нанесла удар в спину русскому правительству, чтобы захватить власть..." Он вычитал это в книге Яковлева, который под "буржуазией" понимает здесь "евреев и масонов". И он свято верит в этот бред, которому наверняка рукоплескал бы царь Николай Второй. Если таково понимание истории у одного из руководителей страны, чего можно ожидать от их перестройки?

— Значит, вы не видите в России тех сил, которые могли бы подтолкнуть к реальным, глубоко идущим преобразованиям?

— Такие силы есть, но они весьма малочисленны. В основном, это интеллигенция. Но она насчитывает, в лучшем случае, 10 миллионов человек. Один из советников Горбачева признал, что 80 процентов советских людей сегодня — сталинисты. Тут вы действительно упираетесь в чудовищную стену. Поистине, России нужен новый Петр Первый, который сносил бы головы топором... Я не думаю, что нынешние руководители — и уж наверняка не

Горбачев — имеют для этого достаточную власть. Если бы у Горбачева была такая власть и если бы его намерения были действительно серьезны, он должен был бы арестовать несколько тысяч людей, особенно активно и влиятельно сопротивляющихся перестройке — и в одну ночь все бы изменилось.

— *Ваша пессимистическая оценка русской истории и возможностей ее изменения побудили определенные русские эмигрантские круги обвинить вас в русофобии. Не могли бы вы, пользуясь случаем, охарактеризовать вашу истинную позицию в этом деликатном вопросе?*

— Я не знаю, как защититься от ложного обвинения. Англичане говорят: как ни отвечай на вопрос: “Когда ты перестал избивать свою жену?” — все равно выйдет плохо. Верно, некоторые русские националисты считают, что если кто-то “посторонний” критикует Россию, то он русофоб. Но моя критика итогов русской и советской истории основана на фактическом материале. Я не идеолог, я историк, я опираюсь на факты и их анализ. Такой же критике подвергали Россию и Петр Великий, и Петр Чаадаев, и Александр Герцен, и Антон Чехов, и Петр Струве...

— *... и в известной степени — Солженицын.*

— И Солженицын, и Сахаров... Но почему-то из уст “чужого” это воспринимается как “русофобия”. К сожалению, аналогичное происходит и в Израиле: если кто-то “извне” критикует Израиль, он немедленно зачисляется в антисемиты. К примеру, мой друг Збигнев Бжезинский был объявлен антисемитом, хотя он в действительности скорее филосемит. Я вижу в этом проявление какого-то комплекса неполноценности, который очень часто идет в паре именно с крайним, нетерпимым национализмом, являясь его истинной подоплекой. Евреи и русские в определенной степени одинаково разделяют этот недостаток. Американцы, англичане, китайцы куда спокойнее относятся к критике. В России и в Израиле это не так. Я не вижу в своих произведениях ни одной русофобской строчки. Когда я описывал, к примеру, ментальность русского “мужика”, что обидело некоторых русских националистов, я опирался на Горького. Что же, Горький тоже русофоб? Петр Первый, Чаадаев, Герцен, Чехов, Струве — все русофобы? Ну, тогда я в хорошей компании...

Вел интервью Рафаил Нудельман

Ричард Пайпс — профессор, известный американский историк и советолог, автор книг “Россия при старом режиме” и др.; живет и работает в Гарварде (США).

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

— *Владимир Емельянович, разрешите задать вам вопрос, который многих волнует — о перспективах русской культуры в отрыве от Родины. Мне интересно ваше мнение не как участника политических игр, а как писателя.*

— Представьте себе, это наиболее частый вопрос, который задают на протяжении четырнадцати лет моей эмиграции, так что я довольно точно сформулировал ответ. Я думаю, что без продолжения эмиграции, без притока новых сил, у эмиграционной культуры нет перспективы. Во всяком случае, у прозы. Проза может жить только в атмосфере языка, в социальной атмосфере общества, в его реалиях. В особенности — в атмосфере языка. Язык же — постоянно складывающийся организм, он меняется незаметно для нас, чуть ли не ежедневно. Что-то изменилось в трамвайных разговорах, на конференциях, в газете “Правда” — все это язык, и он должен быть постоянно на слуху. В противном случае он как бы превращается из речной воды в дистиллированную. Публицисту и поэту в эмиграции легче, чем прозаику: публицист оперирует фактами, поэт — вечными категориями, вернее сказать, — категориями космополитическими. Пример Бродского показывает, что поэт в эмиграции может даже процветать.

— *Может быть, не всякий поэт, а именно такой, как Бродский?*

— Не думаю. Если взглянуть ретроспективно на культуру первой эмиграции, то станет ясно, что наиболее живуча поэзия. Прозаики же, как правило, уходят в исторические темы.

— *Говоря о поэтах, вы имеете в виду Цветаеву?..*

Владимир Максимов

Я ВСЕ ТАМ...

— И ряд других. Для прозаиков же историческая тема — единственная отдушина.

— *Вы тоже вернулись к гражданской войне. Разве о том, что сейчас происходит в России, вы уже не могли бы писать?*

— Не мог бы. Я уже не ощущаю время и чувствую, что получилось бы фальшиво, недостоверно. Но я вижу возможность отражать современность через историю. Уже в своем первом, якобы "историческом" романе я отразил современную ситуацию в мире.

— *Некоторые люди утверждают, что эмиграция приносит им свободу творчества, дает им свободный полет, — в то время, как там они были связаны реальностью жизни: связаны с издательством, зависели от читателей. В эмиграции они как бы "сироты" — без отца, без матери. Они — и творчество, более ничего.*

— Дай им Бог, если они сумели обеспечить себе такой душевный комфорт. Что до высокого полета, я в их работах этого не вижу. Очень локальное звучание без сколько-нибудь действительного качества, без большого читателя. Может быть, они и в читателе не нуждаются? Все это, простите меня, литературная провинция. Уездный поэт, наверно, тоже ощущает себя свободным человеком. А результат?

— *Эмиграция — тоже некая литературная среда. Мы говорим по-русски, наши дети говорят по-русски, внуки. У нас есть журналы, есть общение — мы, здесь, на Западе — маленький русскоязычный остров. Этого недостаточно?*

— Конечно, и в эмиграции может возникнуть художник, но уже выросший в эмиграции. Мы же выросли там — здесь мы еще наблюдатели. Психологически мы только передвинулись в пространстве, а жить продолжаем там, потому что там мы сложились как личности. В нашем поколении, в поколении эмигрантов, может появиться большой художник, об этом свидетельствует пример Владимира Набокова. Речь не о его поздних вещах, получивших мировое признание, где он уже вышел из локально русской темы. Его первые вещи никак не меньше по своему звучанию.

— *Владимир Набоков не родился в эмиграции.*

— Но приехал еще не сложившимся человеком. Складываясь, как эмигрант, он подарил нам такие шедевры, как "Дар".

— *Это и есть возражение вашему и моему пессимистическому взгляду. Значит, безнадежно.*

— К сожалению, Набоков исключение. Можно назвать Поплавского, Кнута, ряд других имен, но, в конечном счете, они не сделали подлинно значительного вклада в литературу. Набоков — гений, а гений всегда исключение из правил. Правило же подтверждает мой пессимизм.

— *Скажите, вы думаете, что нет способа создать симбиоз с культурой Запада?*

— Вероятно, есть. Для меня нет.

— *Для вас это невозможно?*

— Абсолютно. Я весь там. Психологически, целиком там. Повторю метафорой, если это можно назвать метафорой: я только передвинулся в пространстве. Меня мало трогает происходящее здесь в чисто бытовом и социальном планах. Часто я сравниваю себя со зрителем стереокино:

все на виду, но не пощупаешь. Жизнь — это разговор на улице, в магазине, в поезде, а я безъязыкий. Вокруг — кипение этой жизни, но я в ней не участвую.

— *Вы же постоянно общаетесь со здешними интеллектуалами в политической игре, в литературных занятиях.*

— Общаюсь через микрофон, еще и через стеклянную стену. Кто-то нас переводит, и вроде друг друга понимаем, но полного, адекватного, что ли, ответа никто из нас не получает.

— *Вы хотите сказать, что там, с враждебным и не любящим вас секретарем Союза Писателей вы находили больше общего?*

— Именно. Я жил с ним в одном мире, в одной психологической структуре. У нас была одна знаковая и звуковая система. Нам, врагам, все было понятно с полуслова. Здесь же в разговоре мнения могут и совпадать, но вот мы разошлись, я — к себе, собеседник в свой дом — и у нас совершенно разная жизнь. Это, как встреча актеров, они играют...

— *...как бы в одну семью.*

— Как бы играют в собеседников. Для меня преодолеть такой барьер невозможно. Подчеркиваю, может быть, только для меня. И я этот барьер не собираюсь преодолевать в своем возрасте. Кстати, меня это не мучает.

— *Вы не воспринимаете такую ситуацию, как трагическую?*

— Трагически я воспринимаю потерю той атмосферы. Здесь я — мертвец. Я уже забываю слова, мне приходится их подыскивать, а раньше они приходили сами по себе. Вы, как прозаик, знаете, насколько важно вовремя найденное нужное слово. Вот поэтому я и не вижу перспектив для прозаика в эмиграции.

— *Значит, для себя, как писателя, вы ощущаете эмиграцию, как трагедию. А вот Аксенов в своем интервью на мой вопрос, видит ли он трагедию в том, что здесь практически никому неизвестен, в то время, как в России его знал каждый мальчишка, ответил: "Лучшее состояние для писателя — эмиграция".*

— Я не сомневаюсь в искренности такого уважаемого писателя, как Василий Аксенов. Но, возможно, человек подсознательно компенсирует какие-то глубокие комплексы, хочет свою эмиграцию оправдать. Он говорит: "Что, собственно, произошло?" А мне кажется, наедине с самим собой... Былое признание, факт, что было много читателей, — все это частности. Главное — что там остались все связи, все дружки, любви и раздоры. Все там. Василий Аксенов старается вжиться в "здесь" и, наверно, это ему удастся. Он человек космополитический, в хорошем смысле этого слова, человек европейского склада. В России всегда бывали такие среди интеллигентов. Например, Тургенев. Но положение Тургенева отличалось, он ездил на Запад и мог вернуться. Настоящие эмигранты, сколько я их знаю, начиная с Данте и кончая Гюго или Солженицыным, воспринимали эмиграцию, как трагедию. Данте, казалось бы, жил в соседней области, но тогда это была другая страна, а Виктор Гюго страдал от ностальгии в трехстах километрах от Парижа. Вы почитайте его дневники-воспоминания, как мучительно он переживал все девятнадцать своих эмиграционных лет. Так что не обязательно становиться в позу и храбриться: ничего, мол, не произошло. Произошло, господа! Произошло даже и для

вас, уехавших в Израиль, как будто бы на свою землю. Какая бы там ни была такая-сякая распроклятая страна — сколько человеческого у вас там осталось? Это только ваши дети будут израильтянами. Поэтому нечего кокетничать — мол, мне нипочем. Думаю, такие слова — не что иное, как замещение глубоко упрятанных комплексов. Или дешевое кокетство.

— *Полэгаю, вы правы. Скажите, вы думаете о возможности возвращения в случае улучшения в России?*

— Мысли о каких-либо улучшениях там, о какой-либо либерализации — для меня не причина возвращения. Для меня причиной возвращения может быть только чудо. Вдруг завтра... предположим, хотя бы на протяжении моей жизни, страна станет такой, какой она могла быть, если бы ее развитие не задержалось в феврале семнадцатого года.

— *Представьте себе, что она вступила на этот путь, вступила необратимо.*

— Если почувствую, что необратимо — вернусь. Без этого вернуться все равно, что положить голову в пасть льву. Вернусь, только если буду убежден, что процесс необратим.

— *Видите ли вы это в своих мечтах?*

— Именно в мечтах, а возвращаться в обстановке, когда неизвестно, куда все это повернет, безумие. Иногда мы моделируем с Юрием Петровичем Любимовым, с тем же Аксеновым. Куда и к кому возвращаться? Ведь встретят враждебно, даже друзья. Это как возвращение с того света.

— *Место заросло?*

— Вот, вы очень точно нашли слова. Место заросло. Еще и поэтому возвращаться, практически, некуда.

— *Но ведь некоторые поговаривают о возвращении.*

— Я думаю, что здесь не состоялось очень много людей — ни в творческом, ни в человеческом плане. Для таких людей перестройка может быть оправданием возвращения. Фамилий я называть не буду. Они рассуждают так: в общем, что-то происходит — не стыдно вернуться. Это — попытка найти платформу для возвращения, подвести базис под собственное поражение, творческое и человеческое. Большинство людей, что-то пишущих, что-то делающих в творческой области, в науке или где-то, ехали сюда за маршальскими жезлами, за Нобелевскими премиями. Кроме фрака, — на всякий случай, — они ничего с собой не взяли. Во всяком случае, ехали за большим, а не за меньшим. Здесь вдруг им пришлось убедиться, что система-то системой, а они сами не тянут. И даже если тянут, система здесь жесточайшая, жестокое соревнование за место в каждой области. Они не выдерживают гонки.

— *Они привезли свой багаж, а нужен здешний.*

— Точно. Почему здешних должны интересоваться наши проблемы? Наши писатели жалуются: французы читают только свою литературу, американцы иностранную литературу не читают. Почему они должны читать? Говорят: вот у нас к иностранной литературе относились с большим пиететом, читали ее больше, чем отечественную. Так ведь для нас это был запретный плод, это был голос из другого мира, что ли.

— *Для них чтение нашей литературы тоже могло быть голосом из другого мира.*

— Дело в том, что наш мир для них доступен. Заплатил какие-то свои

деньги, тем более, что поездка в Советский Союз стоит небольших денег, и смотри на все это, щупай. Мы не могли. Вероятно — это одно из объяснений. Кроме того, пристрастие к литературе для России традиционно.

— *Мы читали и Тенесси Уильямса, и Фолкнера, и Бальзака, а они — ничего.*

— У нас другое отношение к литературе, потому что ни общественной, ни политической жизни не было. Литература была как бы альтернативной позицией. Если хотите, — вторым правительством, человек к ней апеллировал. Ведь парадокс: Россия — самодержавная, деспотическая, а подлинная литература всегда в оппозиции к существующему строю. Она всегда была как бы совестью общества. Отсюда и иная роль литературы. Правда, мы считали, что в Советском Союзе огромное количество писателей. Да нет, и сейчас всего десять тысяч. А только в одном Парижском Союзе писателей — сорок тысяч.

— *Вы коснулись темы, которую очень интересно выяснить подробней. Получается, что демократическая жизнь снижает роль искусства. Здесь как бы одно и то же — хороший ужин или хорошая книжка. Литература — предмет потребления. Может быть, в этом — причина трагедии, о которой вы говорили?*

— Правильно. На одной пресс-конференции швейцарская журналистка мне сказала: "Конечно, мы хорошо живем, но у нас нечем заполнить душу". — "Ваша хорошая жизнь — не слишком ли дорогая цена за Солженицына?" — спрашиваю я ее. — "С этим нужно смириться", — отвечает. — Демократия — культура средних, она не выбирает лучших, выбирает себе подобных. Так уж выбирайте".

В конечном счете, на Западе есть образцы высокой культуры, но это для избранных. Массовая культура, вероятно, еще ниже, чем в Советском Союзе.

— *Власть массы. Даже не власть, выбор массы.*

— Именно. Посмотрите, как боится демократия сильной личности. Только в критических обстоятельствах она хватается за сильную личность. Как только кончилась война, на первых же выборах в сорок пятом году Черчилля "прокатили" и заменили Эттли, абсолютным политическим ничтожеством. "Сделал свое дело — уходи", — вот что фактически сказали Черчиллю. Они и у власти хотят видеть себе подобных. В этом привлекательная черта демократии и ее отталкивающая черта.

Вот еще одна черта демократии: сначала я очень огорчился из-за нападок на себя в печати, а потом понял — это наше советское отношение к печатному слову. Мне один западный журналист сказал: "У нас поговорка такая: что было в газете вчера — не было". Здесь это никого не волнует, потому что убить газетной статьей нельзя. В этом привлекательная сторона их литературы. Ты можешь быть обделен тем вниманием, которым пользовался на родине, но за то и убить тебя нельзя. Скажем, я поставил бы своей задачей затоптать через печать моего врага Сидорова. Невозможно. Просто невозможно.

— *Зато и поднять его нельзя.*

— Так просто, механически, и поднять невозможно. В общем, я говорю: нужно смириться с тем, что есть, потому что другая судьба нас не ожидает.

Тяжело нам или легко — другой судьбы не дано. Возвращаться некуда. Разве что произойдет чудо, возникнет град Китеж из ничего. Возникнет нормальная страна, в которую можно было бы вернуться.

— *Вернуться и открыть свое издательство?*

— Дело не в этом. Вернуться, как возвращались люди с фронта, из лагеря — возвращались ко всему. Сейчас наше возвращение будет возвращением с того света. Я бы употребил такое выражение: сейчас наше возвращение было бы бестактным. Совершенно неприличный поступок. Нужно, чтобы возникли естественные обстоятельства.

— *Для журнала "Двадцать два" такой проблемы не существует. Возвращение с журналом — совершенно невысказанная ситуация, поскольку наша отправная точка — не Россия, а Израиль. Но и у нас в Израиле есть проблема, схожая с вашей — отношения с местной интеллигенцией. Казалось бы, интеллигенты — наши союзники, но именно с ними мы вступаем в странное противоречие, потому что они находятся в оппозиции к своему обществу и, значит, идеализируют советское общество, к которому в оппозиции находимся мы. Получается: друзья наших врагов нам враги. Как вы оцениваете эту ситуацию?*

— В начале моей эмиграции из-за этого непонимания просто жить не хотелось. Но постепенно, к концу семидесятых, положение начало меняться, и теперь есть радикальные изменения. Разве раньше можно было представить себе конференцию, в которой одновременно участвуют Жан-Франсуа Ревель, Анри Безансон, Леонид Плющ и я, Владимир Максимов?

— *Вы потеплели или они?*

— Они. Я остался прежним. Возможно, стал менее категоричным. Они изменились. Теперь книга Геллера и Некрича "Утопия у власти" в западных университетах и школах — учебник по Советскому Союзу, а выйди она пятнадцать лет назад, ее бы замолчали. И сами они теперь так пишут. И Безансон, и Жан-Франсуа Ревель в журнале "Экспресс", где он редактор. Например, он написал: "Теперь все значительные идеи приходят к нам с Востока". Эти изменения — наша общая заслуга. Солженицын, Сахаров, Бродский и так далее — вершины явления, но будучи одиночками, они бы ничего не изменили — мы подпирали их всей громадой. Мы были материалом пирамиды, который выдержал такую высоту. Отношение западной интеллигенции изменилось буквально ко всем проблемам, и к социальным, и к философским. Они почувствовали опасность, что завтра им придется решать такие же проблемы в еще худших условиях, и они приняли нас как союзников. Конечно, часть западной интеллигенции раньше тоже все понимала, но преодолеть положительный советский стереотип было совершенно невозможно, настолько он был укоренен. Например, один из основателей французской компартии Борис Суварин, затем с ней порвавший, написал после войны книгу о Сталине. Перед ним захлопнулись все двери. Как это, против Сталина?!

Теперь, после мощных голосов Сахарова, Солженицына, интеллектуалы почувствовали, что можно говорить о том, о чем молчали десятки лет. Раньше от многих интеллектуалов Запада я слышал: не надо говорить об этом, не надо говорить о том, нужно учитывать. Что учитывать? Кто не учитывал, того сразу выключали из разговора, вешали на него ярлык и

захлопывали двери перед его носом. Слава Богу, мы это сумели преодолеть, этот Форум тому свидетельство.

— *Люди, которые участвуют в этом Форуме с французской стороны, видимо, издавна бывают на подобных собраниях. Говорят, что на Форуме в Советском Союзе они не боялись возражать.*

— Миф. Они не возражали. Я должен сказать, к чести французов, что в Советский Союз поехали не самые значительные одиночки. Не стану обижать людей, которые там были и участвуют в этом Форуме, но не они влияют на общественное мнение Запада. Тут нужно сказать несколько слов о магии силы. Если вы изучите общественное мнение предвоенной Франции, то увидите сколько и как там писали о Германии. Отношение к Германии было примерно таким же, как теперь к Советскому Союзу. Это магия силы, она действует. К примеру, Анатолию Рыбакову здесь платят огромный аванс за посредственный роман. Такой роман напишет любой третий эмигрантский писатель. И книга явно не пойдет, и издатели это знают — а аванс платят. Огромный. Это они платят не Анатолию Рыбакову, даже если он получит все до копейки. Они дают аванс великой атомной державе. Это поклон в ее сторону. Вы думаете, серьезные критики не понимают "великого творчества" Чингиза Айтматова? Конечно, понимают. Только вот, мол, и у них что-то есть, и нужно это что-то культивировать. Магия силы заложена глубоко в психологии человека.

— *Казалось ли вам, что на Западе справедливо оценивают человека, поскольку свободное есть справедливое?*

— Не в полной мере. Я, например, не заблуждался в отношении реакции левых. Их реакцию я, — примерно, — себе представлял. Но инертности и оппортунизма правых я не ожидал. По отношению к Советскому Союзу правые зачастую оппортунистичней левых. Левый президент Франции Миттеран в вопросах прав человека в Восточной Европе и в коммунистическом мире ведет себя намного умнее, благородней и дальновидней, чем правый президент Жискард д'Эстен.

— *Получается, что левые лучший элемент демократического общества?*

— Возможно. После того, как лед тронулся, с левыми легче разговаривать. Если левые не лукавят, то они, — не те, конечно, которые сделали левизну своей профессией, а подлинные левые — искренние люди. Они искренне озабочены перестройкой общества, и мы озабочены тем же. В этом мы находим общий язык.

— *Может быть, в конечном счете, такое движение приведет к хорошим результатам. Кончится трагедия непонимания, и мы, наконец, обретем смысл существования здесь. Без нас это не произошло бы.*

— Вот куда зашел разговор, а начинали с узко литературной темы. Может быть, кончится трагедия непонимания, но ведь русский язык не придет к нам сюда в гости. Он весь там, и поэтому не нужно заблуждаться.

— *Благодарю вас.*

Интервью вела Нина Воронель.

Владимир Максимов — выдающийся русский писатель, автор "Саги о Савве", "Семи дней творения" и ряда других романов; редактор журнала "Континент"; живет и работает в Париже. Интервью дано на парижском Форуме "Интернационала Сопротивления" (1987).

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

... Трое в пустыне — он, она и младенец. Кто они? Евреи. Куда держат путь? В Палестину. Они изнемогают от жажды, голода и усталости. У них кончились запасы — и они на краю гибели. И вот, в самый критический момент, приходит спасение — они встречают бедуина. Он привел их в свой шатер, напоил, накормил и указал дорогу. Мужчина и женщина намерены продолжать опасное странствие через пустыню, — но как быть с младенцем? Он не выдержит тягот пути. И тогда благородный сын пустыни предлагает оставить младенца у него. Он обещает вырастить его как родного сына. Родители с благодарностью вручают ему свое дитя. Трогательно простившись с ним, они уходят в неизвестность...

Нелли Гутина

МАГИЯ ПЛОХОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Таков пролог бестселлера "Пират" знаменитого американского писателя Гарольда Роббинса. И если подобная завязка кажется вам не слишком правдоподобной, то это ваша проблема. Ваша — но не миллионов читателей "Пирата". Эти миллионы, впрочем, уж наверняка не интеллигентные люди. Все эти роббинсы — "что-то для идиотов", твердят интеллектуалы, и на этот счет в литературно-просвещенных кругах существует несомненный

консенсус. Что, впрочем, не мешает упомянутым роббинсам издаваться миллионными тиражами в течение десятилетий. Речь, стало быть, идет о самых популярных, самых читаемых и самых преуспевающих авторах двадцатого века!

Есть книги, которые могут существовать только в атмосфере университетских библиотек. Есть книги, которые ведут достойное существование на книжных полках respectable дома. "Пэйпербэки" бестселлеров живут на свежем воздухе уличных стендов; прекрасно выживают, сваленные в кучу уцененных книг на любом базаре; шелестят глянцевыми жабрами на залитых слепящим солнцем пляжах; дышат спертым воздухом метро и электричек; а выброшенные в мусорный ящик, заново возрождаются в кинозалах и на телеэкранах. Они способны прожить без академических грантов, литературной критики и гонгуровских премий. Они легкопереводимы и легкоусвояемы. Они читаются на рекордном числе языков. Благодаря своей сверхпроникаемости они пробираются даже за железный занавес: книги Роббинса, представьте себе, бестселлеры даже в КНР.

... Кстати, что с этим младенцем? Ну, конечно, он благополучно выжил, вырос и превратился в крупнейшего финансового магната, международного бизнесмена и популярного плейбоя.

Вы заинтригованы? Хотите послушать дальше? Не стесняйтесь. Подобная литература превращает нас в детей, рассказывая сказки. О том, что все люди братья, что спасение может прийти с любой стороны и что, в конечном счете, человек любит ближнего как самого себя (не считая, разве что, ничтожной кучки отъявленных злодеев). Обман? Может быть. Но обман сладкий. Не желаете — обратитесь к "хорошей" литературе, и она преподнесет вам правду, с которой вы не сможете жить. А потому, коль скоро мы с вами уже открыли "Пирата", то давайте расслабимся и будем получать удовольствие.

... Его назвали Пиратом, потому что его международные сделки не вполне законны. Вернее, совсем незаконны. И даже опасны. Но он — настоящий мужчина. А настоящий мужчина должен время от времени нарушать международные законы. Зато маленьким людям он вреда не делает, наоборот — сам хорошо живет и другим дает жить хорошо. Покупает на свои деньги все то, чем западная цивилизация может потрафить его восточному вкусу. Пират, конечно же, мусульманин и ничего не знает о своем "еврейском" происхождении. У него есть дочь от первого брака с

арабской женщиной и новая американская жена — блондинка и секс-бомба. Дочь ненавидит мачеху. Почему? По самым обыкновенным психоаналитическим причинам (с доктором Фрейдом теперь даже Роббинс знаком). Ущемленная этим своим комплексом, дочь связывается с палестинскими террористами и делит свое время между Французской Ривьерой, где в основном происходит действие романа, и палестинскими базами в Южном Ливане. Но и Пират не слишком ладит с женой — по причинам невыявленного подсознания и невыраженного подтекста. И поскольку между мужем и женой все обстоит так предполагаемо непросто, Пират предоставляет жене полную сексуальную свободу. (Тем самым он заодно позволяет писателю Роббинсу выполнить план по количеству включенных в роман постельных сцен.) Но вот что интересно: свобода дана жене на определенных условиях — можно приглашать к себе в постель кого угодно, кроме — евреев. Почему? Ясное дело: евреи — заклятые сионистские враги, а Пират — он все-таки мусульманин и араб, даже если проявляет в личной жизни не типичный для мусульманина либерализм. (Кстати, теперь вы понимаете, когда и почему выстрелит то ружье, которое автор предусмотрительно повесил на стенку?)

... Вы считаете подобную литературу интеллектуальным оскорблением? Что ж, и мне знаком этот первоначальный шок. Ведь и я родилась в культурной теплице и выросла на вполне доброкачественных консервах российского и французского производства, а в конце шестидесятых все еще вылавливала в разных потоках сознания всяческие "шозизмы" и "тропизмы". Так что открытие Роббинса было для меня равносильно столкновению девочки из добропорядочной семьи с той частью литературной жизни, которую от нее тщательно скрывали. Нет, нельзя сказать, чтобы я никогда не брала в руки какого-нибудь детектива, и о Джеймсе Бонде я тоже кое-что знала, конечно. Но ведь детективное чтиво, помеченное формальным знаком "жанра", все-таки не выходит за пределы очерченного литературными вкусами круга. И в этой литературной черте оседлости его существование уже как-то привычно...

И все же Роббинс — это, как ни крути, литература. Ну, пусть "плохая", если вы так уж настаиваете на оценочном термине.

Я изучала эту литературу текст за текстом. И нельзя сказать, чтобы мои университеты прошли даром. Постепенно наметились некоторые закономерности. И наконец у меня неожиданно воз-

ник новый термин (видимо — по аналогии с соцреализмом) : поп-реализм.

Итак, популярный реализм. Что же это такое?

... Все-таки среди случайных любовников жены затесался один еврей. Ну, и Пират, конечно, об этом немедленно узнает. (Роббинс откровенно шьет сюжет белыми нитками и не имеет ничего против того, чтобы вы эти нитки видели.) Уговор есть уговор, и верный своим принципам Пират решает окончательно избавиться от жены, для чего отправляет ее прочь. Правда, при этом и он, и жена очень переживают, потому что все-таки, несмотря на все нелады, оказывается, любят друг друга. Но вот, глотая слезы, вставшая в немилость супруга, наконец, поднимается на борт самолета. И вот тут-то события разворачиваются самым драматическим образом. Дочь Пирата, вместе с группой палестинских террористов, захватывает именно этот самолет. Ненавистная мачеха оказывается среди заложников. Дочь, кстати, не знает о состоявшемся разрыве между отцом и мачехой и узнает об этом только в процессе похищения. В результате ее отношение к мачехе несколько меняется. Разрядка психоаналитической драмы снижает степень радикализма начинающей террористки. А тем временем террористы уже предъявили Пирату свои невероятные требования, и наш герой оказывается перед знакомой дилеммой: уступить или не уступить? Понятно, такой человек, как Пират, не может себе позволить капитулировать перед террором — да и автор не может ему этого позволить. И в то же время Пират хочет вернуть живыми свою неверную жену и непослушную дочь. Выход? Освободить заложников силой. Но как? Советники подсказывают: только израильские коммандос могут повернуть такое дело. Нужно обратиться к ним. Как, к заклятым врагам?! Ни за что! Но тут, в самое нужное время, появляется наш старый знакомый — гордый сын пустыни — и раскрывает герою тайну его происхождения. Через своих людей — а они у него везде — Пират немедленно связывается с Тель-Авивом и обеспечивает себе рейд израильских коммандос. Бравые израильтяне немедленно высаживаются в районе Французской Ривьеры и тотчас справляются с заданием: заложники освобождены, террористы уничтожены — кроме, разумеется, дочери Пирата, которая к тому времени уже успела одуматься и теперь, прощенная, рыдает на груди отца. Неверная жена тоже бросается в объятия Пирата и тоже получает прощение, после чего происходит трогательное объяснение во

взаимной любви. Семья воссоединяется. Что касается информации о своем так называемом еврействе, то Пират воспринимает это спокойно и никакого раздвоения личности не испытывает. "Я сын двух народов", — гордо декларирует он в финале романа под аплодисменты читателей. "Пират" побил все рекорды популярности в семидесятых годах и соперничать с ним могут разве что другие романы того же Роббинса.

Предвосхищая возможный вопрос, хочу объяснить, почему произведение столь неправдоподобное я причислила к "реализму", более того — даже сопроводив его прилагательным "популярный". Обратите внимание: далеко не все ситуации, описанные Роббинсом, так уж от начала до конца невообразимы. В конце концов, израильтяне действительно не раз освобождали заложников, и "Пират", скорее всего, был написан после Энтеббе (если же "до", то Роббинс вообще гений). И образ Пирата несколько напоминает знакомых нам по средствам информации реальных международных плейбоев восточного происхождения или того же происхождения торговцев оружием (Аднан Хашугги, например). Да и места, где происходят события, вполне узнаваемы — в данном случае, Ривьера, Сан-Тропез, Канны. Это ощущение узнаваемости создается самыми простыми приемами — Роббинс никогда не пропускает место через себя и не нагружает его своими собственными ассоциациями. В целом, можно сказать, что перед нами все-таки реализм, но реализм своеобразный: реальность у Роббинса весьма приблизительна — это реальность, какой она представляется популярному, массовому сознанию.

Подобно тому, как за произведениями соцреализма стоит определенная доктрина, так за произведениями поп-реализма стоит определенная мифология, и эта мифология изначально подлинная, хотя опять-таки преломленная в популярном сознании. В "Пирате" мы легко узнаем миф-мечту о старых врагах, которые в конце концов мирятся друг с другом. Роббинс придает этому мифу популярную окраску, — в том смысле, что в наше время "актуальные" враги — это арабы и евреи. "Пират" написан до визита Садата в Иерусалим, то есть до той, гораздо более впечатляющей драмы, которую поставила на ту же тему действительность. Та драма окончилась выстрелом, которым ближневосточная реальность расправилась с тем, кто захотел ее трансформировать в соответствии с мифом-мечтой о примирении старых врагов.

Зато героям Роббинса никакая реальность не угрожает. Он

снабжает читателей литературой, которая похожа на жизнь по форме и совершенно фантастична по содержанию. Писатель, верный школе поп-реализма, умеет сочетать формальный реализм с экзистенциальной мифичностью.

Нет, не думайте, что Роббинс написал "Пирата" по заданию какого-нибудь общества борьбы за мир. Поп-реализм, в отличие от соцреализма, никогда не берет социальных заказов. Плохая, по-настоящему плохая литература (а не приближающаяся к ней) не занимается пропагандой — чувство добра присуще ей органически.

В таком случае, чем плоха "плохая" литература?

Ничем.

Чем плох писатель, ее сочиняющий?

Ничем.

А читатель, ее читающий? Тоже ничем. Скорее наоборот. Писатель, в романе которого арабы спасают еврейских младенцев, а израильские коммандос — арабских девушек, легкомысленно увлекшихся терроризмом, — такой писатель, скорее всего, принадлежит к лучшей части человечества. Читатель, который готов во все это поверить, — тоже. И если подобные книги становятся бестселлерами, то человеческий род еще не так плох, каким кажется.

Поп-реализм не просто лакирует действительность — он наводит на нее прямо-таки ослепительный глянец. Подобно тому, как соцреализм показывает нам ту жизнь, которая могла бы иметь место в СССР, если бы там все шло согласно идеологической модели, поп-реализм "отражает" ту жизнь, которая могла бы возникнуть на земном шаре, если бы все шло согласно правилам христианской морали. И это, возможно, именно та жизнь, о которой многие из нас втайне мечтают, но, умудренные опытом и защищенные цинизмом, не решаются себе в этом признаться. Поэтому, в отличие от соцреализма, поп-реализм аутентичен, — он воплощает подлинные мечты и чаяния миллионов. Ведь порок действительно должен быть наказан, а добродетель действительно должна торжествовать, не так ли? И разве не трогательно примирение заклятых врагов?

Литература популярного реализма — это всегда моральная утопия, где происходит схватка Добра со Злом. И Добро при этом побеждает.

Гарольд Роббинс — классик популярного реализма. Но поп-

реализм не начинается Роббинсом и не заканчивается им. Я причисляю к этой школе и знакомого вам Леона Уриса, автора знаменитого "Эксодуса", и отца бестселлеров Марио Пуццо с его "Крестным отцом". На мой взгляд, это лучшие представители "школы". Впрочем, сами они, скорее всего, и не подозревают ни о том, что принадлежат к какой-то "школе", ни о выдуманном мною для нее термине. Я же пишу эти строки не ради научной классификации, и не испытываю никакого литературоведческого зуда. Я вообще не думаю, что литературовед или критик способны заинтересоваться текстами поп-реализма, — хотя бы по той простой причине, что "текстов", в строго литературном смысле слова, в произведениях этого типа не существует. Но что-то в них все-таки есть...

Готовы ли вы перелистать со мной еще один роман?

"Мастер игры" Сиднея Шелдона — вещь настолько популярная, что по ней сделан одноименный телесериал, который вы, возможно, видели на своих экранах. Как и многие другие произведения поп-реализма, "Мастер игры" — сага, не лишенная эпического паязаха. Раскроем роман и начнем с середины.

... После смерти главы семьи вдова взяла на себя руководство построенной им финансовой империи. Она растит единственного сына в надежде, что он станет ее преемником. Она его, конечно, обожает, но ее материнская любовь в конечном счете оборачивается тиранией. К началу второй части романа сын вырастает и у него обнаруживается призвание: живопись. Он едет учиться в Париж, делает успехи и готовит свою первую выставку. Мать в ужасе: она имела в виду совсем другую карьеру для своего наследника. И вот ей приходит в голову дьявольская идея: она едет в Париж как раз накануне выставки сына и наносит визит знаменитому критику, мнение которого в мире живописи непререкаемо. Миллионерша выписывает ему чек на огромную сумму. За что? За то, чтобы критик посетил выставку сына и написал ... плохую рецензию. Расчет прост: заставить сына бросить живопись. Критик принимает взятку, посещает выставку и пишет на следующий день, что в жизни еще не встречал подобной бездарности. Убитый наповал ужасной рецензией, молодой художник бросает Париж, холсты и краски. Критик, правда, терзается угрызениями совести: оказывается, он находит в молодом художнике незаурядный талант. Искусство, говорит он его матери, потеряло большого мастера. Ничего, отвечает она, дома его ждут дела поважнее...

Готовы ли вы поверить, что художник, наделенный столь большим талантом, бросает живопись из-за одной плохой рецензии? Интересно, действительно ли Шелдон не подозревает о силе призвания? Или он принимает читателя за дурака? Ни то, ни другое. Хотя поп-реализм иногда воспринимается как самопародия, он на самом деле пародией не является. Шелдон, видимо, искренне наивен, и эта его наивность заходит слишком далеко — и туда же заводит читателя. А это, в свою очередь, ставит передо мной вопрос, от которого я никак не могу отвертеться: откуда такой уровень литературного непрофессионализма у писателей, которые зарабатывают своей профессией так баснословно много денег?

Поскольку у меня имеются кое-какие догадки, я открываю Британскую энциклопедию — источник самый нейтральный и объективный из всех, какие можно себе представить, — и читаю все, что БЭ имеет сообщить о романе. Только в самом конце, в подразделе “Будущее романа”, БЭ пытается объяснить феномен роббинсов. Роман, признает БЭ, терпит такой уровень литературной некомпетентности, какой немыслим в поэзии или, скажем, в эссеистике. Дилетант не подумает начать свою карьеру в эссе — он, скорее всего, засядет за роман. Однако будущее любого искусства — все-таки за профессионалами, отмечает БЭ, а потому “Конрады” — это одно, а “более эфемерные Роббинсы” — совсем другое. Эти последние, признает БЭ, несомненно обладают кое-какими талантами, но это, в основном, таланты коммерческие...

Очень соблазнительно объяснить существование поп-реализма спецификой романного жанра. Роман, конечно, все стерпит, в том числе роббинсов, урисов и шелдонов. И все же, хотя все плохие литераторы — романисты, не все романисты — плохие литераторы. Роман, на мой взгляд, вообще не жанр, а средство передвижения — он вполне может перевозить на себе философские трактаты, политическую публицистику, исторические выкладки, а уж об эссеистике и говорить не приходится. И хотя с романом более или менее управляются все желающие, в том числе и писатели поп-реализма, последние предпочитают передвигаться налегке, никаких культурных перегрузок себе не позволяют и содержат роман в идеальной чистоте жанра.

Но не подойти ли к проблеме с другой стороны? Может, дело не столько в некомпетентности автора, сколько в некомпетентности читателя, под которого ему приходится подстраиваться?

Кажется, со времени создания первых памятников литерату-

ры природа читателя изменилась в гораздо меньшей степени, чем природа самой литературы. Литература сегодня в значительной степени освоена новым автором — самим Героем. Современный искатель приключений не станет дожидаться, пока какой-нибудь Гомер оформит его жизнь в аллегорический сюжет, — он, скорее всего, напишет автобиографический роман. Современная Эмма Бовари не станет зачитываться любовными романами — она напишет их сама и, обвинив Флобера в самозванстве, заявит: “Нет, это я — Эмма”... Современному Флоберу вместо того, чтобы прятаться под эмминой юбкой, пришлось бы, в свою очередь, заняться самовыражением. Тем не менее и сегодня существует еще массовый читатель, который пока что не додумался писать сам. И этот обычный читатель все еще хочет, чтобы его отвлекли и развлекли. Чтобы ему что-то такое рассказали или показали — ведь различие между читателем и зрителем чисто техническое: в метро или на пляже удобно почитать “Мастера игры” Шелдона, а вечером, сидя у телевизора, — того же “Мастера” посмотреть...

Вполне можно предположить, что такой читатель обращается к поп-реализму именно в поисках “развлекательного”, которое он, бедняга, нигде больше не может найти...

Но... так уж и не может? Если так, то клиент, то есть читатель, как всегда прав. Но в том-то и дело, что он может. Не могу удержаться от того, чтобы не отметить вскользь, что весь этот пресловутый конфликт между “развлекательным” и “серьезным” чтением — на самом деле чистейшая фикция. Хорошая литература, в конечном счете, всегда развлечение. Вопрос — для кого. Есть разница между игроками в бридж и игроками в “реми” — по-нашему, “в дурачка”. Но на любом уровне можно просто развлекаться чтением, начисто игнорируя предпринимаемую автором “контрабанду идей”.

И потом... так ли уж развлекателен поп-реализм?

Начнем со “смешного”: ведь юмор — квинтэссенция развлекательности. Произведения поп-реализма, как правило, напыщенно серьезны, а их авторы начисто лишены чувства юмора. Любители посмеяться не смогут найти у Роббинса или у Шелдона ничего, хотя бы отдаленно напоминающего, скажем, “Путешествие с моей тетей” Грэма Грима, — произведения по-настоящему развлекательного.

Что касается сюжета и лихости авантюры, то и тут писателям поп-реализма не под силу тягаться с иными писателями детектив-

ного или приключенческого жанра, которые закручивают такие сюжеты, что Роббинсу и во сне не приснятся, и при этом поставляют читателям вполне качественные в литературном смысле произведения ("Маленькая барабанщица" Джона Ле-Карре, например). Если же говорить о потребности читателя в эскейпизме, то и она может быть удовлетворена целой областью вполне "пристойной" литературы, именуемой научной фантастикой, которая является одновременно и эскейпистской, и интеллектуально-стимулирующей (Рэй Брэдбери, Станислав Лэм, Урсула Ле-Гвин и другие).

Но может быть, поп-реализм берет свое в области эротики — этого важного развлекательного компонента современной литературы? О да, писатели поп-реализма, разумеется, включают его в свои произведения, но они никогда не доходят до такой степени откровенности в описании эротических сцен, как современные американские писатели "высокого уровня" типа Нормана Майлера и других.

Тогда, может быть, интерес массового читателя к Роббинсам и Шелдонам объясняется тем, что он, этот массовый читатель, устав от формальных экспериментов, какими богат нынешний век, просто истосковался по реализму? Но и в наше время все еще пишутся прекрасные реалистические произведения "высокого" уровня. Достаточно назвать недавно умершего Трумэна Капоте с его "нехудожественным романом" или верного последователя Теккерея и Диккенса Тома Вольфа, этого выдающегося мастера социальной сатиры, который внес литературный блеск в журналистику и подлинность журналистского репортажа в литературу.

Поп-реализм не заполняет никакого литературного вакуума, и все-таки покоряет сердца миллионов читателей...

... Мать увозит сына домой. Там она его женит. Но очень быстро сводит в могилу его жену. Сын совершает попытку убить мать-злодейку и стреляет в нее. Но она выживает и поправляется после ранения. Он зато попадает в сумасшедший дом, исчезая таким образом со страниц романа навсегда. Однако жизнь — и роман — продолжают. После несчастной пары — художника и его сведенной в могилу жены — остаются двое девочек-близнецов. Хотя они идентичные близнецы, которых нельзя даже отличить друг от друга, одна девочка вырастает ангелом, а вторая — дьяволицей. И вот плохая девочка, начиная с годовалого возраста и кончая зрелыми годами, постоянно пытается убить хорошую. Однажды,

в возрасте пяти лет, она подсовывает сестричке торт, начиненный взрывчаткой. Но с возрастом ее козни становятся куда более изощренными. (Если вам известно кое-что о психологии однояйцевых близнецов и о той органической близости, которая между ними развивается, придержите эти знания при себе.) А хорошая девочка, представьте себе, ничего не подозревает. Даже когда сестра подсовывает ей в мужа своего любовника и сообщника, который убедил “хорошую” переписать на него наследство (разумеется, намереваясь ее убить, а состояние разделить с “плохой”, которую бабушка, пронюхав о ее кознях, лишила наследства). Но тут, буквально накануне предполагаемого убийства, плохая сестра вдруг перестала доверять своему сообщнику. Ей пришло в голову, что, избавившись от жены и заполучив состояние, он может и не поделиться с ней. Но отменять убийство уже поздно. Злодей уже все подготовил. Он условился со своей женой совершить романтическую прогулку на яхте, чтобы – вы, конечно, уже догадались? – выйдя в открытое море, убить несчастную и сбросить труп в бушующие волны... Но не тут-то было! Хитрая плохая девочка придумывает вот что: она притворяется своей сестрой! И появляется на яхте вместо нее. В тот самый момент, когда злодей, воображая, что перед ним его наивная жена, собирается ее задушить, он получает удар ножом в спину, и теперь уже его собственный труп отправляется прямиком в море. Хорошая сестричка (как всегда, ничего не подозревающая) очень горюет по любимому мужу, труп которого, в конце концов, прибило к берегу. Поэтому она идет лечить свою меланхолию к психиатру. Психиатр этот, в конце концов, на ней женится. А плохую сестру тем временем шантажирует специалист по пластической хирургии, который удалял ей шрам, приобретенный в одной из авантур: этот специалист догадался, что срочное удаление небольшого шрама понадобилось ей для того, чтобы выдать себя за сестру во время “прогулки” на яхте. Шантажируя ее, он на ней тоже, в конце концов, женится. Но счастья ей это не приносит – она ведь “плохая”. Хорошая сестрица стала своему врачу столь же верной и хорошей супругой, какой прежде была проходимцу и преступнику. А вот плохая сестрица хорошей женой не стала. И, в конечном счете, за все поплатилась: когда она попросила мужа убрать у нее несколько морщинок, он ее умышленно обезобразил. Теперь ее форма стала, так сказать, соответствовать содержанию (до этого она была красавицей). На том и сказке конец.

Пересказывая эти наивные сюжеты, я далека от иронии. Не высокомерие и не насмешка водят моим пером, а всего лишь желание понять — в чем секрет обаяния?

Произведение популярного реализма всегда имеет повествовательный характер; оно предполагает небольшой, но обязательный набор реалий. Метод поп-реализма предполагает также хорошее владение умением заставлять читателя переворачивать страницы. Книги поп-реализма достаточно объемисты, и за доллар-другой вы можете получить более четырехсот страниц чтива. Текст, каким бы он ни был длинным, всегда разбит на маленькие легкоусвояемые порции. Фразы лаконичны и строятся из готовых клише. Поп-реализм так же враждебно относится к формальным экспериментам, как и соцреализм. Он свято блюдет свою культурную девственность, делая вид, будто ни Пруста, ни Джойса, ни даже Достоевского никогда не существовало.

Если так, — скажете вы, — то поп-реализм вне культуры. Что ж, может быть. Но — не вне цивилизации.

Гип цивилизации, помимо всего прочего, можно определить также по способу хранения информации. От устных преданий к папирусу, от папируса к пергаменту, к бумаге, печати, компьютеру... Поскольку литература в наше время физически существует в виде изданий в мягких обложках, нельзя игнорировать тот вид литературы, который в этих изданиях преобладает.

Где-то все же количество должно переходить в качество — в качество цивилизации, я имею в виду.

Поп-реализм в своем многотиражном размахе сумел утвердиться на всем пространстве нашей цивилизации, хотя еще не так давно он вел относительно скромное существование, подобно любой другой периферийной субкультуре. Как сумел он за столь короткий срок осуществить столь блистательную экспансию?

Отвечу: войдя в коалицию с природой читателя, шире — с природой человека.

Да, но разве мы не убедились, что поп-реализм не заполняет никакого литературного вакуума, и все то, что он умеет, качественная литература умеет делать лучше? Разве мы не заключили, что его "художественные" достоинства весьма невысоки? Что же тогда еще есть в нем, черт возьми, такого, чего нет в качественной литературе?

А может, следует повернуть вопрос по-другому: что такое есть

в качественной литературе, что толкает массового читателя в объятия поп-реализма?

Один из возможных ответов лежит на поверхности: в основе каждого эстетически ценного произведения находится неразрешенный, и наверно, неразрешимый конфликт — вечный трагизм "human condition", стилизованный в хороший текст. Хорошая литература бунтует против Бога. Плохая — живет с ним в согласии.

Как ни забавно "Путешествие" Грина, но это все-таки путешествие по абсурдному миру, в котором смещены понятия о добре и зле. То есть это, в конечном счете, все тот же абсурдный мир Грина, знакомый нам по его менее "легким" жанрам.

В какие бы далекие миры ни уводили нас Лем или Брэдбери, даже в этом "далеке" вы наткнетесь на враждебный, разрушительный и необъяснимый универсум — тот самый, от которого некуда бежать.

Что же касается "обычного реализма" — этого "пика, на который взобралась литература и с которого она не может спуститься" (Том Вольф), — то его современные адепты, почти отказываясь от художественного вымысла, лишают нас тем самым даже такого простого утешения, как, захлопнув книгу, сказать себе: да это же все неправда!

Более того, даже эротика хорошей литературы недостаточно "эротична": в ней человека ожидают все те же ловушки и неудачи — тогда как в произведениях поп-реализма каждый акт подобен землетрясению и возносит героев на вершину блаженства.

Но возникает резонный вопрос: разве не всегда существовали разновидности литературных наркотиков, в которых бедным девушкам удавалось выйти за графов, а нищим выбиться в принцы? И разве качественная литература, никогда не обещавшая розовых садов, при этом не задавала тон? Почему же именно сейчас читатель вдруг стал так плохо переносить экзистенциальную истину, что уподобился нежному страусу, которому надо непременно уткнуться головой в явную фальшь поп-реализма?

На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Но вместо него я могу предложить целый набор вариаций и интерпретаций, предположений и догадок. Поэтому здесь я предлагаю вам захлопнуть романы Роббинса и Шелдона, а также тех представителей этой же школы, которые попались вам в руки без моего посредничества. Оторвемся от текстов и попытаемся различить лес за деревьями, и тогда мы, возможно, поймем, что самое интерес-

ное находится вне литературы и вне текста. Оно, это главное, располагается внутри треугольника: Бог, экзистенция, культура.

Еще не так давно читатель (шире — человек) обладал механизмами психологической защиты, которая позволяла ему жить с той правдой, которую ему преподносила хорошая литература. Один из них, самый доступный, состоял в том, чтобы, оторвавшись от начиненного горькими истинами текста, возвести глаза к небу и вспомнить, что "с нами Бог". Второй механизм защиты — это иммунитет культуры. Компетентный читатель лечит свою "экзистенциальную аллергию" с помощью того лекарства, который вырабатывает в его сознании само произведение. Поднимаясь до уровня автора, он вслед за ним "преодолеывает муки — словом" (Камю).

Психологическая защита современного читателя разрушена. Не только Бог уже не с ним, но и культура уже не вырабатывает внутри себя никакого противоядия тем травмирующим истинам, которые — даже слегка при этом развлекая — нам умудряется преподносить хорошая литература.

Возможно, с моей стороны было бы излишней драматизацией назвать поп-реализм современным синтетическим заменителем религии. Достаточно поэтому сказать, что если хорошая литература — зеркало экзистенции, то поп-реализм — защитный экран.

Но и это, однако, не единственный резон его существования. И как бы я ни старалась избегать патетики, я все же не могу удержаться от того, чтобы не наградить представителей поп-реализма медалями за огромные заслуги в деле защиты — на сей раз уже не нашего сознания, а — демократических ценностей нашей цивилизации. Защиты от эстетического фашизма.

Прежде чем объяснить, что я понимаю под эстетическим фашизмом, позволю себе небольшое отступление со ссылкой.

Известный критик Наталья Рубинштейн в одной из своих устных лекций отметила наличие глубокого разрыва между эстетическим и этическим в современной литературе. Люди, менее причастные к культурному процессу, зачастую вообще отказываются признать существование такого разрыва: для них гений и злодейство все еще несовместны. Однажды, в беседе с читателями, я положительно отозвалась о многостороннем творчестве Габриэля д'Аннунцио, заметив при этом, что он стал фашистом, скорее всего, в силу самой природы своего творческого мышления. Аудитория встала на дыбы: мы не читали Габриэля д'Аннунцио, но

если он был фашистом, он не мог быть талантливым писателем. Я, было, возмущалась безапелляционностью публики, но тут же спохватилась — ведь она (по-своему, конечно) протестовала против разрыва между этическим и эстетическим. Теперь, после того, как я прочитала речь Бродского на церемонии вручения Нобелевской премии, мне это кажется еще более понятным и простительным. Из упомянутой речи Бродского выходит, будто литература является гарантией сохранения этических норм. Тот, кто читал Диккенса, сказал Бродский, вряд ли совершит убийство...

Что ж, давно замечено, что наивность к лицу поэту — даже если поэту уже так много лет. Было бы невежливым с моей стороны требовать от того, кто делает столь доброкачественные стихи, чтоб он еще был и мудрецом вдобавок. Конечно, можно было бы ожидать от современного поэта некоторой умудренности историческим, по крайней мере, опытом. Разве недавняя история не продемонстрировала нам вполне наглядно, что можно быть знатоком классической музыки и при этом отправлять людей в газовые камеры; что можно любить поэзию и знать толк в литературе — и при этом делать свою работу где-то в Лубянке? Да и не все хорошие поэты пробуждали лирой исключительно “чувства добрые” — достаточно вспомнить Эзру Паунда.

Признаем честно: хорошая литература всегда была более терпимой к человеческим порокам, чем литература плохая. Флобер любил свою не слишком положительную Эмму, — в отличие от писателя Шелдона, который свою “плохую” девочку наказывает с полным чувством морального удовлетворения. Но, при всей своей терпимости, хорошая литература прошлого не посягала на десять заповедей, даже если и позволяла это делать своим персонажам. Она, в конечном счете, тоже предусматривала наказание за преступление. Хорошая литература нашего времени, заблудившись как в потемках человеческой души, так и в джунглях мироздания, уже не берет на себя смелость “учить”, — в отличие от поп-реализма, который отнюдь не чуждается дидактических уроков.

Впрочем, хотя поп-реализм, как мы убедились, “блюдет мораль”, но все же не настолько, чтобы встать на службу Армии Спасения. Писатели поп-реализма не проповедники, а их герои не аскеты. Они любят деньги, славу, секс и прочие “хорошие вещи жизни”. Они не вегетарианцы к тому же, и рука у них не дрогнет, если придется убивать — за правое дело и за хорошие деньги.

И все же "гуд гайз" от "бэд гайз" поп-реализм различает четко, без того, чтобы заглядывать в психологические глубины. Разрыва между эстетическим и этическим плохая литература, возможно, не знает еще и потому, что этику она подменяет моралистским китчем, а от претензий эстетических, в литературно-профессиональном понимании этого слова, заведомо отказывается, как от элитистских и антидемократических.

Качественная же литература, освобождая себя от внелитературных задач, решает проблему: что такое плохо и что такое хорошо? — исключительно в терминах стилистики. И этот примат эстетических критериев над всеми остальными неизбежно приводит ее к элитизму. Хотя я не берусь утверждать, что хорошая литература и литература элитистская — абсолютные синонимы, все более очевидно, что сегодня так называемая качественная литература все больше сдвигается в сторону элитизма, доводя его до логического предела — эстетического фашизма.

Под эстетическим фашизмом я понимаю доведенную до крайности селективность: Элитизм начинается с отбора (что естественно), а заканчивается — уничтожением (что является культурным экстремизмом). Отбрасывая все "несовершенное", искусство достигает высот мастерства. Но при этом критерии отбора распространяются не только на участников культурного процесса, но и на его возможных партнеров — читателей. Неподготовленный читатель не может проникнуть в элитистски замкнутое культурное пространство, не подобрав ассоциативных ключей, и качественная литература систематически занимается чисткой этого культурного пространства и "уничтожением" читательских масс.

Но читатель тоже хочет жить, не так ли? Поэтому ему волею неволей приходится обживать другое пространство, еще не оккупированное культурой.

Прежде чем продолжить повествование о том, как он это делает, снова небольшое отступление со ссылкой, на этот раз на себя.

Мою последнюю книгу "Журнал" открывает трактат о методах воздействия на аудиторию, — как в искусстве, так и вне его. Трактат этот называется "Шоу" и написан в форме пьесы для чтения, с использованием формальных приемов драматургии. В "Шоу" действуют и сторонники эстетического фашизма, и их оппоненты. Один из конфликтов Шоу — это как раз конфликт между элитизмом и китчем — конфликт, в который по ходу "пьесы" вовлечены и ее "зрители". Завоевание аудитории происхо-

дит в сюжете с помощью китча и бомбастики, поставленных на службу элитизму, который в финале действия чисто физически (а в плане трактата — символически) уничтожает ни в чем неповинных зрителей. Разумеется, все это не означает, что я, как автор, всегда стою на позициях эстетического фашизма — в “Журнал” вошел, к примеру, также отрывок из романа, написанного в свое время под большим влиянием поп-реализма. Моя литературная “двойная жизнь” проходит в бесконечных метаниях от элитизма к популизму.

Но вернемся к той общей культурной ситуации, которая так отразилась и на моей творческой судьбе. Эта ситуация, на мой взгляд, явилась результатом многолетней подрывной деятельности эстетически ориентированной литературы — той деятельности, которая, в конечном счете, привела к нынешнему разрыву между цивилизацией и литературой. Шире — между цивилизацией и культурой. Когда культура и цивилизация разошлись в разные стороны, им пришлось разделить своих детей. “Плохая” литература осталась при цивилизации. Хорошая — выбыла из нее вместе с культурой. Цивилизация, какой бы варварской она ни была, всегда нуждается в мифотворчестве. Культура же вполне может довольствоваться мифоинтерпретацией.

Если мифотворчество — *raison d'être* литературы, то приходится признать, что “плохая” литература, в конечном счете, отрабатывает свой хлеб — в отличие от хорошей, которая тащит на своих плечах столько старых мифов, что у нее уже нет сил на создание новых. Частично эмигрировав в региональный эпос, “хорошая литература” лишь на периферии цивилизации еще занимается мифотворчеством, — в основном же она обходится без цивилизации точно так же, как цивилизация обходится без нее. Уплетенная сетью вторичных ассоциаций, она, подобно ее пророку Борхесу, запирается в своей Вавилонской библиотеке, ностальгируя по ушедшим временам эпического размаха и присутствия Героя, — того самого Героя, которого она собственноручно подменила Антигероем. Именно в результате этого литературного подлога она уничтожила связующее звено между эстетическим и этическим, ибо только миф о Герое мог преодолеть этот изначально присущий литературе разрыв. Дегероизация литературы (и шире — культуры) привела к конфликту с алтер-эго любой цивилизации (ибо культурный герой является главным действующим лицом и, по существу, создателем этой цивилизации) и в результате

превратила носителей культуры из защитников цивилизации в ее антагонистов. Отказавшись от экстралитературных амбиций, не принимая никакого другого вызова, кроме формального, хорошая литература осталась один на один с экзистенциальным бременем, сущность которого она изучила настолько хорошо, что ей не остается ничего другого, как варьировать старую истину о том, что мир жесток, а человек слаб. Она все еще продолжает объяснять мир, но уже утратила веру в то, что его можно изменить.

Зато "плохая" литература полна жизнеутверждающего оптимизма: даже ее трагедии — и те оптимистичны. Начав на новом месте, лицом к лицу с одичавшими массами, депортированными за пределы культуры, она организовала их в потребителей своих пэйпербэков, создала школу поп-реализма и оказала огромное влияние на цивилизацию. Герой, выбывший из хорошей литературы, обрел в произведениях популярного реализма новую жизнь, и с этой новой жизнью пришло к нему и второе, эпическое, дыхание. Этому герою тоже противостоит жестокая стихия, но он вступает с ней в схватку. Да, он знает, что борьба сурова и без жертв не обходится, и поп-реализм, в свою очередь, слагает песню в честь "безумства храбрых" — воинов, астронавтов, разведчиков, пиратов, — тех, кто начинает и выигрывает. Благородных, храбрых, решительных, красивых и преуспевающих. Продолжая верить в то, что человек — венец творения, поп-реализм возводит его в ранг "супер". Культу искусства он противопоставляет культ человека — Сверхчеловека и Супермена.

Стоп. Этот культ человека — вам что-то напоминает? Уж не Возрождение ли? Да, пожалуй, самый что ни на есть Ренессанс. Что ж, история повторяется. История культуры — тоже. И тоже в виде фарса.

Нелли Гутина — писательница, эссеистка и журналистка, автор романа "Двойное дно", оригинального "Журнала" и многочисленных статей на политические и культурные темы; живет в поселении Оранит.

Научная фантастика похожа на комедию дель арте. В ней тоже есть постоянный набор действующих лиц. Или вернее, они хоть и действующие, но не лица: сверхлюди и чудовища, космические корабли и машины времени кочуют из романа в роман, стекляшками калейдоскопа складываясь в бесконечные сюжетные узоры. НФ не рисует портреты, а копирует иконы — но каждая копия выявляет новую грань культурных мифов, закодированных в стереотипах жанра.

Культурные мифы — это провинция массовой культуры. Психолог личности анализирует индивидуальные сны и находит в них соответствие мифам забытых цивилизаций, психолог общества наблюдает цветные сны телевизора и многотиражные сны массовых изданий и ставит диагноз коллективным неврозам. Далеко не в переносном смысле слова, поп-культура — это подсознание цивилизации.

В спектре популярных жанров — детектив, триллер, любовная история и т. п. — НФ занимает особую позицию. В лучших своих образцах она не просто смыкается с так называемой высокой культурой, но и открывает новые возможности для литературы вообще; на низших уровнях она незамет-

Илана Гомель

**СУПЕРМЕН
В
МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ**

(по материалам западной научной фантастики)

но переходит в “Войну звезд”. Но в общем, интеллектуальная напряженность жанра удерживает его от эксцессов телевизионного слабоумия. НФ — это элита массовой культуры.

Ввиду своего особого положения, фантастика может служить переходным звеном между бессознательным воспроизведением культурных мифов и их интерпретацией. Она дает уникальную возможность образного воспроизведения и анализа тех социальных, идейных и психологических реалий, которые скрываются под масками пришельцев и чудовищ и которым тесно в рамках конвенциональной литературы. Это особенно очевидно, когда речь идет о стереотипах НФ, которые широко известны и за пределами жанра. Главный из таких стереотипов — это сверхчеловек.

Супермен, как призрак, гуляет по современной Европе. Его шаги отдаются на полях второй мировой войны. В Нюрнберге все еще слышатся отзвуки голоса, объявляющего о принятии новых законов, ограждающих биологическую чистоту высшей расы. Со стыдом, удовлетворением — кто знает? — внимают этому голосу тени Ницше, Дарвина, Шоу и десятков других социальных реформаторов, утопистов и пророков. А по другую сторону океана американцы в своем технократическом Эдеме, не запятнанном грязью европейской истории, каждодневно включают телевизоры, чтобы погрузиться в созерцание Рамбо, Супермена, Человека, который Стоит Шесть Миллионов, Суперженщины и других незаконных отпрысков нацистской мечты.

Генезис идеи сверхчеловека в Западной культуре сложен. Самые глубинные его корни уходят в подпочву религии. И не обязательно в ортодоксальное христианство: человекобог — не столько спаситель, сколько посредник и медиатор — появляется и в мистических культах, и в гностических ересьях. Он указывает путь к преодолению собственно человеческих ограничений и к слиянию с божеством. Человекобог — это человек, который становится богом.

Вторая составляющая в образе сверхчеловека связана с дарвиновской теорией эволюции, отменившей трансцендентность, но не стремление к ней. Примитивные гоминиды развились в *Homo Sapiens*, объявляет оптимистический биолог, следовательно очередной эволюционной ступенью будет *Homo Superior*. Теория эта удобна, проста и легко укладывается в рамки фантастического сюжета, так что какова бы ни была ее научная ценность, ее долгая литературная жизнь еще, очевидно, не кончена.

Проблема, однако, состоит в том, что выживание приспособленных по Дарвину — совсем не обязательно синоним прогресса. Побить человека в эволюционной игре может и сверхтаракан. В фантастическом рассказе Филиппа Дика "Золотой человек" супермен не умнее собаки. У него только два неоспоримых преимущества: он неуязвим и неотразим для женщин. Соревнование по выживанию и размножению отмечает в сторону культуру, цивилизацию и прочие тонкости. Поэтому любая биологически-расовая идеология сверхчеловека, постулируя целенаправленную эволюцию, скрывает под маской наукообразности доморощенную мистику. А если эволюция и без того работает на нас, почему бы ей не помочь? Ужасы нацистской евгеники заставили современных ученых стыдливо замалчивать тот факт, что на протяжении долгих десятилетий расовое оздоровление было одной из общепризнанных целей пост-дарвиновской биологии. Основателем евгеники был не кто иной, как Фрэнсис Гальтон, известный биолог и двоюродный брат Дарвина.

Культуролог, быть может, различит в мечтах о сверхрасе ту же подоснову, что и в гностических культах Посланника и Избавителя: человеческую попытку к бегству от самого себя. В образе сверхчеловека сконцентрировано извечное человеческое желание преодолеть слабость и несовершенство собственного бытия. Но супермен двадцатого века — существо brutальное. Слабость для него — категория даже не столько физическая, сколько политическая: отсутствие реальной власти. Супермен — это фантастическая оппозиция демократии.

Изгнанный из доминантной культуры, сверхчеловек нашел прибежище в маргинальных оккультно-расистских движениях — и в культуре для масс.

Поп-супермен — это особая статья, ибо через него массовая культура позволяет своим потребителям насладиться нарушением всех моральных и политических табу демократического общества и в то же время утверждает неизбежность этих табу. Поэтому поп-супермен игнорирует все законные органы власти — но действует в интересах общества; убивает пачками — но только злодеев; совершает чудеса — но не требует для себя никакой награды. Поп-супермен — это средний человек с большой буквы. Поэтому первый супермен американской массовой культуры, герой комикса тридцатых годов — это в буквальном смысле слова алтер-эго маленького заурядного неудачника.

Пробел между нацистскими и квази-нацистскими мечтами о сверхчеловеке и фильмами "Супермен 1, 2, 3" заполняет научная фантастика. Анализ художественных произведений (а речь пойдет только о такой фантастике, которая, хотя бы с трудом, но может претендовать на звание художественной литературы) позволяет распутать клубки идей, спрессованные в политические лозунги или в клише массовой культуры. "Странный Джон" Олафа Стэплдона (1936) позволит нам рассмотреть духовные аспекты идеи сверхчеловека и задаться вопросом: а что, собственно, есть человек? Роман Альфреда Ван Фогта "Слан" (1940—1951), чрезвычайно плохо написанный и, быть может, поэтому в свое время чрезвычайно популярный, обнажит политическую демонологию сверхчеловека. "Больше, чем человек" Теодора Старджена (1953) пытается решить моральные и психологические проблемы, связанные с появлением существа, которое больше (но в каком смысле, больше?), чем человек.

Все три романа считаются классикой жанра. Достаточно взглянуть на даты их написания, чтобы понять, до какой степени научная фантастика чутка к изменениям культурного и политического климата. Супермен — это дитя конца девятнадцатого-первой половины двадцатого веков, рожденный в пылу дискуссий о теории эволюции, крушении христианства и кризисе демократии. Современные фантасты, если и берутся за тему сверхчеловека, то часто возвращаются к ее гностически-религиозным истокам ("Посольство пришельцев" Яна Ватсона, к примеру).

...Олаф Стэплдон являет собой несомненный пример горя от ума. Беспощадная логика его интеллекта и эксцентричные основы его философии привели к тому, что этот талантливый писатель был забыт на несколько десятков лет (недавно началось его возрождение).

"Странный Джон" — это биография сверхчеловека, начинающаяся его рождением в мелкобуржуазной английской семье в 1919 году и кончающаяся его демонстративным самоубийством в возрасте двадцати трех лет. Стэплдон подошел ближе всех к разрешению неразрешимой художественной задачи: как может обыкновенный человек, пусть талантливый и умный, убедительно изобразить сверхчеловека? Это — литературный эквивалент подвига барона Мюнхаузена, вытаскившего себя за волосы из болота. Стэплдон нашел две точки опоры — повествование ведется от первого лица человеческим другом Джона, и автор выстраивает

независимую шкалу ценностей, которой измеряются и Homo Sapiens, и Homo Superior.

С самого начала рассказчик — друг семьи Джона, влюбленный в его мать — объясняет, что он поставил перед собой невыполнимую задачу. Он знает Джона, но не понимает его. Его ситуация аналогична ситуации рассказчика "Доктора Фаустуса" Томаса Манна: средний человек, эмоционально привязанный к полубогу. Тем не менее кошке позволено смотреть на короля — почему бы Homo Sapiens не описать Homo Superior? Да, говорит Джон, кошка смотрит на короля, но видит ли она его?

Метафора кошки очень важна, потому что на протяжении всей книги отношения Джона и рассказчика, который ему не просто друг, но и суррогат отца, описаны в терминах отношений человека и домашнего животного. Мы не знаем настоящего имени рассказчика — Джон окрестил его собачьей кличкой Фидо. Он беззастенчиво эксплуатирует привязанность Фидо, вовлекает его во всякого рода авантюры — а в награду тот получает ласковое похлопывание по плечу и снисходительное подраживание. Вот она, бесчеловечность сверхчеловека! — воскликнет возмущенный читатель — и будет неправ. Стэплдон сознательно и последовательно отрицает правомерность морального подхода к сверхчеловеку. Фидо прекрасно понимает и принимает свою роль. Неразумна та собака, которая требует равенства со своим хозяином. Осознание людьми превосходства Джона почти что инстинктивно. Так, один из его "друзей", Стивен, которого Джон использует как подопытный материал в своих экспериментах с низшим видом, подравшись с ним, чувствует себя виноватым, "как собака, которая укусила своего хозяина".

Все это выглядело бы как апология расизма, если бы не тот факт, что биологическая разница между Джоном и человеком обыкновенным невелика, да и не всегда в пользу Джона. Его развитие, например, настолько замедленно, что в момент своего самоубийства он, физиологически, все еще подросток.

Стэплдоновское понимание категории "человек" и "животное" раскрывается в другом эпизоде. Когда в возрасте пятнадцати лет Джон соблазняет зрелую красавицу с многозначительным именем Европа и пытается переспать с ней, его охватывает отвращение, делающее его импотентом. Он вдруг видит в ней животное — "добрую старую ослицу, привлекательную, пожалуй, но в то же время смешную и жалкую из-за отсутствия у нее ду-

ши". Игра на образах Титании и Ослиной Головы, Европы и Зевса, божества и животного намекает на систему ценностей, в рамках которой разворачивается конфликт книги. Эта система — не моральная, а метафизическая. В традициях английского Ренессанса, человек определяется как переходное звено между животным и ангелом — дух в оболочке плоти, почти что задавленный, по мнению Стэплдона, грузом животных инстинктов. В эволюции духовности человек достиг предела своих возможностей. В надолго запоминающемся образе Джон называет Homo Sapiens "археоптериксом духа". Европа принадлежит к другому виду не биологически, а духовно и интеллектуально: отсюда и отвращение Джона. В другом романе Стэплдона, "Сириус", любовь между женщиной и разумной собакой изображается с полным авторским одобрением, ибо духовно они равны.

Стэплдон подвергает моральное чувство читателей еще более суровому испытанию. До возраста шестнадцати лет Джон исчерпывает весь список смертных грехов: он крадет, убивает и совершает кровосмешение со своей матерью. Последнее знаменует собой его полный разрыв с обычным человечеством — нарушив самое ненарушаемое из всех табу, он символически уходит из истории и начинает новый цикл в попытках духа осознать самое себя и Вселенную. После инициации — мистической смерти и воскрешения — в нем пробуждаются телепатические способности. По меркам поп-суперменов последние очень скромны. Но в мире Стэплдона за чудеса приходится платить, и их цена в конце концов оказывается Джону не по карману.

Последняя часть романа самая интересная и, с точки зрения обычных сюжетов НФ, самая странная. Джон находит себе подобных — мутантов, большинство которых подростки или молодые люди. Многие из них калеки. Но всех объединяет качество, выражаемое любимым словом Стэплдона — ясность. Они называют себя "разбуженные". Не физическое или моральное совершенство, не трюки телекинеза, а расширенная область самосознания — вот что, по мнению Стэплдона, определяет сверхчеловека.

На классическом тихоокеанском острове всех утопий мутанты организуют коммуну. Их обнаруживают, и им грозит столкновение со сверхдержавами. Мутанты вполне способны начать войну против человечества и выиграть ее. Их не удерживают моральные соображения: с их точки зрения, Земля населена полуразум-

ными скотами. Тем не менее, они предпочитают коллективное самоубийство.

Этот парадоксальный конец может быть понят только в рамках стэплдоновской концепции духа. Именно в области духа, а не просто интеллекта, человек проигрывает сверхчеловеку. Интеллект — это только орудие для достижения определенных целей. Человеческие цели — власть, славу, любовь — Джон оставляет позади еще ребенком. Им движут иные побуждения. Задача сверхлюдей — реализовать идеальное соотношение человеческого духа со Вселенной и Творцом Вселенной. Их цель достигнута в момент самоуничтожения.

В основе теологии и философии Стэплдона лежит эстетический принцип. Мир трагичен, и потому верное отношение к нему — это отношение зрителя к трагедии. Ясность духа как раз и состоит в том, что человек сохраняет это отношение, являясь в то же время действующим лицом в не им написанной драме мироздания. Что же до Автора, его созидательный талант заслуживает восхищения и даже поклонения, но вера в его милосердие — это сентиментальная иллюзия. В романе "Творец звезд" Бог интересуется каждым завершенным космосом не более, чем художник — законченным и отложенным в сторону этюдом.

Стэплдона нельзя даже назвать гностиком, потому что он не ищет выхода из трагической дилеммы существования. Момент прозрения, интеллектуальной ясности, полного осознания космической безысходности — это для него единственная — и достоящая — награда духа. Тот, кто ничего не ищет, ничего не теряет.

На этом фоне решение Джона и его товарищей покончить с собой — это акт религиозного самоутверждения. Они понимают, что война с человечеством вовлечет их в кровавую бойню и грубая необходимость биологического выживания сделает их неспособными к интеллектуальной ясности. В мире Стэплдона символический жест протяженностью в одну секунду означает больше, чем миллионы лет бессознательного существования. В поединке человека и сверхчеловека на этот раз побеждает сверхчеловек, ибо только в нем по-настоящему живет ощущение трагедии. Стэплдон был бы ницшеанцем, если бы не его рационализм, делающий его своего рода Аполлоном нигилизма.

"Странный Джон" — это, пожалуй, лучший роман о сверхчеловеке — и самый отдаленный от политических и социально-психологических реалий, лежащих в основе этого образа. Позиция

Стэплдона по отношению к вульгарной мистике сверхрасы ясна. В предисловии к "Творцу звезд" он объясняет, как современные ему события в Германии только усилили его презрение к человеку обыкновенному. Сложный и привлекательный образ Странного Джона не укладывается в идеологические формулы: это — супермен для элиты, для тех, кого интересуют "вечные" вопросы соотношения духа и материи. Но для массового читателя политика интереснее философии, и власть, превращающая ничтожеств в сверхлюдей, ближе по духу, чем сверхчеловеческий отказ от власти. Массы читают "Слана".

После "Странного Джона" англичанина Стэплдона "Слан" американца Ван Фогта кажется лубком. Грубое мифотворчество, шаблонный сюжет, картонные характеры. Если что-то и объединяет его со "Станным Джоном", так это возраст героя. В этих двух романах, как и в "Больше, чем человек", супермены — это дети и подростки. Психологически, сверхчеловек, рожденный от обыкновенных родителей, может читаться как архетипический образ сына, бунтующего против отца. В "Странном Джоне" эдипов конфликт разрешается самым радикальным путем — инцестом с матерью. Психология Homo Sapiens больше не применима к Homo Superior. В "Слане" и "Больше, чем человек" родители или погибли до начала действия, или бросили своих отпрысков на произвол судьбы. В конфликте отцов и детей авторы этих трех, таких непохожих друг на друга книг единогласно становятся на сторону молодого поколения.

Альфред Ван Фогт был кумиром читателей НФ, и "Слан" на некоторое время стал объектом литературного культа. Иными словами, вокруг романа образовалась группа поклонников, считающих его самой великой книгой после Библии. "Слан" был написан в то время, когда НФ была склонна к такого рода эксцессам, будучи наглухо запертой в литературном гетто. Это очень "инсайдерская" книга, использующая жаргон, идеи и сюжетные стереотипы, имевшие хождение только в замкнутой группе поклонников НФ. Тем не менее, ее прямой референт — это кровавая фантазия расы и власти, всерьез разыгравшаяся на просторах Европы.

Действие романа происходит в неопределенном будущем. Миром правит абсолютный диктатор Кир Грей. Кажется, что население планеты в основном занято погромами против сланов — новой расы суперменов. Сланы выглядят как люди. Их отличительные

признаки: огромная физическая сила, высочайший интеллект, двойное сердце и спрятанные в волосах золотистые отростки, придающие им телепатические способности. В свое время сланы правили миром, но потом люди взбунтовались, свергли своих высокоразвитых правителей и с тех пор регулярно — но почему-то безуспешно — пытаются стереть их с лица Земли.

Героя романа зовут Джомми Кросс. Его роль новоявленного мессии сланов зашифрована в его имени: Кросс (Cross) по-английски означает крест, а первая буква имени Джомми (J) совпадает с инициалом Иисуса. Это подробность любопытна тем, что показывает, до какой степени религиозная символика стала рефлексом западного сознания. Ничего более антихристианского, чем этика “Слана”, невозможно себе представить.

В начале романа Кроссу девять лет. Его родители были убиты разъяренными человеческими толпами, но отец завещал ему секрет атомной энергии. Задача Джомми — выжить, вырасти и спасти свою расу от тотального уничтожения.

Самая интересная тема романа — это его диалектика расы и преследования. В начале книги сланы выглядят беззащитными жертвами, своего рода аллегорией евреев, как гонимых гениев — роль, в которую сами евреи иногда не прочь обрядиться. Homo Sapiens же — несправедливые и жестокие гонители. Общая социальная структура будущего общества — с диктатором, который ликвидирует разногласия между министрами ликвидацией министров; с фанатичным шефом тайной полиции; с атмосферой страха и подозрения — кажется очевидной сатирой на нацистскую Германию или на тоталитаризм вообще. Даже то, что диктатор Кир Грей держит под своим покровительством девушку-слана, не особенно выпирает из общей картины: ведь и у Гимmlера был свой любимый еврей. Но дальше начинаются чудеса.

Джомми обнаруживает, что существует большая и разветвленная организация псевдосланов — суперменов с физическим и умственным потенциалом настоящих сланов, но без отростков и, следовательно, лишенных телепатических способностей. Они ненавидят настоящих сланов и готовятся к схватке с ними не на жизнь, а на смерть.

Джомми теперь вынужден скрываться и от людей, и от псевдосланов. Но самым неприятным сюрпризом для него оказывается то, что он, похоже, единственный представитель своей расы. Он ищет сланов под землей, на Луне и на Марсе — и не находит.

Этот юный мессия без народа постоянно представлен как образец всех добродетелей, несмотря на то, что по ходу дела он психологически поработает человеческое население целой долины.

После многочисленных приключений Джомми Кросс раскрывает тайну своего общества. Он встречается с диктатором — и Кир Грей, неумолимый гонитель сланов, сам оказывается сланом. Все общество — это колоссальная конспирация, цепь хитроумных заговоров, с единственной целью — ускорить эволюционно неизбежное вымирание *Homo Sapiens*. Псевдосланы — это генетически замаскированные настоящие сланы, но сами они этого не знают. Их временная маскировка позволяет им раствориться в человеческой толпе, пока их организация не станет достаточно сильной для захвата власти. Кучка настоящих сланов действует как катализатор, тут и там планомерно организуя погромы против самих себя. Испытания закаляют расу, выковывая тип расово чистого слана.

Сила такой развязки состоит в ее полном безумии. Совершенно ясно, что логика текста не имеет ничего общего ни с диалектикой социума, ни с литературной занимательностью. За приключениями Джомми Кросса стоит картина мира из “Протоколов сионских мудрецов” — картина заговора как движущей силы мировой истории. Жертвы оказываются палачами, во имя будущего расы организующими собственные гонения. Геноцид оборачивается колоссальным розыгрышем — за счет человечества, которому так или иначе эволюцией предопределено вымирание. “Слан” позволяет своим читателям идентифицироваться с гонителями и гонимыми одновременно и утишает ужасы реального геноцида уверениями, что жертвы сами этого хотят.

Понятие расы играет центральную роль в романе, но это — идея-пустышка, идеологическая тавтология. Превосходство сланов описано в терминах физиологии, тем не менее — как уверяют герои книги — оно автоматически влечет за собой высокий уровень морали. Сланы, включая Кросса, — убивают, поработают, психически насилуют — но это оправдывается интересами расы. Раса же оправдывается превосходством индивидуумов. Но Джомми Кросс, идеальный слан, своего рода сверх-сверхчеловек, ничем не выше среднего героя среднего приключенческого романа. Он даже на Джеймса Бонда не тянет, несмотря на обилие квазимагической техники, которой его снабдил автор. Вопреки очевидным намерениям Ван Фогта, сверхраса в ро-

мане расшифровывается как дымовая завеса кучки жадных до власти заговорщиков.

“Слан” не просто отражает нацистскую и квазинацистскую идеологию, он кристаллизует ее в мифические структуры, создавая замкнутую систему внутренних соотношений. В этом смысле книга — не пропаганда и не аллегория. Она просто доводит до логического завершения противоречия, заложенные в самой идее супермена и, в особенности, расы суперменов. “Слан” переводит абсурды идеологии в ощутимые провалы сюжета и характеров. Сверхчеловек не может быть одновременно Христом и белокурой бестией. Джомми Кросс, кандидат в Спасители, оборачивается идеальным штурмовиком.

Столкновение морали и биологического превосходства лежит и в основе “Больше, чем человек” Старджена, но в совсем ином ракурсе. Теодор Старджен — анархист и лирик, тоталитарные восторги Ван Фогта ему чужды не столько политически, сколько инстинктивно. В образе сверхчеловека он фокусирует свой интерес к тому, что в хорошо налаженном обществе сланов было бы немедленно ликвидировано — к необычному, уродливому, жалкому.

Стардженовский супермен — прямая противоположность мускулисту слану. Это Homo Gestalt, коллективная общность, составленная из тех, кого общество признало умственно и физически дефективными. Это самая христианская модель супермена, собранного, как китайская головоломка, из униженных и оскорбленных. Его подкорка — монголоидный младенец, уникальный биологический компьютер, лишенный индивидуальности. Его тело — брошенная матерью-проституткой девочка Джани, которая умеет телепортировать предметы. Его конечности — цветные близняшки, которые умеют телепортировать самих себя. И его голова, первое “я” Homo Gestalt (потом появляется и второе) — это идиот-телепат по имени Лон.

Homo Gestalt не рожден, он постепенно складывается из разрозненных частей. Лон из жалости подбирает заброшенных детей, и его странный детский сад, благодаря телепатическим способностям своих обитателей, постепенно сливается в единое целое — первого в мире сверхчеловека. Homo Gestalt всемогущ — и полный клинический идиот. Только когда первое эго, Лон, заменяется вторым — подростком-рецидивистом Джерри и когда Homo Gestalt обретает “совесть” — дополнительного и ничем не

примечательного члена общности, — только тогда он осознает собственную миссию. Эта миссия состоит в способствовании историческому прогрессу человечества.

Приятный, успокоительный конец. Трагедия кончилась, геноцид забыт. В пятидесятых годах западное общество оптимистически видит корень всех зол в потенциально излечимых проблемах индивидуальной психики, а панацею — в психоанализе. Это — золотой век для эпигонов Фрейда. Даже супермен не избежал кушетки психоаналитика. Не случайно “Больше, чем человек” разделен на три части, которые соответствуют трем основным “разделам” личности во фрейдистской психологии: пробуждение сознания; становление Эго; рождение Сверх-Я.

Стройная схема, но ее ломает неспособность Старджена отрешиться от христианско-гуманистической идеи, что любая человеческая личность, какой бы ущербной она ни была, свята и неприкосновенна. По логике, члены Homo Gestalt должны были бы потерять свою индивидуальность, раствориться в общем самосознании. Но этого не происходит: Джани — “тело” Homo Gestalt — в конце концов бунтует против “головы”, Джерри, — и коллективный сверхчеловек превращается в не особенно дружный коллектив необычных людей.

Гуманизм и фрейдистский психоанализ, с его подспудным течением глубокого пессимизма, на деле несовместимы, несмотря на их насильственное соединение в психологической риторике пятидесятых годов. Глубинная вражда этих идейных систем разбивает роман “Больше, чем человек”, и только недюжинный литературный талант Старджена позволяет ему поддерживать иллюзию художественного единства. Но более того — сентиментальность и упор на моральные проблемы знаменует собой конец сверхчеловека как живого явления культуры. Массовая культура мумифицирует отбросы дискурса идей. Сверхчеловек как идеал, как возможность, как мечта, был похоронен под развалинами Третьего рейха. Его сегодняшние воплощения — это фантомы культурного подсознания, бессознательные сны коллективной психики. Но вытесненное желание, как предупреждал когда-то Фрейд, возвращается кошмаром. Кто знает — быть может, день супермена еще впереди...

Илана Гомель (Каганская) — преподаватель Тель-Авивского университета, специалист по английской литературе и научной фантастике.

В МАСТЕРСКОЙ

Михаил Заборов

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ (к выставке Иосифа Капеляна)

Блуждание, блеф, трюкачество, абсурд — вот, примерно, пути-ухабы искусства последних десятилетий. Наконец, все смертельно устали — и так кончилась высокая, блестящая и сумасбродная эпоха. Настала новая эра — постмодернизм. Но что такое постмодернизм? Никто толком не знает. Однако среди прочего в нем явно ощутима тяга к до- или предмодернизму. Не только сломя голову вперед, за убегающими горизонтами прогресса и авангарда — но, может, нужно остановиться, собраться с мыслями: не забыли ли что-то важное в том месте, откуда бежали?

Иосиф Капелян четко определяет свою позицию на распутье художественных направлений: говорят, что изобретение фотографии, и именно оно, подрубило корни реализма в визуальном искусстве, — и вот Капелян извлекает из архива истории “виновника” — дагерротип и обнаруживает, что с ним вполне можно жить в мире, интересно и плодотворно общаться и неподдельно любить.

Художник выявляет живописную и, я бы сказал, поэтическую ценность старинной фотографии, фотографически-документальную ценность художественного образа.

Дагерротип — достойный символ той не очень далекой старины, которая до последнего времени оставалась темным пятном в поле зрения современного искусства. Из каких только глубин ни черпали, к каким только истокам ни припадали художники-модернисты в поисках вдохновения: Африка и Азия, ближняя и дальняя, Греция и Ренессанс, древние мегалиты и современный примитив, но ... оставались в родовой ссоре с эпохой Давида, Энгра и Дагерра, ибо со времен импрессионистической революции осталась она в коллективном сознании художников, как воплощение застоя, анахронизма, как художественная антиценность.

Нужно достаточно далеко уйти по диалектической спирали, чтобы закономерно к ней приблизиться, чтобы диссонанс обратился в консонанс.

Капелян считает, что “час пробил”, пора перевернуть “бабушкин сундук” и извлечь из него самое ветхое, но и самое модное, самое элегантно платье ... и вот на его картинах появляются из тьмы времен молодые и старые, но всегда красивые персонажи в старомодных одеждах, в обыденности и торжественности — такими, какими они были запечатлены когда-то древним объективом.

Художник выбирает не просто образы, но нечто большее — художественную концепцию; он открывает вдруг, что и в наш век вовсе не обязательно все рушить, низвергать, ниспровергать. Маниакальный страх и перманентская революция против банальности, увы, стали банальностью. Оказывается, можно просто любить объект изображения и им любоваться. Капелян

любит своих героев, которых он же и вызволил из тьмы и пыли забвения к новой жизни, он любит силуэт и деталь, движением фигуры, кисти и, словно в храм, вводит нас в атмосферу минувших, покрытых патиной времен.

Известно, что содержание в искусстве по рукам и ногам повязано с формой, техникой. Последняя призвана, казалось бы, быть винтиком в колеснице создания, но часто сама становится идеей, концепцией. Что-то подобное происходит и в работах Иосифа Капеляна.

Серия портретов "Семейный альбом", представленная на выставке в галерее Сафрай в Тель-Авиве, создана художником "на одном дыхании" в течение последнего года.

До того трудно было бы предсказать такое развитие его творчества. Многогранный художник, он долго и плодотворно работал в станковой графике, писал натюрморты, портреты и все это в разном материале: эстамп и рисунок, акварель и масло, а вот теперь акрил — техника особая. О ней и речь.

Юрий Кунер, в прошлом из Союза, ныне известный французский художник, поднял технику акрилика до нового уровня, создал метод многократных лисировок с последующим снятием краски, что позволяет создать на холсте некрикливую, но напряженную борьбу объекта с пространством. Художник Борис Заборов, тоже живущий ныне в Париже, оценил и развил в этом методе именно аспект времени, тот налет, патину и аромат давности, в которые погружаются при такой обработке предметы. Заборов синтезировал новую версию и новое качество фотореализма, основанного на дагерротипе с характерными для него духом и чертами. Версию эту можно было бы назвать дагерреализмом, если бы, по существу, она не была бы дагерромантизмом — с ностальгической тягой в уходящую даль прошлого, к началам, к истокам — верный признак романтического восприятия.

Фото- или дагерромантизм Б. Заборова уже успел снискать признание у любителей и коллекционеров живописи в разных концах планеты, а также приобрел ряд последователей среди художников.

Серия портретов "Семейный альбом" И. Капеляна — его художественная интерпретация и вариация означенного дагерромантизма.

Если американский фотореализм с его холодом и подчеркнутой механичностью представляется неким криком то ли протеста, то ли клятвенного приношения автоматизму зрения и мысли, то фотореализм, родившийся в Париже и перенесенный И. Капеляном в Тель-Авив, согрет человеческим, ностальгическим чувством. Это явно бегство из "культуры железа" к старому, доброму. Есть в фоторомантизме и элемент иронии: как будто перед вами антиквар, но в действительности — вполне откровенная живописная игра, позволяющая ощутить и близость, и удаленность от милого нам, но ушедшего времени.

Михаил Заборов — искусствовед, автор ряда статей в израильской и западной русскоязычной периодике; живет и работает в Тель-Авиве.

ПО ПОВОДУ...

... СТАТЕЙ И. ЛИБЛЕРА* "БУДУЩЕЕ ЕВРЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР" И В. БРАЙЛОВСКОГО** "БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ" ("22", № 56).

В статье И. Либлера меня порадовали и даже поразили понимание и правильная оценка процессов, происходящих в данное время в Советском Союзе. Для человека, приехавшего в СССР из Австралии на столь непродолжительное время, он чрезвычайно точно и тонко разобрался в ситуации еврейского движения, и я с ним во многом согласен, хотя и имею некоторые возражения.

Если бы я прочел один лишь ответ В. Браиловского, я бы подумал, что И. Либлер ратует только за развитие иудаизма. На самом деле, внимательное изучение статьи И. Либлера показывает, что он ратует за поворот этого развития в русло еврейской культуры. Именно это, а не "ставка на иудаизм" – важнейшее в его статье. И. Либлер считает, что иудаизм нужно развивать в таких культурных формах, которые дадут возможность присоединиться к нему максимальному числу советских евреев. И это мне кажется совершенно правильным.

Далее, И. Либлер замечает, что само по себе желание уехать из СССР еще недостаточно для присоединения человека к еврейской жизни. Это спорный и сложный вопрос. Я не знаю, по какому пути пойдет дальнейшее развитие еврейской жизни в СССР, произойдет ли там всплеск религиозно-сионизма по причине антисемитизма – этого я предсказать не берусь. Но для меня несомненно, что в любом случае развитие религиозно-культурного комплекса, то есть еврейской культуры на религиозной основе, будет положительным явлением. Люди, уезжавшие в Израиль в 70-е годы, осознавали свою принадлежность к еврейству, и для них вопрос состоял лишь в степени постижения еврейской культуры; относительно сегодняшних эмигрантов трудно сказать, являются они евреями по собственному выбору или "по несчастью". Дать им положительное ощущение их еврейства может только религиозно-культурный комплекс. Поэтому я считаю, что сегодня в еврейской жизни в СССР этому комплексу должно принадлежать существенно большее место, чем раньше. Пробуждение еврейского самосознания является сегодня главной задачей. Многие интеллектуалы-евреи едут сегодня в Америку, чтобы жить не еврейской, а "человеческой" жизнью, поскольку для них еврейство – это несчастье. В действительности они просто ничего не знают о нем. Поэтому единственный способ направить их выезд в Израиль – это приобщение их к еврейской религии и культуре. Под еврейской культурой я понимаю здесь все, что окружает иудаизм, или иначе – иудаизм в таких формах, которые более понятны основной массе советских евреев.

Здесь есть тонкость, которую И. Либлер, видимо, не понял до конца. Безусловно, в основной своей массе евреи, желающие уехать из СССР, люди не религиозные. Но они, повторяю, далеки и от еврейства. Поэтому рели-

* Иси Либлер – один из лидеров организованного австралийского еврейства; принимает активное участие в борьбе за советское еврейство.

** Виктор Браиловский – математик, известный активист еврейского движения в СССР и один из редакторов самиздатского журнала "Евреи в СССР"; в прошлом – узник Сиона; в Израиле с 1987 года.

гиозно-культурная деятельность необходима не сама по себе, а для того, чтобы эти люди ощутили себя евреями.

Существует бесспорный факт: среди новых молодых активистов алии большинство составляют религиозные. Будет этот процесс иметь продолжение или появятся также нерелигиозные активисты, я предсказать, опять же, не берусь. Поэтому, хотя я согласен с И. Либлером в его описании нынешней ситуации, я не готов полностью принять его прогнозы. Конечно, религиозная группа и ее деятельность являются одним из важнейших параметров в борьбе за выезд, но он не единственный; есть много совершенно нерелигиозных молодых людей, которые просто хотят уехать из СССР и даже едут в Израиль; есть так называемые секулярные сионисты, которые считают себя евреями и хотят ехать именно в Израиль. Поэтому я не уверен, что всю ставку в будущей борьбе следует делать только на религиозную группу. В чем я, однако, глубоко уверен, повторяю, — так это в том, что будущее еврейского движения в СССР требует развития религиозно-культурного приобщения к еврейским истокам.

Пинхас Полонский (Иерусалим)

Пинхас (Петр) Полонский — математик, бывший отказник, известный активист еврейского движения в Москве, преподаватель Торы и Гемары; в Израиле с августа 1987 года.

* * *

Моя встреча с Иси Либлером в Москве была для меня по-настоящему открытием. Я впервые встретил человека, приехавшего с Запада, который так быстро и так адекватно схватывал все, с чем сталкивался непосредственно. Его анализ, в разговоре со мной, расстановки различных групп в нашем движении был очень правилен, его анализ отношения советских властей к эмиграционной политике, с моей точки зрения, очень точен. И даже его оценка, в нашем разговоре, наших еврейских религиозных групп, как замкнутых на свои собственные интересы и не проявляющих никакой эмиграционной и общественной активности, в общем тоже была правильной. Я могу повторить, что все, с чем он сталкивался непосредственно, он схватил достаточно точно. Но сейчас, прочтя его статью в "Иерусалимских размышлениях" в 56-м номере журнала "22", я вынужден сказать, что в том, что касается эстраполяции, в вопросе о психологии советских евреев и задачах советского еврейства, он обнаруживает, скажем прямо, влияние некоторых религиозных кругов и чудовищную переоценку их роли во всем, у нас происходящем...

Во-первых, советское еврейство — это некоторое собрание индивидуумов, которое не имеет никаких признаков общинных или, скажем, принятых в западном мире культурных связей. Это люди, которые прошли всю систему советского воспитания и с самого детства слышали все то негативное, что можно услышать о религии. Кроме того, советские евреи — это люди, воспитанные на уважении к науке, к рациональному мышлению, и мне кажется, что в этих условиях переход в религию нескольких сотен людей представляет собой, скорее, исключение, нежели правило. Переход к иудаизму, который, на сегодняшний день охватил порядка четырехсот человек в Москве, был очень медленным и длительным процессом. В этом

процессе началом было изучение азов еврейской культуры, потом — изучение азов еврейского языка. Тут, несомненно, были религиозные моменты. И вот постепенно, в течение нескольких лет, многие из тех, кто занимался преподаванием языка, стали все больше и больше приближаться к еврейской традиции, стали действительно религиозными людьми — в том смысле, что начали соблюдать заповеди. Но от этого до настоящего религиозного чувства — большая дистанция. То, о чем говорит И. Либлер: “возрождение еврейской религиозной жизни” — имеет, скорее, характер протеста против еврейской бездуховности и выражает собой желание самоидентифицироваться в национальном плане. Собственно еврейское религиозное чувство присутствует здесь в очень слабой мере, даже у некоторых весьма известных религиозных деятелей-отказников. Это процесс, который займет еще, наверно, много-много лет и который, на мой взгляд, пока годится только для одиночек.

Мне представляется, что реальная раскладка сейчас, даже после того, как, действительно, многие видные отказники (которых И. Либлер называет “секулярными”) выехали из СССР, лишь подтверждает, что то процентное соотношение, которое существует между религиозной и нерелигиозной частью в “отказе”, воспроизводит то отношение, которое наблюдается между ними в общественной активности. И это соотношение сил отнюдь не склоняется в пользу религиозных групп. Скажем, сейчас, в эти дни, из шести активно действующих групп отказников, которые наладили контакты с представителями Хельсинкской группы (Котляр, Надлер и другие), только одна является религиозной. Остальные — например, женское движение, юридический семинар, научный семинар, группа “Второе поколение”, группа “Бедные родственники”, семинар “Обсуждение политических основ эмиграции” — существуют на вполне секулярной основе. Как только “выходит из строя” — получив разрешение — одна какая-нибудь пара отказников, на ее месте быстро появляются другие люди. И хотя некоторые религиозные группы (как, например, Г. Розенштейна) тоже проявляют сейчас определенную активность, они не играют доминирующей роли. Потому что питательная среда у нерелигиозных активистов безусловно гораздо шире.

И еще. Религиозные люди вкладывают всю свою активность в то, чтобы соблюдать заповеди в стране, которая совершенно на это не рассчитана. Поэтому ни на что другое у них (я говорю не обо всех, но о многих) просто не хватает ни времени, ни сил. Они постепенно учатся, приобретают знания, но знания эти имеют, скорее, теоретический характер. И очень часто из-за этого возникают большие сложности, потому что они постоянно скатываются в область доктринерства. У них возникает какое-то свое ощущение мира, собственное видение, и эти свои собственные значимости они экстраполируют на окружающую среду, которая тому совершенно не соответствует. Да, среди религиозных деятелей алии действительно появилось много замечательных людей: Иосиф Бегун, Александр Холмянский, Зев Гейзель, Петр Полонский — но все эти люди пришли туда через культуру, скажем, активность.

Делать ставку, в условиях России, на такие религиозные группы было бы, конечно, ошибкой. Во-первых, потому что это довольно изолирован-

ные группы. Во-вторых, потому что даже то, что они могли бы дать, обычный советский еврей просто не в состоянии переварить, он от этого будет активно отталкиваться. И вообще-то проблема на самом деле состоит не в том, чтобы поддерживать ту или иную группу, а в том, чтобы найти адекватные пути для выхода на каждую отдельную еврейскую семью. Еврейство России раздроблено до атомов. И проблемой проблем остается способ достижения адресата. Как чисто сионистская активность, так и чисто религиозная активность не в состоянии сегодня такого адресата найти. Нужны какие-то новые формы. Их нужно искать.

И в заключение — несколько слов о проблеме отъезда, тоже затронутой в статье И. Либлера. Эта проблема связана с оценкой числа потенциальных "подавантов". По самым скромным нашим оценкам к началу прошлого года в СССР насчитывалось около 20 000 отказников (это исследование было сделано на основании советской прессы). Сейчас около 8000 уехали, стало быть осталось еще 12 000. За последние недели* нами собрано около четырехсот фамилий глав семей (то есть примерно 1500 человек), которые собираются подавать впервые. Потенциал эмиграции подкреплен — и очень сильно — уже упоминавшимся разгулом фашистских и профашистских группировок и организаций крайне антисемитского характера. Этот разгул заставляет всерьез задуматься даже многих из тех, кто никогда не думал уезжать. Советские евреи все более сознают, что в этой стране у них нет никаких национальных перспектив и никаких социальных инструментов защиты. Поэтому и в данном вопросе, о количестве потенциальных "подавантов", с И. Либлером тоже трудно согласиться.

Юлий Кошаровский (Москва)

* Речь идет о январе 1988 года (примечание ред.).

Юлий Кошаровский — инженер, один из самых известных сегодня активистов еврейского движения в СССР, преподаватель иврита, организатор ряда семинаров и т. д. В отъезде — семнадцать лет. Последний отказ получил 12 февраля 1988 года. Отклик получен из СССР.

АМЕРИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ищет недавних эмигрантов из Советского Союза,
имеющих солидный опыт работы в советских
научно-исследовательских, проектно-конструкторских
и планово-экономических организациях, а также
в различных отраслях промышленности
для подготовки обзоров о новейших достижениях
в соответствующих отраслях науки, экономики
и промышленности. Гонорары. Резюме высылать по адресу:
Delphic Associates, 7700 Leesburg Pike, No 250,
Falls Church, VA 22043

ФАКТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Из кругов общества "Память" в Москве

НА ПЛЕНУМ ЦК

В последние месяцы некоторые органы печати, как по команде, начали кампанию против "русского шовинизма" и "русского национализма". Речь идет о "Московских новостях", "Известиях", "Огоньке", "Вечерней Москве", "Советской культуре". Все статьи направлены против патриотического объединения "Память". До этого были нападки на наших писателей — В. Белова, В. Астафьева, на режиссера и актера Н. Бурляева, на экономиста Б. Исакова, на историка А. Кузьмина, критика В. Кожина и на многих других.

Мы, авторы этого письма, не входим в какие-либо объединения, но мы не можем равнодушно смотреть на происходящее.

Невольно возникает вопрос, с чего это вдруг русские люди, видные деятели нашей культуры, впали в один порок — национализм, шовинизм, антисемитизм и даже фашизм. Искони одной из черт русского национального характера было ярко выраженное чувство народолюбия. Это неопровержимо подтверждает история. Именно России суждено было стать первым многонациональным государством, на базе которого и возник Союз Советских Социалистических Республик. Впервые в истории идея братства народов из мечты стала реальностью.

Что же заставило сегодня русских поставить вопрос о национальном достоинстве своей нации, своего народа? Будем откровенны — такие причины возникли, и не по вине русских. Все дело в том, что в настоящее время русские оказались явно в неравноправном положении по сравнению с другими народами. В чем это проявляется? Еще результаты переписи 1979 года показали со всею очевидностью, что среди всех союзных республик Российская Федерация оказалась на последнем месте по всем жизненно важным социально-экономическим, культурным и демографическим показателям, а в ее рамках — русский народ! А ведь к 1971 году Россия была наиболее развитой страной среди тех, которые потом объединились вокруг нее в Советский Союз, что увековечено в нашем гимне — "Сплотила навеки великая Русь".

Сегодня Россия отброшена на последнее место по таким основным показателям, как рождаемость, материальный уровень, образование, жилье, дороги, транспорт.

Начавшееся после Ленина наступление на русскую культуру и на историческое наследие России принесло и приносит неисчислимые потери, наши внуки практически уже не будут знать родной русской литературы, будут лишены возможности видеть русское зодчество, слушать русскую музыку. Все это исчезает на наших глазах, многое уже потеряно безвозвратно. Советская молодежь уже не знает таких гигантов отечественной культуры, как Собинов, Нежданова, Москвин... их изничтожают насадители рок-чумы.

Происходит это под разными предлогами — в виде борьбы с религиозными или классовыми предрассудками, под лозунгами создания новых ультрасовременных форм псевдоискусства. Русское изобразительное искусство подавляется ложным новаторством. Западная массовая культура оборачивается для нас губительной антикультурой. На глазах утрачиваются традиции дружной и крепкой семьи, нравственности, навыки труда. Именно к этому приводит фетишизация незрелых взглядов молодежи, внушение непочтительного отношения к старшим, что с таким энтузиазмом навязывает нашему обществу телевидение.

Разве в этом смысл "нового мышления" эпохи перестройки?

Мы являемся очевидцами фактической дискриминации русских деятелей науки и искусства. В академических институтах, творческих союзах, на руководящих работах доля русской национальности катастрофически упала и продолжает падать. Недавно проведенная кампания переезжати в Академии наук СССР, в филармониях и других организациях более всего ударила именно по русским, еще более зловеще усилив национальную диспропорцию. Почему русские должны принять это как должное? Дело дошло до того, что русским позволено занимать лишь нижнюю сферу социальной пирамиды, что руководство Россией должно принадлежать некоему "интернациональному мозговому центру". Еще бы, — ведь по числу лиц с высшим образованием на душу занятого городского и сельского населения нас перегнали даже бесписьменные, в недалеком прошлом чукчи, якуты и другие национальные меньшинства.

Так в этом, что ли, наш интернациональный долг — сдать все свои позиции во всех областях, решающих судьбу народа?

Мы решительно заявляем, что навязываемая нам модель "интернационализма" в действительности является вопиющим искривлением национального равноправия. Подлинный интернационализм всегда основывается на подлинном равноправии народов. Все партийные документы утверждают, что интернациональное может быть только национальное, идущее от народа, противостоящее национализму буржуазии и космополитизму.

Мы не можем мириться с тем, что русский народ оказался перед угрозой деградации. Исторический долг интеллигенции в том, чтобы не умерев народ. Но кто-то к этому всячески стремится. Однако, можно с уверенностью сказать — если русский народ будет ослаблен и обескровлен, исход будущих сражений с силами социального зла будет предreshен заранее.

Назовите хоть одну нацию, чей вклад в Великую Отечественную войну больше, чем русских (2/3 из числа Героев Советского Союза — русские, а число погибших превышает во много раз).

Наш патриотизм жестоко подавлялся в 20-х—30-х годах. Он служил мишенью для злобных обвинений почти так же, как сейчас. А во время Великой Отечественной войны, когда надо было бросаться под танки, о нем вспомнили, и без него худо было бы не только русским, но и советским людям и европейским народам!

Итак, возросшее внимание, которое русские стали обращать на судьбы своего народа, рождено создавшейся исторической несправедливостью, вследствие чего процесс развития Российской Федерации опасно замедлился. Возникает естественный вопрос — **разве интернационализм ставит ус-**

ловиям судьбу одного народа приносить в жертву другому, вплоть до полного самоуничтожения?

Патриотизм русских происходит вовсе не из убежденности в собственном превосходстве, из требований преимуществ для себя за счет других, тем более — не подходит под понятие “национализма” и “шовинизма”. Не нужно спекулировать на этих страшных словах, размахивая ими, как дубинкой, — это отнюдь не способствует укреплению дружбы народов. Не нужно ставить знак минус к тому, что является нормальным проявлением самосознания человека.

Теперь вопрос о, якобы, антисемитизме русских. Проблемы этой, как известно, раньше не существовало. Мы были все равны друг перед другом. Искривление национальной политики, достигшее в настоящее время значительных размеров, ухудшило национальный климат в нашей стране. Так в чем же дело?

Объективная научная статистика показывает, что подавляющая часть верхушки социальной пирамиды в настоящее время занята представителями еврейской национальности. По опубликованным данным, скорее заниженным, 45 процентов докторов и кандидатов наук в СССР составляют лица еврейской национальности. Фактически их больше, потому что многие из них имеют русские фамилии и по паспорту числятся русскими. О масштабах такого беспрецедентного перекоса можно в известной степени судить по тому, что, согласно официальным данным, евреи составляют в Советском Союзе менее одного процента общего населения!

То же мы видим в творческих союзах художников, композиторов, писателей, журналистов и т. п. В академических институтах, в особенности — гуманитарных, также русских — ничтожное количество. А в медицине, в печати, на радио и телевидении? Та же картина.

Давайте не будем закрывать глаза на то, что евреи в России устроены гораздо лучше, чем русские. Каждый из нас на собственном опыте убеждается, что противозаконное владение “мозговым центром” — вовсе не выдумка “сионских мудрецов”, а самая что ни на есть реальная действительность, нас окружающая. Откровенный захват всех руководящих ключевых позиций в экономике, науке и культуре, “ускоренный” социальный рост давно стал, увы, явью.

Этот неоспоримый факт может иметь свое объяснение лишь в одном из двух факторов — либо мы должны признать, что евреи — сверходаренный “богоизбранный” народ по отношению к другим национальностям, так сказать, народ гениальный, либо искать объяснение привилегированного положения советских евреев в усиленной и всеохватывающей деятельности советских сионистов.

Чем же одарил нас “интернациональный”, а по существу “еврейский мозговой центр”? А вот чем — он нанес нам неисчислимый ущерб в развитии народного хозяйства, экономике, торговле, экологии, культуре. Мы вынуждены были считать все эти убытки и “просчеты”, и размах их оказался слишком велик. На счету — разрушение сельского хозяйства, уничтожение “неперспективных деревень”, антинародные проекты переброса северных рек, уничтожение Волги, под угрозой — Байкал. Эксперимент за экспериментом, каждый из которых отбрасывает нас назад, заставляет ма-

хвое колесо мощной советской экономики вращаться вхолостую. А ведь наш строй — самый передовой в мире, а мы не можем накормить себя, когда мы с сохой и телегой кормили всю Европу, часть Африки и Азии. Без помощи капиталистических держав мы, оказывается, существовать не можем. А народ трудится в поте лица, решая все новые и новые нерешаемые проблемы, которые засасывают в губительную воронку наши финансы, трудовую энергию, создающие все новые кризисные ситуации, вроде алкоголизма и наркомании, серии катастроф и т. п.

Теперь потребовались новые героические усилия, чтобы вывести страну из кризисного состояния, расчистить путь прогрессу путем перестройки. Все это происходит потому, что "интернационалисты" не желают считаться с традициями жизни и быта народа, ни с самой землей, которая им совсем не дорога (сколько лучших земель в поймах рек ушло безвозвратно под воду!), ни с самим человеком. Могли ли русские в Госплане додуматься до того, чтобы за счет продажи алкоголя обеспечивать выплату рабочим зарплаты? Нет, это — хорошо исторически знакомая тень Шинкаря, обирающего и спаивающего народ.

А развал театра, засилье рок-музыки, трюкачество в живописи? А безобразие во враждебные страны — США и Израиль и чуть ли не триумфальное возвращение назад!

Нет, пусть мы не будем "идущими впереди", пусть мы будем не столь скоропалительны в своих решениях, но мы не станем экспериментировать с самым главным, что есть у нас дорогого — нашей Родиной.

Еврейские имена Кагановича, Гинзбурга и другие стоят под приказами об уничтожении наших ценнейших памятников истории и культуры. Неправильный ущерб нашей столице Москве нанесен преступной деятельностью Глав-АПУ, представленного в основном деятелями-евреями. Может ли наш народ забыть об этом? Только в Москве уничтожено более 2000 (!) памятников, часто без всякой надобности, из ненависти к русской культуре. На местах многих из них построены общественные уборные. Не нужно быть антисемитом, чтобы понять смысл подобных акций. Принадлежность к той или иной национальности не освобождает от ответственности за преступление.

Кинофильмы охотно выводят на экран преступников, в том числе и военных. Но — только русских. Хотя это явление совсем нетипичное. А попробуйте изобразить предателя-еврея, — какие вопли поднимутся в мировом масштабе. А ведь этих преступников полно. Они засоряют, окаявшись на своей второй родине, эфир клеветой на Советский Союз. Но они — неприкасаемы. А Родину они меняют, как перчатки. Это у нас, русских, она была и будет единственной. Так в чем же дело? Это ясно каждому: все евреи, в том числе и советские, находятся под защитой международного сионизма.

Если верить нашей прессе, то у нас есть все: национализм, шовинизм, но только нет сионизма и масонсионизма. Но для чего же создан Комитет по борьбе с сионизмом? Чтобы оказывать помощь израильским коммунистам и, тем самым, вмешиваться во внутренние дела Израиля, или чтобы усыпить общественное мнение? Более того, борьба с сионизмом немедленно объявляется антисемитизмом. В нашей печати вышел целый ряд книг, показывающих, что сионизм и масонство не обошли нас стороной.

Они ушли в глухое подполье, но нынешняя деятельность масонсионистов давно вышла из подполья, она ведется открыто. Только человек с ущербным разумом, или трус может этого не замечать. О том, как опасен и коварен этот враг, известно всему миру. Этого не может уже скрывать и зарубежная пресса. Но кому-то выгодно в Советском Союзе под прикрытием "интернационализма" наложить на эту тему табу. Не для того ли, чтобы стало вольготнее проводить подпольно свою, насквозь сионизированную политику?

Конечно, есть евреи, свободные от идей сионизма. Они воевали вместе с советским народом в Великой Отечественной войне и честно трудятся в настоящее время на благо нашего отечества. Но есть и такие, которые планомерно проводят идеи сионизма в жизнь и влияют на других.

Наша пропаганда настойчиво и справедливо говорит о праве наций на самоопределение и свободное суверенное развитие. Но русский народ фактически лишен этого права. Мы лишены своего Центрального Комитета КПСС, лишены Российской Академии наук, лишены права жить по собственным, а не чужим правилам. И мы понесли уже огромные материальные и нравственные издержки.

Напрасно, однако, кто-то полагает, что с нами все покончено. В русской истории были трудные времена, но народ выходил с честью из испытаний, закаляясь в борьбе и укрепляя свой характер, оставаясь дружелюбным и щедрым, терпеливым и широким. Но русские никогда не смиряются с тем, чтобы их превратили в послушных исполнителей чужой воли, в "гоев". Те, кто ставит это своей целью, — жестоко прощаются.

Перед нашим народом стоит программа не мнимого, а подлинного интернационализма на основе равноправия наций. В этом залог преодоления всех временных трудностей. Именно эти принципы заложены в самой системе социализма, в нашей Советской конституции и в Программе Коммунистической партии. Значит цель у нас одна. Торжество нашего Отечества! Торжество Ленинизма!

БРЮСОВА Вера Григорьевна,
доктор искусствоведения,
член Союза художников СССР,
лауреат Государственной премии РСФСР.

ЛИТВИНОВА Галина Ильинична,
доктор юридических наук

ПОНОМАРЕВА Тамара Алексеевна,
член Союза писателей СССР

Июнь 1987 года.

Перепечатано из "Нового русского слова" (Нью-Йорк)

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – 1031-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 65 шек., для организаций – 75 шек., за рубежом – 50 долл. (авиапочтой в Европу – 60, в США – 65 долл.), для организаций – 65 долл. (авиапочтой в Европу – 75, в США – 80 долл.).

Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив

